

- КРУГ РАССКАЗЧИКОВ
- СОМНЕВАЮЩИЙСЯ ААРОН АПЕЛЬФЕЛЬД
- МАСТЕР ГАМБС И МАРГАРИТА
- ЛЕТО В ЛИВАНЕ
- ПАЛЕСТИНСКИЙ ВОПРОС — ЕВРЕИ И АРАБЫ
- ПРОТОПОП АВВАКУМ И ПАТРИАРХ НИКОН
- ТРЕТЬЯ ЭМИГРАЦИЯ И КГБ

27

22

№ 27

1982

МИСЛЕНА И ПЕРУСЛИМ

ДВАДЦАТЬ ДВА

общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле

Год издания V

№ 27

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС. Путь к себе (рассказы)	3
АНРИ ВОЛОХОНСКИЙ. Стихи	15
АННА ГРОССМАН. Рассказы	17
ИЗРАИЛЬ МАЛЕР. Полет шмеля (рассказ)	28
АЛЕКСАНДР ВЕРНИК. Читая Сашу Соколова (стихи)	35
ААРОН АПЕЛЬФЕЛЬД. Рассказы. Интервью для журнала "22".	36
МАРЕК ХЛАСКО. Страсти (рассказ)	49
ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕСС. Колыцевые руины (рассказ)	58
МАЙЯ КАГАНСКАЯ, ЗЕЕВ БАР-СЕЛЛА. Мастер Гамбс и Маргарита (проза о прозе)	64
МИХАИЛ ГЕНДЕЛЕВ. Стихи	89
ВЛАДИМИР ЛАЗАРИС. Лето в Ливане (документальная повесть) . . .	93

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

ГАБРИЭЛЬ БЕН-ДОР. Ливанская война и ООП	123
РАФИК ХАЛАБИ. Палестинский вопрос: выбор между плохим — и худшим	130
МЕНАХЕМ МИЛЬСОН. Палестинский вопрос: не торопиться с выбором	139
А.-Б. ИОШУА. Израиль сегодня и завтра: голос писателя	151
МОШЕ ШАМИР. Израиль сегодня и завтра: сто лет войны	163

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ. О бывшем юрьевецком протопопе Аввакуме Петровиче (к 300-летию со дня смерти)	171
--	-----

ОЧЕРКИ И ВОСПОМИНАНИЯ

КИРИЛЛ ХЕНКИН. Русские пришли (главы из книги)	184
ИЕРУХАМ АБРАМОВ. Проклятой воровской дорогой	196

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ГЕОРГИЙ БЕН. Грозное оружие — истина	211
НАТАЛЬЯ РУБИНШТЕЙН. "Там" и "здесь".	216

ИЗДАНИЕ

общественного культурного фонда "Москва—Иерусалим" под покровительством Израильского комитета ученых при общественном совете солидарности с евреями СССР

главный редактор — Рафаил Нудельман

Редакционная коллегия:

В. Богуславский

Ю. Меклер

А. Воронель

Н. Рубинштейн

Н. Воронель

Я. Цигельман

Э. Кузнецов

И. Чаплина

заведующая редакцией — Мириам Бар-Ор

ответственный секретарь — Лариса Герштейн

технический редактор — Наталья Рубина

корректор — Нина Островская

Всю корреспонденцию направлять по адресу:

"22", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel

Телефон редакции — 03/394525

Заказы на подписку за рубежом можно направлять в адрес представителей журнала:

Соединенные Штаты

L. Khotin, 235 17 Mile Dr. Pacific Grove. Cf. 93950. USA

Y. Levin, U. of Texas, Dept. of Slavic Lang. Box 7217. Austin, Texas 78712. USA.

Западная Германия

L. Roitman, 67 Oettinger str., am Englischen Garten, 8 Muenchen 22, BDR

Великобритания

I. Golomstock, 61 Aston str., Oxford OX4 1EW, England.

Типография "Дерби"

Тель-Авив

1982

Нобелевская премия по литературе 1982 года присуждена колумбийскому писателю Габриэлю Гарсиа Маркесу, автору известных романов "Сто лет одиночества" и "Осень патриарха", в которых нашли блестящее выражение могучая стихия латиноамериканского народного эпоса. Путь Маркеса к этим романам, иными словами — его путь к себе начинался в конце 40-х — начале 50-х годов рассказами, в которых острое лирическое внимание к "перетекающим", пограничным ситуациям (между сном и явью, жизнью и смертью, вымыслом и реальностью) сочеталось с тягой к эпическому обрамлению даже самых субъективных переживаний. Два из этих рассказов представлены в нашей подборке.

Габриэль Гарсиа Маркес

ПУТЬ К СЕБЕ

Тогда она на меня посмотрела. Мне показалось, что она посмотрела на меня впервые, но потом, когда она обошла подсвечник, а я все продолжал ощущать на плечах и спине ее стекающий, маслянистый взгляд, я понял, что это я смотрю на нее впервые. Я закурил и, прежде чем повернуться вместе с креслом, затянулся крепким, резким дымом. Потом я увидел ее, какой видел другими ночами, стоящую у канделябра, глядя на меня. Мгновение мы молчали, глядя друг на друга. Я — с кресла, удерживая равновесие на одной из его ножек, она — стоя, вытянув к подсвечнику удлинненную, неподвижную руку. Как и в прежние ночи, я видел ее освещенные пламенем веки. Только тогда я вспомнил всегдашнее и произнес: "Глаза голубого пса". А она, не отводя руку: "Да. Теперь мы уже никогда не забудем". И вышла со вздохом из границ моего взгляда: "Глаза голубого пса. Я писала это повсюду".

Я увидел, как она подходит к зеркалу; я увидел ее в круглой зеркальной раме; она снова смотрела на меня. Я видел, как она смотрит на меня глазами цвета неостывшего пепла, смотрит и открывает пудреницу из розового перламутра и пу-

дрит нос. Закончив, она закрыла пудреницу, встала и снова обошла подсвечник кругом, сказав: "Я боюсь, не приснился бы этот дом кому-нибудь другому, который все здесь переставит". Остановившись, протянула над пламенем ту же руку, удлиненную и дрожащую, согревая ее, потом подошла к зеркалу. И сказала: "Тебе не холодно?" А я ответил: "Иногда". А она сказала: "Теперь тебе должно быть холодно". Тогда я понял, почему не мог оставаться в одиночестве в своем кресле: холод убеждал меня, что я одинок. "Да, теперь я ощущаю, — сказал я. — Это странно, ночь ведь такая теплая. Наверно, с меня сползло одеяло". Она промолчала. Снова подошла к зеркалу, а я повернулся на кресле так, чтобы оказаться к ней спиной. Не глядя на нее, я знал, что она делает. Я знал, что она сидит напротив зеркала и смотрит на мою спину, которая сумела уже разместиться в глубине отражения и там встретиться с ее взглядом, а взгляд этот уже успел погрузиться в зеркало и вернуться, прежде чем рука начала свое новое путешествие — к губам, ставшим розовыми, еще со времени первого странствия руки в сторону зеркального круга. Передо мной была гладкая стена, точно еще одно, слепое зеркало, в котором, не видя ее, сидящую ко мне спиной, я видел ее так, словно она отражалась там, в стене, вместо которой вставили другое зеркало. "Я вижу тебя", — сказал я. И на стене увидел ее так, словно она подняла глаза и увидела меня сзади, сидящего в кресле, повернувшегося лицом к стене. Потом я увидел, как она снова опускает веки и вглядывается в собственный лиф, не говоря ни слова. Тогда я повторил: "Я вижу тебя". А она оторвала взгляд от лифа. "Это невозможно", — сказала она. Я спросил почему. "Потому что лицо твое обращено к стене". Тогда я повернулся вместе с креслом. Во рту у меня была сигарета. Когда я повернулся совсем, она сидела рядом с подсвечником. Теперь ладони ее были раскрыты над пламенем, словно распростертые куриные крылья, и она согревала их, а на ее лицо падала тень пальцев. "Я боюсь простудиться, — сказала она. — Какой-то ледяной город". Она повернулась в профиль, и ее лицо цвета докрасна раскаленной меди стало печальным. "Сделай что-нибудь", — попросил я, а она стала медленно раздеваться, начав сверху, с лифа. Я сказал: "Я повернусь к стене". Она ответила: "Нет, ты все равно меня увидишь, как видел, когда я сидела к тебе спиной". Еще не успев договорить, она уже сняла с себя все, и пламя облизывало ее медную кожу. "Я всегда хотел увидеть тебя вот так, уви-

деть твой живот весь во впадинах и ямках, словно у скульптора соскользнул молоток". И прежде чем я понял, что рядом с ее наготой эти слова прозвучали грубо, она замерла, греясь вблизи свечей, и сказала: "Иногда мне кажется, что я выкована из металла". Мгновение стояла тишина. Ее руки над огнем слегка сместились. Я сказал: "Иногда, в других снах, мне казалось, что ты бронзовая фигурка, стоящая в углу какого-то музея. Может быть, поэтому тебе холодно". А она: "Иногда, когда я засыпала, лежа навзничь, мне казалось, что я пуста внутри, а кожа моя тонка, как бумажный лист. И когда внутри стучит кровь, это — так, будто кто-то снаружи зовет меня, постукивая пальцами в живот, и я слышу звук бронзы в кровати. Как будто бы я была выкована, как ты сказал, из тонкого металла". Она приблизилась к подсвечнику. "Я хотел бы услышать тебя", — сказал я. А она: "Когда мы встретимся снова, приложи ухо к моим ребрам, если я буду спать, лежа навзничь, и ты услышишь отзвук. Мне всегда хотелось, чтобы кто-нибудь это сделал". И пока она говорила, я слышал ее глубокое дыхание. И еще она сказала, что никогда не делала ничего иного. Вся ее жизнь была посвящена поискам меня в реальном мире, с помощью путеводной фразы: "Глаза голубого пса". А на улицах она произносила громко, обращаясь к тому единственному человеку, который мог ее понять: "Я та, кто появляется в твоих снах каждую ночь и говорит тебе: "Глаза голубого пса". И сказала, что ходила по ресторанам и говорила официантам, еще ничего не заказав: "Глаза голубого пса". Но они подобострастно кланялись ей и не могли припомнить, чтобы что-нибудь подобное слышали в своих снах. Потом она писала на салфетках или чертила ножом на столах: "Глаза голубого пса". И на грязных стеклах в гостиницах, на станциях, в разных общественных местах выписывала указательным пальцем: "Глаза голубого пса". И сказала, что однажды вошла в придорожный магазинчик, где стоял точно такой же запах, который оставался в ее комнате, после того, как я ей снился. "Он должен быть где-то близко", — подумала она, глядя на новенькие, чистые кафельные плитки пола. И подошла к продавцу и сказала: "Мне постоянно снится человек, который говорит мне: "Глаза голубого пса". И тогда продавец посмотрел ей в глаза и сказал: "У вас действительно такие глаза". А она: "Я должна найти человека, который сказал бы мне это во сне". А он начал смеяться и отошел к другому концу прилавка. А она продолжала смотреть на

кафельные плитки пола и ощущала запах. Тогда она открыла сумочку, присела и большими красными буквами написала на полу губной помадой: "Глаза голубого пса". Продавец повернулся к ней и сказал: "Вы выпачкали пол". И подав ей мокрую тряпку, добавил: "Вытрите". А она, стоя у подсвечника, рассказывала, что весь тот вечер провела на коленях, смывая написанное и повторяя: "Глаза голубого пса", пока в дверях не собралась толпа и люди начали говорить, что она помешалась.

Когда она кончила говорить, я все еще сидел в углу, удерживая равновесие на кресле. "Каждый день я стараюсь припомнить фразу, которой должен тебя встретить, — сказал я. — И теперь я думаю, что уже никогда ее не забуду. Впрочем, я всегда так говорил и всегда забывал, просыпаясь, какой фразой я должен тебя встретить". А она: "Ты ведь сам придумал ее в первый же день". А я: "Придумал, когда увидел твои пепельные глаза. Но наутро я уже ничего не помнил". А она, сжав ладони у подсвечника, глубоко вздохнула: "Если бы я могла хоть припомнить, в каком городе я писала эти слова".

Ее стиснутые зубы сверкнули в отблеске пламени. "Я хотел бы тебя коснуться", — сказал я. Она подняла лицо, обращенное к пламени, подняла глаза, пылающие так же, как вся она, как ее руки. "Этого ты мне никогда не говорил". — "Но говорю сейчас и это правда", — сказал я. Стоя по ту сторону подсвечника, она попросила сигарету. Окурок исчез из моих пальцев. Я забыл, что она курит. Она сказала: "Понятия не имею, почему я не могу припомнить, где я это писала". — "Так же, как я не смогу наутро припомнить этих слов". А она печально: "Нет. Но временами мне кажется, что и это мне тоже снилось". Я поднялся и подошел к подсвечнику. Она стояла чуть поодаль, а я остановился по эту сторону и протянул ей сигарету. Она взяла ее и склонилась над пламенем, прежде чем я успел зажечь спичку. "В каком-то городе на всех стенах должно быть написано: "Глаза голубого пса", — сказал я. — Если я вспомню это наутро, я отправлюсь тебя искать". — "Глаза голубого пса", — вздохнула она, вспоминая, с приклеившейся к губе сигаретой, полузакрыв один глаз. Потом втянула дым и вдруг вскрикнула: "Это другой сон! Мне жарко". Она произнесла это теплым, гаснущим голосом, словно не произнесла в действительности, а как бы написала на бумаге и поднесла ее к огню, читая: "Мне становится, — и стояла, крутя меж пальцев медленно сгоравшую бумагу, тем временем, как я читал даль-

ше, — ужасно жарко”. Бумага сгорела дотла и упала на пол крохотным, хрупким комочком легкого пепла. “Так лучше, — сказал я. — Порой я начинаю чего-то бояться, видя, как ты мерзнешь рядом с огнем”.

Мы виделись уже много лет. Не раз, когда мы бывали вместе, кто-то ронял ложечку, и мы просыпались. Постепенно мы начали понимать, что наша близость зависит от многих причин, от самых обыкновенных событий. Наши встречи всегда кончались тем, что утром падала ложечка.

Теперь, стоя у подсвечника, она смотрела на меня. Помню, что она и раньше так на меня смотрела, в том далеком сне, в котором я поворачивал кресло на задних ножках и оказывался лицом к лицу с незнакомкой с пепельными глазами. Именно во сне я впервые ее спросил: “Кто вы?” А она ответила: “Не помню”. Тогда я сказал: “Но мне кажется, что мы уже встречались”. А она, равнодушно: “Да, вы когда-то снились мне, в этой же комнате”. А я: “Да, конечно. Теперь я припоминаю”, а она: “Забавно. Мы наверняка встречались и в других снах”.

Она дважды затянулась сигаретой. Я все еще стоял рядом с подсвечником, когда вдруг посмотрел на нее. Я оглядел ее всю, с головы до ног, а она всюду была из меди. Но не из твердой, холодной меди, а из меди желтой, мягкой и мнущейся под пальцами. “Я хотел бы тебя коснуться”, — повторил я. А она сказала: “Ты все испортишь”. А я: “Теперь это уже не имеет значения. Достаточно перевернуть подушку на другую сторону, и мы встретимся снова”. Я протянул руку над подсвечником. Она не шевельнулась. “Все испортишь”, — повторила, прежде чем я успел ее коснуться. “Может быть, если ты обойдешь вокруг подсвечника, мы вдруг проснемся в изумлении, Бог знает в какой части света...”. Но я настаивал: “Это не имеет значения”. А она сказала: “Если перевернуть подушку на другую сторону, мы встретимся. Но ведь ты забудешь об этом, когда проснешься”. Я начал отходить в угол. Она осталась позади, грея руки над огнем. Еще не дойдя до кресла, я услышал, как она говорит за моей спиной: “Когда я просыпаюсь в полночь, я без конца верчусь в постели, простыни жгут мне колени и я до утра повторяю: “Глаза голубого пса”.

Я продолжал стоять лицом к стене. “Светает, — сказал я, не глядя на нее. — Я проснулся, когда било два, это было вечность назад”. Я подошел к двери; взявшись за ручку, я услышал еще

раз ее голос, тот же, не изменившийся: "Не открывай эту дверь, — сказала она. — Коридор полон трудных снов". А я на это: "Откуда ты знаешь?" Она ответила: "Потому что я была там минуту назад и вернулась, увидев, как я сплю, лежа навзничь". Дверь была не заперта, я толкнул ее, и в комнату вошел свежий воздух, неся с собой запах земли, травы и влажных полей. Она снова заговорила. Я еще больше приоткрыл дверь и сказал: "Там наверное нет никакого коридора. Я чувствую свежий запах полей". Она скрестила руки над пламенем. "Это та женщина, которая мечтала жить в деревне, — сказала она, — но никак не могла покинуть город". Я вспомнил, что видел эту женщину в каком-то давнем сне, но уже зная — дверь все еще была открыта, — что через полчаса я должен спуститься к завтраку. Поэтому я сказал: "В любом случае мне нужно отсюда выйти, чтобы проснуться".

Снаружи на миг сорвался ветер, но тут же затих и слышно было дыхание кого-то спящего, который повернулся в постели. Ветер затих совсем. Не было и запахов. "Завтра я тебя узнаю, — сказал я. — Я узнаю тебя, когда увижу на улице женщину, которая пишет на стенах: "Глаза голубого пса". А она с печальной улыбкой — улыбкой покорности неизбежному — сказала: "Но днем ты ведь ничего не будешь помнить". И снова протянула руку над огнем, а лицо ее стало затягиваться туманом горечи: "Ты единственный человек, который, просыпаясь, не помнит ничего из приснившегося".

МОНОЛОГ ИЗАБЕЛЛЫ, ГЛЯДЯЩЕЙ НА ДОЖДЬ В МАКОНДО

Зима началась в воскресенье, по окончании мессы. Ночь была жаркой и душной; однако с утра ничто не предвещало дождя. Но после мессы, не успели мы, женщины, раскрыть зонтики, сорвался темный, густой ветер и одним широким взмахом смел с улиц пыль и засохшие, жесткие майские стебли. Кто-то рядом со мной сказал: "Такой ветер несет воду". Я и раньше это знала. С той минуты, как мы вышли в патио, я почувствовала, что вся дрожу от чего-то странного, липкого в животе. Мужчины бросились по домам, одной рукой придерживая зонтики, другой — носовые платки, заслоня лица от ветра и пыли. Тогда хлынуло. Небо стало серой студенистой массой, рвущейся прямо над нашими головами.

Все утро мы сидели с мачехой на площадке подле лестницы,

радуясь тому, что дождь освежит розмарин и лилии, которые сохли в горшках все семь месяцев жгучего лета, палящей пыли. К полудню земля стала матово-серой, а запах потревоженной почвы и очнувшейся травы слился с целительным запахом розмарина. За обедом отец сказал: "Вода в мае — к большим дождям". Мачеха, веселая и какая-то просветленная, сказала: "Ты услышал это в церкви". А отец усмехнулся. И с аппетитом съел обед, и потом долго сидел, переваривая, на площадке у лестницы, молча, с закрытыми глазами, но не спал, а словно видел сны не засыпая.

До самого вечера монотонно лило. В слитном, негромком шуме падение воды слышно было так, будто весь вечер едешь поездом по равнине. Мы и не замечали, что этот дождь исподволь уж как-то очень глубоко забирался в душу. В понедельник на рассвете, прикрывая двери от ледяного, режущего ветра, свиставшего в патио, мы уже были полны дождем по края. А позже хлынуло через край. Мы с мачехой отправились посмотреть сад. Сухая, твердая майская земля за одну ночь превратилась в темную, хлюпающую грязь, похожую на раскисшее мыло. Между горшками струились ручейки. "Этой ночью воды было слишком много", — сказала мачеха, и я заметила, что она перестала улыбаться и ее вчерашняя радость сменилась вялой и тупой скукой. "Да, пожалуй, — сказала я. — Нужно велеть мужчинам, чтобы перенесли горшки под крышу, пока не прояснится".

Так и сделали, а дождь тем временем все рос и рос, словно огромное дерево, поднявшееся над всеми остальными. Отец сидел на том же месте, что в воскресенье, но уже не говорил о дожде. Сказал только: "Видно, я плохо спал — с утра болит поясница". И продолжал сидеть на площадке, положив ноги на кресло, повернувшись лицом к пустынному саду. Только под вечер, уже отказавшись от еды, сказал еще: "Сдается мне, это никогда не кончится". А я припомнила долгие месяцы жары. Припомнила август, нескончаемые, страшные часы сиесты, когда кажется, что уже не вынести тяжести этого зноя. А снаружи доносился глухой, напряженный отзвук бесконечного дождя. Добела вымытые стены, стыки досок, набрякшие сыростью. Сад, впервые пустынный, жасмин под стеной, хранящий память о матери, отец в кресле на колесиках, опутивший на подушку ноющую поясницу, его глаза, печально затерявшиеся в пряже дождя. Я припомнила августовские ночи, до краев полные зачарованной тишиной,

когда слышен только извечный хруст, с которым земля поворачивается вокруг своей заржавевшей, несмазанной оси. И вдруг ощутила, что меня охватывает гнетущая грусть.

Весь понедельник лило, как в воскресенье. Но теперь стало казаться, что льет немного иначе, потому что какая-то горечь вползла в сердце. Под вечер чей-то голос сказал неподалеку: "Какой надоедливый дождь..." Не поворачиваясь, я узнала голос Мартина. Я знала, что он сидит рядом, с тем обычным холодным, напряженным выражением лица, которое не изменилось даже в то темное декабрьское утро, когда он стал моим мужем. С того дня прошло пять месяцев. Теперь я готовилась родить ему сына. А Мартин сидел здесь, рядом со мной, и говорил, что ему надоел дождь. "Нет, он не надоедливый,— сказала я. — Но так грустно смотреть на этот пустынный сад и несчастные деревья, которые не могут спрятаться под крышу". И повернулась, чтобы посмотреть на него, но его уже не было. Только чей-то голос сказал: "Сдается мне, что уже никогда не прояснится". Но когда я повернулась в сторону этого голоса, я увидела пустое кресло.

Во вторник утром в саду появилась корова. Издали, в своей тупой и надменной неподвижности, с выменем, утонувшим в грязи, и свесившейся головой, она выглядела как глиняный холм. Все утро мужчины пытались отогнать ее палками и камнями. Но она продолжала стоять, неподвижная, тупая, упрямая, с выменем, утонувшим в грязи, и огромным лбом, по которому стучал дождь. Мужчины гнали ее, пока снисходительное долготерпение отца не пришло ей на помощь: "Оставьте ее в покое, — сказал он. — Уйдет, как пришла".

Во вторник вечером дождь мучил и давил, как накинутый на сердце саван. Прежняя свежесть сменилась теплой, липкой сыростью. Не было ни жары, ни стужи — какая-то промозглость, от которой пробирает дрожь. Ноги в ботинках прели. Непонятно, что докучало больше — озноб обнаженного тела или липкое прикосновение платья. Никто ничего не делал. Мы сидели под лестницей, но уже не смотрели на дождь, как в первый день. Мы уже перестали его замечать. Только видели контуры деревьев в сыром тумане, в печальном и безлюдном вечернем свете, который оставлял на губах тот же привкус, какой оставляет по себе сон о незнакомом человеке. Я знала, что сегодня вторник, и вспомнила о двойняшках из Сан-Херонимо, слепых девочках, которые каждую неделю приходили в дом и пели простые песенки, грустно

окрашенные горьким и неуловимым очарованием их судьбы. Сквозь дождь я слышала голоса слепых двойняшек и представляла их здесь в углу, съезжившихся, ждущих, пока перестанет лить, чтобы выйти наружу и петь. "Но сегодня девочки из Сан-Херонимо не придут, — думала я, — и даже та нищенка, что каждый вторник приходит к нам после сестры попросить связку лимонов, не придет тоже".

В тот день мы перепутали порядок кушаний. В сестру мачеха подала по тарелке супа и по куску зачерствевшего хлеба. Но на самом деле мы ничего не ели с понедельника, а во вторник, мне кажется, перестали и думать. Мы оцепенели, одурманенные этим дождем, и безвольно, с отчаянием подчинялись этому стихийному бедствию. Только корова напомнила о себе в тот полдень. Какой-то глубокий гул вдруг сотряс ее внутренности, и она еще глубже вбила рога в землю. После этого она еще с полчаса не подавала никаких признаков жизни, словно умерла, но все не падала, привычка к жизни не позволяла ей упасть, привычка неподвижно стоять под дождем. Потом тяжесть тела взяла верх над привычкой. Она подогнула передние ноги (но ее темный, лоснящийся зад все еще был приподнят в последнем судорожном усилии), ткнулась полными пены ноздрями в жидкую грязь и наконец рухнула под тяжестью собственной плоти, завершая этим молчаливый, медленный и гордый церемониал окончательного поражения. "Надо же — сюда пришла", — сказал кто-то за моей спиной. Я обернулась и увидела на пороге вторичную нищенку, которая, несмотря на ливень, пришла попросить свою связку лимонов.

Может быть, в среду я и привыкла бы ко всему этому, если бы, войдя в гостиную, не увидела стол, лежащий под стеной, и сваленную на него мебель, а в другом углу, на сооруженном наскоро возвышении, — все сундуки и корзины с домашним скарбом. Меня охватило внезапное ощущение пустоты. Видно, что-то произошло ночью. В доме царил беспорядок, босые, полуголые мужчины в подвернутых до колен штанах переносили мебель в столовую. В их лицах, в упрямстве, с которым они делали свое дело, ощущалась ярость бесплодного бунта, вынужденной и унижительной покорности дождю. Я бродила без цели, без желаний. Казалось, я превратилась в пруд, из которого спустили воду, полный водорослей, улиток и скользких, расползающихся грибов, пруд, кишачий отвратительными порождениями сырости и мрака. Я стояла в гостинной, созерцая сиротскую картину свален-

ной в кучу мебели, когда услышала из спальни голос мачехи, которая напоминала мне, что так недолго и простудиться. Только тут я увидела, что стою по щиколотки в воде, что дом залило и весь пол покрыт сплошным слоем мертвой, скользкой и липкой воды.

В среду в полдень было по-прежнему темно, словно день так и не наступил. А в третьем часу уже наступила ночь, преждевременная и болезненная, пульсирующая все тем же неторопливым, монотонным и безжалостным ритмом дождя. Все окутал ранний сумрак, унылый и тихий, под стать молчанию мужчин, сидевших в креслах под стенами в усталых и бессильных позах. И тут стали приходить новости из городка. Их никто не приносил, но они приходили — подробные, точные, разнообразные, словно принесенные той жидкой грязью, что текла по улицам, таща с собой всякие предметы домашней утвари, следы катастрофы, обломки, подошедших животных. Слухи о воскресных происшествиях, когда дождь был еще только предвестником спасительного времени года, добрались к нам лишь на третий день. Но в среду новости явились сами, словно подгоняемые яростным напором дождя. Оказалось, что церковь залило и она вот-вот может рухнуть. Кто-то сказал, хотя никак не мог того знать, что с понедельника поезда не идут через мост, потому что река сорвала рельсы. И еще стало известно, что какая-то больная женщина исчезла из дома и в тот же день ее нашли во дворе утонувшей.

Потрясенная этими ужасами, напуганная потопом, я сидела в кресле на колесиках, поджав под себя ноги, и вглядывалась в сырую мглу, полная страшных предчувствий. В дверях появилась мачеха, неся лампу в поднятой руке. Она выглядела как привидение, и я не вскрикнула только потому, что и сама уже была за гранью этого мира. Она подошла ко мне, высоко держа в руке лампу, хлюпая ногами по воде. "Теперь только молиться", — сказала она. А я увидела ее острое, обтянутое лицо — лицо человека, только что отошедшего от гроба, лицо, вырезанное из какого-то иного, нечеловеческого вещества. Она остановилась передо мной и сказала: "Теперь только молиться. Вода размывала могилы, и бедные покойники плавают по кладбищу".

Я наверно вздремнула этой ночью, потому что внезапно очнулась от всепроникающего и кислого запаха разлагающихся тел. Я стала трясти Мартина, который храпел рядом со мной. "Ты не чувствуешь?" — "Чего?" — "Запах. Это те мертвецы, что плавают

по улицам". Я вся помертвела при мысли о них, но Мартин повернулся к стене и сказал хриплым, сонным голосом: "Тебе померещилось. Беременные женщины вечно воображают Бог знает что".

В четверг на рассвете запах исчез, исчезло также ощущение растояний. Чувство времени, нарушенное уже вчера, стерлось окончательно. Четверга не было. Было что-то студенистое, осязаемое, что нужно было раздвинуть руками, чтобы выглянуть в патио. Там не было никого. Мачеха, отец, мужчины были разбухшими призрачными фигурами, шевелившимися в холодном тумане. Отец сказал: "Сиди здесь, пока я не скажу тебе, что делать", — и голос его был далекий, не ко мне обращенный, так что мне казалось, будто я не слышу его, а осязаю прикосновением — единственным, что у меня осталось.

Но отец не вернулся: он затерялся во времени. И когда настала ночь, я попросила мачеху пойти со мной в спальню. Эту ночь я спала хорошо и спокойно. Проснувшись, я увидела все ту же мглу без цвета, без запаха, без тепла. Я уселась в кресло и сидела неподвижно, потому что мне казалось, что я еще не совсем проснулась. И тут я услышала шум далекого поезда. Долгий, скорбный гул поезда, идущего на север. "Видно, где-то перестало лить", — подумала я, и мне почудилось, будто чей-то голос за спиной ответил мне: "Где?" — "Кто это?" — вздрогнула я и увидела мачеху, которая опиралась о стену длинной, худой рукой. "Это я", — сказала она. А я на это: "Слышишь?" Она сказала, что слышит, что, видно, где-то поблизости прояснилось и починили рельсы. А потом принесла мне поднос с завтраком, пахнущим чесночным соусом и топленым жиром. То был суп. Я удивленно спросила, который час. А она успокаивающе, голосом, полным отчаяния, сказала: "Половина третьего. Поезд обычно не опаздывает". А я на это: "Половина третьего? Неужели я так долго спала?" А она ответила: "Ты спала совсем недолго. Половина третьего, может быть — три..." Тогда я, дрожа и чувствуя, что тарелка выскакивает из рук: "Половина третьего в пятницу, да?" Тогда она, со странным спокойствием: "Половина третьего в четверг, дорогая. Все еще половина третьего в четверг".

Не знаю, как долго я находилась в этом сомнамбулическом трансе, утратив все ощущения. Знаю только, что много часов спустя я услышала в соседней комнате голос. Он сказал: "Теперь уже можно передвинуть кровать на ту сторону". Это был голос

измученного, но выздоравливающего, а не больного человека. Потом я услышала звук кирпичей, переставляемых в воде. Я словно заледенела и лишь потом поняла, что лежу. Я почувствовала страшную пустоту. Я почувствовала напряженную, жуткую тишину дома, невероятную неподвижность всего. И вдруг поняла, что сердце мое стало каменным. "Я умерла, — подумала я. — Боже мой, я умерла". Я вскочила в кровати и крикнула: "Ада! Ада!" Ломкий голос Мартина ответил мне откуда-то со стороны: "Она не услышит, она в другой половине дома". Только тут я сообразила, что небо прояснилось и что вокруг нас простирается тишина, покой, таинственная и глубокая благодать, зачарованность, очень похожая, наверно, на смерть. Потом я услышала шаги. Раздался чистый, живой голос. Свежий ветер шевельнул дверь, скрипнул замок, и что-то плотное, будто спелый плод, упало в колодец во дворе. Что-то разлитое в воздухе выдавало присутствие кого-то невидимого, улыбающегося в темноте. "Господи, — подумала я, совершенно утратив ощущение времени, — я бы ничуть не удивилась, если бы меня позвали сейчас на мессу прошлого воскресенья".

Перевел Р. Н.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

**ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ
АДИН ШТЕЙНЗАЛЬЦ. КОНТУРЫ ТАЛМУДА**

"Контурь Талмуда" — не только первая на русском языке популярная книга, рассказывающая о возникновении, содержании и особенностях Талмуда — этого станового хребта всей еврейской культуры. Личность автора, крупнейшего израильского религиозного философа-экзистенциалиста, наложила на эту книгу неповторимый отпечаток, превратив ее в рассказ об особенностях еврейского отношения к человеку и к миру, обусловивших исключительность еврейской судьбы.

Цена книги — по заказу — 6 долларов (за рубежом — 12 долларов). Чеки и заказы принимаются по адресу: "Foundation Moscow—Jerusalem", P.O.B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

СТИХИ НА ЗЕРКАЛАХ

Серые синие зеленые и бирюзовые тупые
С опасною под час голубизной
Простые, но повернутые внутрь и проще — влево
Извне и вправо мутные прозрачные все мимо,
Вполоборота, в лед камням в глубину.
Из-под льда с невероятной грустью
Где мнимое их средоточие сияет
словно смерть в детстве.

А в сером отрочестве я и не узнал
Все в простоте на голубую малость
Но верил, а вернее догадался,
Что там слепая та и вера и уверенность потом
Вдруг станет — смутная — пронзительной догадкой
Да и тростник —
Тростник мой пел от первого тупого дуновенья
Но я вникать не стал, по-юношески глух
Да так и не успел — от ветхости незрячий
Но мнимо вся плясал, и действовал и созерцал
И дул и пел вершил и руки простираал,

А мимо вечно шествовали серые простые
За ними следом, говорят, зеленые бесцветные тупые
А далее совсем уж бирюзовые и мутные немые
И синие с простейшею голубизной —
Так лебеди под сталью ледяные
Всплывают голубея вновь
в снегов стеклянный зной
И завершение их над ними пристально сияет.

СТРАУСЫ

Под черепа зарытые в песке
Они в пыли прокладывают шеи
Глаза ресниц сквозь темя на виске
Прикрыв огромных снизу небольшие

Нескладных ног и нелетучих рук
Полуденного беглого строенья
Хвоста уж нет, и тела полукруг
Закатываясь в тень исчезновенья

Лишь боль тоски струит в дремотный дар игры
Лишь взбив плюмаж о чистый клюв таланта
В свистящий стержень роговой дыры,
Закатываясь, шелковая флейта

Свистит — и никаких надежд а только ветерок
О тонкий воздух перышки колышет:
— Собратья по перу! Увы, урок
Увы не вам и в чучело увы, увы не ваше.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

ПРЕДЛАГАЕТ КНИГУ:

Менахем Бегин. В белые ночи. Бывший эск, а ныне премьер-министр
Израиля рассказывает о времени, проведенном им в лагерях Воркуты.
Цена 9 долларов.

Заказ и чек направлять по адресу: Foundation "Moscow-Jerusalem",
Ramat-Gan, Israel, P. O. B. 7045

— Теперь у них будет месячник чистоты, — сказал Мендель Кац, разглядывая гебешников со швабрами.

— Эти гады, чтоб они сгнили, получают еще и сверхурочные за то, что они нас караулят, — пробурчал Лева Фельдман.

Нельзя сказать, что он отощал за три дня, но щеки все же опали, как потревоженная опара.

— Гнием пока что мы, — картинно поморщилась Лиля. Телеграф и впрямь провонял табаком и потом.

За нашей спиной Моня Соловейчик создавал дивертисмент.

— А я говорю, что в фаршированную рыбу кладут морковь!

— Какую морковь! Почему морковь! — У тети Хаси снова спуталось вязанье, очки на остро отточенном носу мелко задрожали.

— Тот, кто не кладет в рыбу морковь, просто не умеет фаршировать карп, — нокаутировал Моня под одобрительное хихиканье зрителей.

Зрелище распалось на мизансцены.

В закутке между телефонными будками Штейн обрабатывал Савельича.

— Товарищ Савельич, — кричал Штейн, обмахивая обергембиста семейной фотографией огромного формата, — я еду к ма-

Анна Гроссман

ме, товарищ Савельич. У меня в Израиле двадцать четыре близких родственника — это воссоединение или может это не воссоединение?! Покажите мне, кто тут еще едет к собственной маме?

На этом сольное выступление Штейна закончилось. Старший Маккавей Петя Вайс всадил ему локтем чувство солидарности в правый бок.

— Если там уже есть двадцать четыре Штейна, так теперь можно выпустить одного Каца, — прошептал Мендель Кац и застеснялся.

— И вообще мы не будем разговаривать с неофициальными лицами! — запрыгал перед Савельичем маленький Вайс.

— Ну и молчи! — прошелестел из-за будки ренегат Штейн.

Вынужденный к анонимности высшими интересами государственной безопасности, Савельич отвернулся и отер с душистой лысины шипряной пот. Мысленно он давно уже растер Вайса носком ботинка о выскобленный гебешниками мозаичный пол.

Сгущался вечер третьего дня голодовки.

— Налицо инволюция власти, — сказал наблюдавший за спором Саша Гольман.

У Саши с гебешниками были свои счеты. Накануне он изложил нам свою автобиографию.

“Я потомок реабилитантов. Мои родители принадлежат к поголовно истребленному поколению революционеров. Папа продолжал молиться Усам и Лысине после семи лет сибирской каторги. Его, знаете ли, вынесли за скобки истории, и он послушно скончался...”

Саша высок, хорош собой и удручающе интеллигентен. В его жилах кровь трех поколений свадебных клезмеров и провинциальных актеров смешалась с пролетарской кровью красного комиссара Мони Гольмана. Когда-то Моня носился по Полтавщине на конфискованном скакуне, бил белых, желтых, зеленых и фиолетовых. Иногда они били его. Страдал Моня не от ран, а от беспутного пьяницы—начдива. Начдив ругался — и ничего не делал. Моня тоже ругался, но делал все. Как говорится, не для начдива, а для истории. В учебник истории попал начдив, а Моня Гольман, стыдливо опущенный на той же странице, безропотно продолжал платить членские взносы, пока его от этого не освободило НКВД.

По экранам Необъятной все еще носится на кауrom скакуне комиссар Васильчиков. Но Саша Гольман не любит этот фильм. В детстве его сильно побили за вранье про Васильчикова и про собственного папу.

— Инволюция власти, — настаивает Саша, — эти кретины уже боятся играть в открытую. Пол драят для конспирации!

— Интересно, как прореагирует мировая общественность на то, что голодающих евреев тут обливают грязью? — спросил второй Маккавей Леня Копелов.

Мировая общественность откликнуться, как всегда, опоздала. Рыжий гебешник еще раз саданул Леню шваброй по ногам. Чтоб не задавался.

— Как вы думаете, — спелой сливой повис над нами грустный нос Димы Потапчика, — не было ли тактической ошибкой объявлять голодовку без указания срока? Можно было, скажем, объявить трехдневную голодовку протеста...

— Вонючка! — выплюнул в пространство Петя Вайс.

Петя молод и жаждет страдания, а Дима отстрадал десять лет и исключительно привязан к своей личной свободе. Он не желает больше садиться ни по какому поводу.

— Вы же рецидивист, Дима! — восторженно догадалась Лиля.

Эта барышня всегда ухитряется играть в нападающей команде.

Дима Потапчик осел на задние лапы, свирепо обнюхал воздух — и ретировался.

Пахло развязкой, хотя гебисты еще мирно полоскали огромные посеревшие тряпки в новехоньких цинковых ведрах.

* * *

По-настоящему телеграф моют толстозадые тетки в серых ватниках. Ведро у них иные — тяжелые, темные, залепленные присохшей грязью. Вместо тряпок тетки пользуются драными кальсонами — щетку в ширинку, штанины заматывают вокруг древка. Спოდручно и экономно.

А знаю я эти тонкости вот откуда: в доисторические времена мы с Витькой ходили ежевечерне на телеграф обманывать мою маму посредством междугороднего автомата. Мама считала, что я нахожусь в деревне, и автомат не разочаровывал ее назойливым "...вас вызывает Москва."

Я преподавала тогда английский в Богом забытой деревеньке, куда попала по предраспределению, а Витька начинал дипломатическую карьеру с черной поденщины в каком-то архиве.

При таком неуравновешенном состоянии дел мы даже решили пожениться, но Витьке сообщили в органах, что моя, обремененная

пятым пунктом и зарубежными родственниками биография не совместима с его грядущей деятельностью за рубежами отечества. Моя мама впервые за свою советскую жизнь полностью солидаризировалась с Органами.

В то лето мы обманывали себя, отечество, мою маму и были счастливы.

К полуночи, когда в столичных ресторанах созревали до кондиции последние командировочные, — телеграф опустевал.

В одной-двух кабинках перекликались с утренним меридианом толкачи-дальневосточники. Их поджидали усталые, плохо размалеванные проститутки. Девки одобрительно оглядывали крупное Витькино тело, вдетое в твидовые брюки и кожаный пиджак. Внимание проституток Витьке льстило. Как каждому нормальному мужчине.

В то лето дежурных телеграфисток было три. Вскоре мы познакомились со всей троицей. Косоглазая Света относилась к нам уважительно, но без эмоций — как к постоянным клиентам с солидной репутацией. Вера любила пококетничать с Витькой, пока я сообщала маме “парные” деревенские новости. А маленькая, пухленькая Сашенька внезапно вспылала к Витьке платонической любовью. До Витьки она несомненно была влюблена в Жерар-Филиппа. Но Жерар-Филипп не ходил ежевечерне к ней на телеграф звонить чьей-то маме. Вскоре мы вообще перестали заботиться о жетонах — едва завидя нас, Сашенька автоматически набирала мой домашний номер.

Вите Сашенькино обожание несколько досаждало.

— От нее пахнет земляничным мылом и пристойной бедностью...

Витька плохо относился к бедности, наивности и земляничному мылу. А также к соцреализму, предпраздничным призывам и неоспоримым истинам. Думать о Витьке, преуспевающем в МИДе, всегда приятно. Как сложить кукиш в кармане.

Вскоре кончилось долгое счастливое лето. Я вернулась в деревню к герундиям и предложениям, а Витька ожидал назначения в людоедскую столицу. Сашенька, наконец, смогла перейти работать в утреннюю смену, и я ее благополучно забыла.

* * *

Давно это было. Тому вечность — и четыре года. Теперь я сижу на этом телеграфе и пытаюсь сложить кукиш в открытую. Оказывается, это еще приятнее, чем складывать его в кармане.

Количество гебешников заметно увеличилось. Появились дружинники и дяди-близняшечки в одинаковых фетровых шляпах. Все они держались поначалу кучно, но вдруг распались на почти правильный круг. Мы сгрудились в центре, и круг начал медленно сжиматься.

Тетя Хася сложила вязанье и сообщила в никуда, что идет в туалет. Ответа не последовало, и она послушно присела, уперев в живот острый угол саквояжа.

— Как в "замри на месте", — восторженно прошептала Лиля.

Маккавеи затихли в торжественном напряжении — им предстояло пострадать за веру!

По лицам гебистов можно было понять, что страдать Маккавеям придется крепко.

Я искала "своих мальчиков". На меня безразлично лупился белообрый детина в болонье с повязкой дружинника на рукаве. Таких парней много в утренних электричках.

— Берлина Лена! — неожиданно позвал громкоговоритель, — Берлина Лена, два—семнадцать—тридцать пять, восьмая кабина...

Ничего толком не понимая, я разорвала почти уже стянутое кольцо. Белообрый потоптался и отвернулся, зато морды придвинулись к Маккавеям почти вплотную.

Спокойный голос мамы полностью вышиб меня за границы реальности. Оказывается, это я ее вызвала. Я? Умопомрачительно!

В стране чудес чудеса случаются редко. Из разреза стекла над стойкой пахло земляничным мылом.

— Вас хотят арестовать, — прошептала Сашенька, прикрываясь широким поздравительным бланком.

— Знаю. Спасибо.

— Передать кому-нибудь?

Бедная Сашенька. Теперь она была заодно с графом Монте-Кристо. Что случится с этой страной, когда Сашенька начнет читать взрослые книги?

Над Сашенькой выросла грудастая девица в явно не по ней сшитом платье телеграфистки.

С этой дамой чудес не предвидится. Страна может спать спокойно.

От лупоглазой тоже пахло земляничным мылом. А заодно коммунальной кухней, молодежным кафе "Березка" и заводской самодеятельностью.

У меня же — отдельная жилплощадь, личная мутоновая шуба

и полная возможность ездить в Гагры за свой, а не профсоюзный счет. И я хочу все это добровольно оставить. У лупоглазой есть основания относиться ко мне плохо — и мне на это плевать. То есть и плевать не к чему. Но Сашенька?

— Вас вызывал Таймыр? — любезно справился Мендель Кац, когда я влезла к своим в автобус. — Мы уже хотели ехать в сокращенном составе.

Белобрысый в болонье посмотрел на Каца с удивлением — кто бы допустил подобное?

Мендель понимающе улыбнулся. Может, и не допустили бы.

— Мы хотим знать, куда нас везут и по какому праву? — пробовал хорохориться Петя Вайс.

Его не поддержали. Кто-то запел “Кахоль ве лаван” и тоже споткнулся об усталое молчание.

Стало ясно, что занавес опустили окончательно и на бис вызывать не стоит. Начиналась другая пьеса.

СЛУЧАЙНАЯ ПЯТНИЦА

Мы сидим за валким столиком в забегаловке при заправочной станции и пьем кофе, густой и тягучий. Пьем медленно, так полагается. Торопиться некуда — пятница, конец недели.

У моего спутника длинные обвисшие усы и грустный взгляд за толстыми кругляшками дедовских очков. Сквозь очки и убитый вид проступают его неприлично молодые годы, наполненные рок-н-роллом, Вьетнамом и борьбой за гражданские права негров и гомосексуалистов. Сам он вполне обыкновенный мужчина — бабами не брезгует и к неграм относится прохладно. Одет по-американски небрежно. В разрезе ковбойки болтается магендавид, по размерам и тяжести приближающийся к веригам.

Теперь он решает свою жизнь, как уравнение с тремя неизвестными:

Во-первых — хочет познать себя, для чего думает записаться в ешиву.

Во-вторых — хочет закрепиться в какой-то точке земного шара, для чего подал заявление в кибуц.

В-третьих — собирается распорядиться своей жизнью наиболее рационально, что, по моему разумению, исключает оба предыдущих варианта.

Ему нелегко, моему грустному американцу, да и мне не легче. Но мое уравнение решено обстоятельствами бесповоротно. Калитка захлопнулась, ключ потерян — теперь я приемное дитя этой забега-ловки, сентябрьских хамсинов, декабрьских дождей, неуправля-емой стихийности государства, в котором всего — то слишком мало, то слишком много.

Зовут американца Стивен. Кто бы мог подумать, что можно не влюбиться в американца с таким именем. Но в этом сумасшедшем климате влюбиться так же трудно, как пить спиртное. К тому же Стивенами здесь пруд пруди, а Андреи не водятся.

Я прощалась с Андреем в пасмурный декабрьский день. Снег лежал тяжелый и рыхлый. Рваные машинные колеи наполнились темной, чуть подмерзшей влагой.

— Будто март! — неодобрительно буркнул Андрей, отшвыривая комки лежалого снега.

— Что плохого в марте? — подумалось мне, но спорить по этому поводу не имело смысла. Как и по любому другому.

У Новодевичьего снег держался плотнее. Мы прошли мимо небрежно оштукатуренной стенки, изрытой маленькими нишами. В ниши вставлены вазочки, изображающие урны. На одной еще можно было прочесть не до конца затертый привет из Крыма.

— Ужасно, — сказал Андрей и безглаголиво поморщился.

Стебли овса пробивались сквозь снежную корку на скромной могилке Председателя Земного Шара. Известный хирург высунул из гранита кисти рук, готовясь к апокалиптической операции. Два генерала потели под папахами из серого песчаника. Аллилуева примерзла к мраморному столбу, как обледенелая птица к колокольне. Могли бы хоть посмертно ее с колокольни снять.

Никитке проложили народную тропу шириной с Тверской бульвар. Следов на тропе было немного. А над Эренбургом все еще торчала фанерная доска почета с наклепленной фотографией заслуженного формата.

Андрею мои замечания не нравились.

— Ты остаешься безо всего. Тут все, что составляет тебя самое — твой язык, твои старцы и твои младенцы! — говорит Андрей и испуганно умолкает, понимая, что пустил петуха.

Насчет старцев и младенцев — он перебрал. Пожалуй, не мне, а ему предназначены "старцы и младенцы". Андрей их покинуть не может. Снежная размазня облепляет нас сырым коконом, влага

пробирается сквозь одежду, лезет в горло, расталкивает готовые сгрудиться во внятные положения мысли.

— Словно март! — говорю я со злостью. Андрей согласно кивает.

— Приходи вон туда, на мою могилку, — я показываю на маленький холмик облепленный серым снегом.

Андрей крутит головой, — тут забронировано для Варвары Никитичны.

Вот эта принципиальная сволочь Варвара у нас действительно общая, наряду с Председателем Земного Шара и совместно приобретенным мотоциклом, к которому теперь уже незачем приспосабливать коляску.

— Варвара нас переживет, — говорю я, и почему-то смеюсь.

Андрею не до смеха. Варвара осталась в его единоличном пользовании. Вместе с мотоциклом без коляски.

— Он мне не пишет, — говорю я Стивену.

— Кто? Твой бывший любовник? — Язык Стивена испорчен Хемингуэем.

— Мой друг, — поправляю.

— А-а... А я вчера получил письмо от отца. Пишет, что ешива все же лучше, чем дзен-буддизм, и он надеется, что в кибуце не курят марихуану.

— Бедный твой папа, что он знает о кибуцах! А ты курил марихуану?

— Нет. Тебе не понять образ мыслей американского гражданина. В мире, Америке и у него дома существует не то, что есть, а то, о чем пишет "Ридерс дайджест".

Стивен неукоснительно покупает этот журнальчик. Похоже на "Знание — сила". Взамен Библии, конечно, жидковато...

— У тебя с папашей нелады?

— Ничего серьезного. Было время, когда он таскал меня к психиатрам. Я тогда записался добровольцем во Вьетнам. Он валялся у меня в ногах, хотел нелегально переправить в Канаду... А теперь вдруг — дзен-буддизм! Я думаю, они старика доконали.

— Психиатры?

— Ага.

— Привези его сюда.

— С ума сошла? Он умеет играть только по правилам, а здесь все игры без правил. В его возрасте к такому не привыкнешь!

А в нашем? — хочу сказать что-то связное — и путаюсь. Мой английский язык тощ, как указка меламеда, и построен в основном на междометиях.

В кофейную лужицу на столе плюхается жирная муха. Стивен лупит ладонью по краю стола, и моя чашечка валится набок с огорчительным звоном. Кофе растекается по выщербленному пластику, капает на зашарканные плитки пола. Хозяин равнодушно наблюдает из-за стойки. Он не подойдет ровно столько, сколько ему позволят остаться на месте.

Хозяин молод, огромен, патлат и красив. Прямо микеланджелов Давид. Деревянная перегородка за его спиной густо облеплена полезными изречениями, записанными на клочках бумаги разноцветной тушью. Главное место занимает "Не место красит человека...". Подписано — Линкольн. Патлатому лучше знать. Кроме того, при какой-нибудь okazji и Линкольн мог изречь такое. Как удержаться государственному человеку от столь основополагающей мысли! На Линкольне вся мудрость в этом мире, видно, и кончилась. Потом были только Бени Гудмэн и Марчелло Мастроянни.

А кофе продолжал капать на пол и на кеды Стива.

— Вытереть! — сказал он, и хозяин неохотно подчинился, но продолжал удерживать независимо-нахальный вид, шлепая мокрой тряпкой по засаленному пластику стола.

Грязь... Южная. Восточная. Теперь уж, вроде, своя собственная. Но все же — почему такая грязь? И безразличие... Стивен уставился в немытое с прошлой пасхи стекло. За окном мокнут в ожидании попутки усталые солдаты. Проезжающие машины обдают их маленькими грязевыми фонтанами. Никто не останавливается.

— Они ведь тут все солдаты, и не останавливаются, а? В Америке бы остановились! — говорит Стивен.

В моем представлении Великая Страна состоит из гангстеров, миллионеров и задушенных в метро старух — поэтому я недоверчиво хмыкаю.

— Остановились бы! — внезапно свирепеет мой приятель.

— Ладно, — говорю я, — тебе лучше знать.

В России я, пожалуй, не стала бы подбирать солдатню на дорогах. Они были просто вне сферы моих жизненных интересов.

Как-то мне пришлось ехать в одном купе с выпускниками Рижской мореходки. Морячки переваливали на Север. Всю дорогу пили — вначале спирт, потом — "Шипр". При каждом вагонном

толчке их бритые круглые головы откидывались назад, за чем следовала душистая отрыжка.

Проводница, одетая в серый ватник с вырезанными рукавами и мужские утепленные галоши, не возмущалась, а напротив, сочувственно вздыхала, сморкалась в грязное полотенце и безропотно подтирала очередную блевотину.

— Бедненькие...

Видно, в России кто-нибудь да подбирает солдат на дорогах. И здесь найдутся.

Точно. Останавливается потрепанный тендер, солдаты запикиваются в тесный кузов, и отяжелевшая машина шлепает по небрежно залитым рытвинам на асфальте.

Забегаловка пуста. А в обычные дни тут не протолкнуться. Шофера, кибуцники, солдаты, парочки с налетом дорожной пыли и городского шика, белобрысые бродяги с огромными рюкзаками. Сегодня — никого. Потому что *пятница*. А за ней — суббота.

Пятница приходит каждые семь дней, но почему-то всегда слегка напоминает стихийное бедствие. Все бегут. С самого утра начинается бег с препятствиями. Бегут на работу, бегут в супермаркет, бегут в парикмахерскую. Потом бегут с работы. Как будто опаздывают к неповторимому зрелищу. А зрелища не будет. Придут домой и плюхнутся в кресла. Будут лениво листать пухлые пятничные газеты, пока не зажгутся свечи. Тогда сядут за стол. И будут много есть. Вот и все.

Или не все?

Когда бабушка была жива, мы тоже торопились к пятничному ужину. Хотя отец делал вид, что никуда не торопится. И что затея эта никчемная. А брился вдвое дольше обыкновенного. И сердился на маму за порезы. Мама была не виновата. Трудно не порезаться, когда бреешься опасной бритвой, удерживая при этом саркастическую улыбку.

Бабушка встречала в прихожей — волосы забраны в высокий шиньон, под шеей парадная бриллиантовая брошка, на обычно строгом лице особая пятничная улыбка.

— О-о-о, — говорит папа, — гефилте фиш унд чолнт мит кишке, а?!

В коридоре вкусно пахнет едой, паркетной мастикой и бабушкиными духами.

Гости протискиваются в кухню, поднимают крышки, принимают

ваются к горшкам. Так положено. Разговоры о пище доставляют бабушке большое удовольствие.

Стол накрыт вышитой скатертью, на подносе — плетеная булка. Горят свечи в тяжелых, высоких подсвечниках. Мужчины сидят в шляпах, и только у папы на голове по-пляжному затянутый по углам узелками носовой платок. Саркастическая улыбка исчезает, он расслабляется, становится суетливо-подвижен, сыплет анекдотами. И сам смеется своим шуткам, чего обычно себе не позволяет. Все влюблены в папу, даже мама перестает сердиться за носовой платок — отец никогда не носит шляпу, даже зимой.

Только когда бабушка умерла, оказалось, что в шкафу есть черная фетровая шляпа.

Гроб стоял на том же столе, и так же горели свечи в тяжелых подсвечниках, но пахло незнакомо и тяжело. Меня стошнило. И пятницы кончились. А вот поди ж ты — может быть, из-за тех пропавших пятниц я нахожусь сейчас в этой Богом обещанной и забытой стране и пью кофе в паршивой забегаловке на новой хайфской дороге. Бабушка пила чай. Земля сохранившихся пятниц мало похожа на бабушкин двухкомнатный рай. И в окне не сверкающий осколками ее брошки высокий сугроб, а унылый дождь, расплзшийся суглинок, молодое апельсиновое деревце и огромная замусоренная лужа под ним. Деревце нянчит свой последний грязно-оранжевый плод, словно размышляя, не швырнуть ли его в лужу, к окуркам и оберткам вафель.

Стив тоже смотрит в окно. Может быть, и у него была своя, полузабытая пятница.

Вдруг становится шумно. Трахает дверь, звякают стаканы в буфете, шлепается на пол пластиковая коробка для пикников. Появилась настоящая публика, и хозяин оживает.

— Сарра! — кричит он. — Ты опять потолокстела! Вы времени зря не теряете, а, Дуду?

Дуду тоже тянет на центнер и все на нем враспашку. Даже молния на ширинке затянута только до половины. У Дуду и Сарры трое патлатых чертенят. Двое тут же устраивают потасовку. Третий орет "ма-а-а-ма" так, будто ему угрожает горный обвал. Сарра шлепает драчунов, стягивает с крикуна штаны и тащит его полуголого в туалет за перегородкой. Одновременно она отвечает хозяину и дает указания мужу. На стол летят тарелки с тхиной, шипит подогреваемая картошка, из ящичка вытаскивается небывалое количество пакетов и пакетиков. Хозяин подсаживается к

столику. Мужчины говорят о военной службе. Они из одного взвода запасников. Снова грохочет дверь. Входит еще один солдат. Тоже запасник. Лицо в щетине, армейские ботинки заляпаны грязью. Он подсаживается к столику без разрешения. Наверное, из той же деревни или из той же школы, может быть, они встречались в доме отдыха или брали вместе какой-нибудь мост в одну из бесчисленных войн. У трех израильских мужчин всегда есть какой-нибудь общий мост, сопка или аэродром.

— А почему ты все-таки записался добровольцем? — спрашиваю я Стива, разглядывающего общество с неприличным любопытством.

— Наверное, чтоб не чувствовать себя евреем.

— В Америке есть антисемитизм?

— В Америке все есть. И шовинизм и антишовинизм. Шовинизма больше.

— Все большие страны похожи друг на друга, — соглашаюсь я.

— Ерунда, — говорит Стив, — просто сила приятнее в Давиде, чем в Голиафе.

Мы, не сговариваясь, поворачиваемся к занятому столику. Там сошлись здоровые аппетиты воина и земледельца.

— Пошли, — говорит Стив.

Он прав. Нас к тому столику не пригласят никогда, а подсесть сами мы не решимся. Но в конце концов нам не так уж плохо друг с другом.

У дверей, поджавшись и приготовившись к прыжку, стоит спортивный "Опель" Стива. Он строен и поджар, крышки фар вздернуты, как ноздри дикого скакуна, туго натянутая кожаная крыша отшвыривает струи дождя с аристократической презрительностью.

— Какая красавица! — вышептывает кто-то за моей спиной. Это относится не ко мне. А жаль.

— Американский номер, — говорит другой.

— Цвика из Америки карточки прислал... Дом у него — дворец!

— Ну, мы тоже не в сарае живем, а, Сарра! — почти кричит Дуду.

Стив зябко ежится. Но мокрая пыль как-то внезапно садится, появляется солнце. Над дорогой, прямо из корней тощего эвкалипта, встает гладкая веселая радуга. В луже, важно покачиваясь, плавает апельсин. Дождь кончился.

Израиль. Пятница. Два часа пополудни.

*Хочу рассказать свое горе,
Конченный я человек: настиг-
ло меня страдание,*

(Вавилонская тводиця)

На строительстве Ташкентско-го канала работали рабочие-узбеки и заключенные. На правом берегу, если встать лицом к городу, — эки. На левом — узбеки. Берега соединялись лишь узкой скользкой трубой, повисшей над пропастью канала. Хлеб привозили на правый берег.

Приходил от узбеков человек с мешком. Получал хлеб на своих узбеков. Потом возвращался по трубе на левый берег. Путь был опасен: неверное движение ноги — и бригада без хлеба.

Но пока хлебонос, осторожно переставляя ноги, переходил на левую сторону, пристраивался за ним зэк, острым ножичком надрезал мешок, вытягивал буханки, кидал своим, да еще пару батонов прихватывал в руки. И никто ничего поделать не мог — как с жизнью...

Укус шмеля внезапен и обиден...

Израиль Малер

Мы с Айваром пьем одеколон "Березовая вода". Флакон "Берзу ууденс" стоит 35 копеек. У одеколona вкус и цвет "Шартреза".

ПОЛЕТ ШМЕЛЯ

Мы одалживаем стакан у авто-

мата газированной воды и распиваем в подъезде, на ступеньках, под кафельной стеночкой в голубых и желтых разводах. Одеколон хорошо идет под шикарный подъезд. Или убогий; но тогда уж — убогий-убогий.

Затем мы стреляем еще рублик и направляемся во “Флору”. В это кафе когда-то дамы водили своих детей “на пирожное”. В нем два зала. Один, с остатками лепного потолка, обслуживается официантами, там гуляш — в тарелках с узорной надписью “Флора”, кофе — в чашках, салфетки и так далее. Второй, что по левую руку, — попроще. Здесь — очередь между прилавком и металлическим поручнем; сам берешь мокрую вилку и нож, кусочек хлеба, салат, дремлющий в тарелке со вчера, а гуляш — это как Марика зачерпнет. С Марикой у нас отношения хорошие.

Но сегодня, пока Айвар промышляет два стакана, я беру лишь порцию темной нарезанной колбасы (конечно, подбросив кусочки в свою тарелку из других и разложив так, чтоб горка колбасы выглядела не горкой, а обычной порцией на 25 копеек). 5 копеек остается на кусок хлеба. Но Айвар уже собрал остатки хлеба с соседнего стола. А еще есть бесплатная горчица и соль!

Нам показалось мало. Что такое два флакона под закуску? Мы выплываем на улицу. Нас ждет разочарование — на улице дождь и нет прохожих... Ни штелмана, ни проститутки, ни писателя... Да что там говорить — никого.

На улице пусто.

На улице никого, кроме дождя.

Вприпрыжку и бегом по — кафеюшникам.

Никого.

Все забились.

Мы бежим, два человека, по пустым и мокрым улицам, мокрые и пустые. Того и гляди весь хмель выйдет — да что ж это такое!

Мы бежим — два человека на весь город.

Я, обычный мальчик из хорошей семьи — детский сад, школа, учительница музыки, учительница английского, университет, первая женщина и жизнь, которая дана человеку один раз.

Мой собутыльник, знакомец и друг, — обычный алкаш, каких много, с виду на все шестьдесят, но сколько ему — никто не знает, а он не говорит. На нем черный плащ из магазина рабочей одежды, да и тот покупал и до недавних пор носил не он. На нем летние туфли, без носков, на босу ногу. Он читает только газеты, подобранные в парке или на тротуаре. У него нос картошкой, синий

с красными прожилками. У него глаза — сплошной зрачок под воспаленным оком. Таких в приличный дом не пускают. Он сидел.

— “За что ты сидел, Айвар? — Да была у папы лавка мясная. — А долго? — Пока не отпустили. — А где? — Далеко, отсюда не видеть”.

— “А тяжело было? — Где легко? — А страшно?”)

Самое необычное в моем друге — волосы, длинные, свалывшиеся волосы, волосы за воротник рубахи. А ведь только-только бороды носить начали. До длинных волос еще — джинсы.

На углу Айвар неожиданно останавливается. Пока он думает о чем-то, я мокну.

Потом он сворачивает направо, и мы бежим по улице, но не оглядываемся, не рыщем зорким оком. Он что-то придумал, он что-то решил. Известное дело — всегда найдутся один-двое знакомых, что подкинут на маленькую. Лишь бы жили неподалеку.

И вот мы вбегаем в шикарный подъезд. Да я в таком подъезде согласен спать, и пить, и не просыпаться, я согласен девушек сюда водить, чтоб рассказать им, как я люблю только их и только водку, согласен ступеньку снимать с пропиской, пусть — временной...

И какой шикарный пролет! Здесь когда-то был лифт — с зеркалами и на двенадцать персон.

В пролет виден мутный стеклянный потолок.

И стучит дождь по стеклу. А нас не достает.

Мой сосед, провинциальный старый еврей, лишь после войны заговоривший по-русски, учил своего годовалого внука: “Ходи, кэцале, осторожно”.

Шмель пролетает над нами, а мы руками машем, кто знает, когда взбредет ему ужалить...

Мы стоим. От нас идет пар. Вода стекает, и образуются лужи в таком сухом и чистом подъезде. Мы переводим дух.

— Послушай, — говорит Айвар. — Поднимешься на пятый этаж. Квартира девятнадцать. Там живет моя старая знакомая... Мирдза. Я давно не был у нее, но она меня помнит. Все равно никого поблизости. Скажешь — Айвар просил трешку. Вот.

— Так, может, лучше тебе самому?

— Не... мне она не даст, да и разговоры заведет надолго... так лучше, я-то знаю...

Укус шмеля внезапен и болезнен особенно потому...

Я даю себя уговорить. Все лучше, чем стоять и дрожать.

И вот я начинаю свое восхождение на пятый этаж по широким

и высоким ступеням, держась за резные деревянные перила. Каждый этаж высотой в пять метров. На каждом этаже в углу скамеечка, передохнуть, глотнуть воздуха.

Что ж, пока я иду на пятый этаж, пока ценой невероятной пьяной сосредоточенности и настойчивости стремлюсь по направлению к стеклянному потолку, я вам что-нибудь расскажу. Все равно Айвар сидит внизу и сушит на батарее промокшие спички и сигарету.

Конечно, трудно вот так сразу что-нибудь рассказать.

Однако рискнем.

Первое свое стихотворение — и не лучшее, чем предыдущие, — я написал после знакомства с Эрикой. Она была бедной и одинокой. Она была невзрачной. Только имя. Только имя и волосы. Длинные роскошные волосы. А парня не было у нее. Как там в песне поется? Ну, ходила на балехи. Ну, прошвыривалась по броду, в парке сидела на скамеечке, в “дубле” кофе гоняла. Ждала своего, хоть какого-нибудь. Однажды она возвращалась из кинчика, и ее изнасиловали. Изнасиловали четырнадцать здоровых ребят — “хор” называется. Повеселились ребята. Встали и пошли дальше. К чувихам своим, знатная пьянь намечалась с чувихами. А это — так, это — по дороге.

Эрика опять осталась одна. То есть еще больше одна, чем раньше. Самое страшное: человек продолжает жить. Те парни не умерли, и она не умерла. Не умеет человек умереть, когда хочет; когда хочет и когда надо.

Что еще интересно: заранее ничего не знаешь. Они не знали, не готовились, и она не знала, не готовилась.

Потом родилась дочка. Дочку Натальей назвала. Я видел дочку Наташу. Веселая и белокурая.

Что я еще знаю об Эрике? Дальше вроде все лучше. Она замуж вышла, лет этак через пять, за очень некрасивого еврея. Он обожал Эрику. Дочку Наташу любил. Но такое окончание истории нам никак не объясняет того, что произошло раньше.

...пристраивался за ним зэк, острым ножиком надрезал мешок...

Вы открываете дверь, а к вам в квартиру люди входят. Вы вышли подышать, а к вам человек подходит.

Впрочем, все пройдет.

Можно высосать жало шмеля, и тогда опухоль быстро спадет.

А нельзя ли сделать так, чтоб он мимо пролетал или...

Уж не знаю что.

Я кручу довоенный звонок, раз и два, и дверь передо мною раскрывается. Тяжелая довоенная дверь, сейчас таких не делают.

Высокая, полная и моложавая блондинка в дверях.

— Я от Айвара, — говорю я и пугаюсь. Фамилии Айвара я не знаю. А вдруг спросит, от какого такого Айвара, Айваров у нас в Латвии много. Но она, взглянув на меня, отступает и пропускает в коридор. В коридоре овальное зеркало, настенный телефон с гербом (два льва и скрещенные ключи на поле щита) и деревянная вешалка с литыми медными крючками.

Мы проходим в комнату, и мне становится жалко блестящего паркета. Но она уверяет, что ничего, и предлагает тапочки и чай или кофе. Я объясняю, что меня ждут, просто Айвар просил одолжить ему трешку, ему очень надо, но сам он прийти не может. "Что ж, — не возражает она, — сейчас принесу". Конечно, она понимает, что я вру. "Ну, а как он там?" — "Да так".

Она выходит, а я оглядываюсь и вижу картины Ирбе и Казакса, Матвейса и Струнке. Я вижу кузнецовскую посуду в стеклянной горке и понимаю, что ни сороковой, ни сорок первый, ни сорок пятый, ни какой другой год не коснулись этого дома. И тогда черт с ним, с паркетом, я устремляюсь к книжному шкафу. Так оно и есть. Скалбе. Полный. Чакс. Полный. Аустра Скуиня и Звейнекс. Даже библиотечка "Зелта абелиите". Полная. Подшивки старых газет и журнала "Атпута". "Перезвоны". Церковные календари... Это ничего, что она старше, говорю я себе. Я женюсь на ней. Я буду сорок-пятьдесят оставшихся лет сидеть и смотреть на эти книги. Я буду только смотреть. Это уже много.

— Вам нравится? — слышу я голос за своей спиной.

— Сказать нечего.

— Это книги моего мужа, все, что осталось от него.

— Он был кем?

— Он сам был поэтом. Вы, возможно, слышали о нем, хотя еще десять лет назад его имя произносили шепотом. Ну, да теперь времена изменились, слава Богу, можно вздохнуть. Все прошло. — И она называет имя одного из поэтов Латвии. — Его звали Пазуднитс.

— У вас остались его книги? — Года два назад я держал один из его сборников в руках, мне принесли и сказали — полистай, но ведь их — шесть, у нее должны быть, и сейчас я их увижу.

— Что вы, — говорит она, — я все сожгла, все выбросила. Мне

предложили отречься от него, я две ночи проплакала и подала на развод. Но он бы меня не осудил. Он любил меня, как любят раз в жизни. Я была очень красива.

И тут я замечаю фотографию за стеклом книжного шкафа. Это странная фотография — женщина смеется кому-то отрезанному, а по линии среза видно какое-то маленькое серое пятно, так похожее на ухо. Не фотография — полфотографии. Левую часть отрезали и сожгли.

— Мне пришлось обрезать ее, в октябре сорок четвертого, когда русские вернулись, — говорит она.

Я беру трешку и начинаю медленно спускаться вниз, где меня ждут.

Я бы и сейчас рассказал вам что-нибудь. Но я очень взволнован. Я видел жену моего любимого поэта, умершего где-то там в России, в Сибири, в тайге. Я видел женщину, которую он любил и посвящал ей почти все свои стихи...

— Ну, чья правда! Что я говорил! Бежим — тут рядом магазин, — хохочет и по-петушиному бьет себя по бокам Айвар, и мы выбегаем на улицу. А дождь-то прошел.

Мы заскакиваем в магазин, мы берем не что-нибудь, а — "Московскую", и у нас остается еще на пирожок с рыбой. Мы идем в парк и садимся на скамеечку в кустах.

Айвар опрокидывает в себя водку, а я смотрю на его клоунское лицо, обрамленное длинными волосами, я смотрю и спрашиваю:

— Айвар, а когда тебе ухо отрубили?

— В конце сорок четвертого, в октябре, — отвечает он, — а день... кто тогда смотрел в календарь? Да и не отрубили. Топор слетел с топорща... — он жадно проглатывает вторую порцию и добавляет. — Ничего, Аугустин, все пройдет...

Укус шмеля иглой входит в сердце...

ЧИТАЯ САШУ СОКОЛОВА

... Просто не хочу разговаривать! (из диалога).

Мне снится странный понедельник —
Я ничего не понимаю
и не служу, живу без денег —
пыль с одуванчиков сдуваю.
Мне разговаривать не надо —
вокруг стоят деревья сада.

Но на моем печальном свете,
где запад посрамлен востоком,
никто не думает о лете,
не помышляет о высоком,

а жарят рыбу-пристипому,
а мучают собак и кошек
и ненавидят насекомых,
летающих на тепло окошек.

... Проснусь. Пойму, что так негоже,
Уйду гулять над речкой Уды.
И жить начну. Авось поможет.
А разговаривать не буду!

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗНАКОМСТВА: ААРОН АПЕЛЬФЕЛЬД, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИЗРАИЛЯ 1982 ГОДА

ПЕРЕМЕНЫ

“А ведь это не мой жест”, — подумал он и усмехнулся. Перемены были, — как листопад, но и то, что осталось, было уже не его. Кожа на лице сменилась, руки обросли волосами. И она менялась вместе с ним. Утратила свою мягкость, свое лицо; от холодного солнца шея ее покраснела. Это погода сделала их такими. Нет от нее спасения.

Много дней крестьяне на лошадях, с ищейками гнались за ними, загнали в болото, в камыши. Всю зиму их преследовали. К весне они уже умели плавать, взбираться на деревья, прятаться в пещерах, застывать на месте, слившись с природой, точно хамелеоны.

Однажды они обнаружили себя в открытом поле: были они иные, изменившиеся, словно и не те люди, за которыми гналась охота. Без страха стояли на опушке леса. Гои видели их, поздоровались, и они ответили на своем языке. Их одежда потеряла городской вид. И шли они так, точно это был их собственный надел, где нечего опасаться. Только ночью они вновь обретали слова. Они разговаривали. Звуки украдкой пробивались тоненьким ручейком, лишь чуткое ухо могло уловить их. “Что ты сказала? Лучше помолчим”. И тишина вновь накрывала их колоколом.

Иногда он не выдерживал. Выл, как зверь, которого сотрясает непонятная боль. “Ш-ш-ш, ш-ш-ш,” — успокаивала она, и он зарывался лицом в траву.

Он сшил себе шубу. Туфли развалились, и он соорудил себе галоши, как у крестьян, и смазал их дегтем. Она сплела себе юбку. Они стали ближе к земле, забыли слова, разговаривали на местном диалекте. Печаль обволакивала их, точно густая жидкость, на покрасневших лицах появилась кривая улыбка. Так, наверное, улыбаются лошади, подходя к водопою. Иногда мелькало воспоминание, и они улыбались друг другу, как заговорщики.

Днем он сидел на берегу реки и удил рыбу. Она собирала дрова, разводила костер. На камнях растирала ячмень, росший на опушке леса. Мимо проходили крестьяне, здоровались. Она разговаривала с ними. Он говорил, что беседовать с ними не полагается. Она смеялась. Такому смеху человек может выучиться только в лесу, у хищных зверей.

Пришло лето. Они разделись, изголодавшиеся по солнцу. Вода в реке согрелась, и они плавали. Какая легкость была в них. В полдень ложились навзничь, обсыхали. "Что ты говоришь?". Иногда бывало так, что он снова обретал язык. Она смеялась. Как крестьянки в поле во время жатвы.

Иногда они ссорились. Он бил ее, и она убегала. Он гнался за ней с бранью. Она выла, повалившись на землю. Летнее солнце царило над ними. Они сидели и пили его, как целебное питье. Говорили мало, точно родились бессловесными. Лежали, или спали, или плавали в реке, или гонялись за дикими голубями. Но иногда ночами лес просыпался с отчаянными криками, и они удирали вместе с птицами. Они знали: "господа" отправились на охоту. Лес спасается бегством.

Иногда, словно сквозь туман, она понимала: так не поступают, и говорила ему: "Так не поступают". Он смеялся, как смеются поденщики, когда "барин" велит собраться, чтобы священник мог их отчитать. Порой и он понимал, что так не поступают, и смеялся про себя.

Они научились вялить рыбу, сушить яблоки, выделявать заячьи шкурки, высекать огонь, печь лепешки из молотого ячменя. Он научился смотреть на облака, слушать ветер. По утрам она толковала его сны.

Временами на них снисходила благодать. Что-то из тех далеких лет; что-то, что когда-то в них было. И он пытался поймать убегающие краски. Она плакала. Он пытался говорить с ней. Почему ты плачешь. Она сама не знала. Что-то в ней плакало. Не она. Он говорил, это, наверное, мысли, это не поможет. Она плакала. Он давал ей выплакаться, как дают ребенку побыть в колыбели.

Дни приходили и уходили. По воскресеньям она бывала в церкви с поденщиками. Вначале он пытался помешать ей, но она сказала, что положено ставить свечку. Вернувшись, заставляла его пьяным. Это ее пугало — он путался в словах. Она умоляла его: "Не разговаривай". Спьяну он лез обниматься. Пришла осень. Холодные ветры принесли запахи. Тоже что-то из тех, других, дней. Не знали, что. Какую-то тревогу, которая возникла и не уходила. Листья падали вместе с ними. Красные листья. Лес наполнился шорохами. Сквозь голые ветки виднелось небо, голое небо. Она жалась к нему и говорила: "Что будем делать в холода?" Он отдал ей свою шубу. Сельский священник, проходя мимо, говорил им, заблудшие дети, почему вы не строите себе дом.

Зима, пора лесов и болот. Реки разлились, земля повлажнела от опавших листьев. "Где ты, почему ты меня оставляешь?" — говорила она, как только он отворачивался.

Ночью он забрасывал сети. Река потеряла покой, вода в ней бурлила. Улов стал скудным, дикие голуби улетели и больше не показывались. Они пробирались в огороды, воровали картошку и закапывали добычу в ямы. Ветры мешали им. По ночам они сидели у огня, но огонь не согревал. Он пил ячменную водку, и она была жгучей, как горячий яд.

Выпадали и тихие минуты. Меж волнами холода проглядывало солнце. Они сидели рядышком, погруженные в молчание. Могли бы разговаривать, как муж и жена. Но не разговаривали. Словно не было больше слов. "Не бей меня", — умоляла она. Но не он бил ее, а его руки. Здесь, на открытом воздухе, тело его стало крепче, руки обросли волосами, он мог вырвать дерево с корнем. Он ходил в село за махоркой. Возвращаясь, находил ее спящей. Набрасывался на нее: "Что ты делала?" Она плакала и убегала. Он гнался за ней, щипал. "Ты же еврей, а не гой", — говорила она. Тоже что-то из той, прошлой жизни. Но порой и он плакал, как плачут здоровенные гои у камня или у изваяния, или когда "барин" лупит их кнутом. Она пугалась его слез. "Что с тобой?" — спрашивала она. Он выдирает траву вокруг себя.

И вот пришла зима. Он напивался допьяна, чтобы согреться. Она собирала дрова.

"Если доверимся поденщикам, будет у нас дом на зиму", — говорила она. "Ты там совсем скурвишься", — злился он.

Она умоляла его и плакала. Но он знал, что это притворство. Зорко следил, чтобы ни на шаг не отходила от него, даже в деревню брал с собой, чтобы не оставлять одну. Ночью просыпался и говорил: "Где ты?"

Пронизывающие, обжигающие ветры не прекращались. Над их головами проносились бури. Поденщики, проходя мимо, звали ее ласковыми именами. На зимнее время поденщики уходили в кабаки. "Что ты пялишься на них?" — упрекал он.

И ночью, когда ветер крепчал, он звал ее, мычал что-то непонятное на языке, который холод выжимал из него. Мороз лизал его, словно языки пламени. Она пыталась высвободиться из его объятий. Он говорил: "нет".

А утром, к первому чистейшему снегу, ее не стало. Его ноги окоченели от стужи. Глаза потухли, но мысли прояснились. Он

знал: поденщики вырвали ее из его рук ночью; она ушла, не разбудив его. Кинжал висел на ремне, не тронутый льдом. Ему пришло в голову: сейчас все ледяное: деревья, река, он сам. Но весной, когда вновь заструится тяжелая вода, он приведет ее сюда. На закляние.

ХАНУКА 1946-го

В 1946 году, в Хануку, на пустынном взморье Неаполя у четы Приделей родился сын. Не было мозла, чтобы ввести его в лоно Авраамово, и ужас матери перевесил радость. Ребенок плакал, не переставая, весь барак сотрясался от его криков. Говорили, что в горах живет мозл, но никто не знал, как его найти. Другие считали, что обрезание ребенку сделают уже в Стране. С моря дули холодные ветры. Вода потеряла свою голубизну, и тяжелые волны выносили на берег зеленую пену.

Придели были уже немолоды, и чужая радость пугала их. Они стояли в дверях барака, держась друг за друга. В бараке играли в карты. Во всей округе не было соломы, и куча тряпья распространяла запах лизола, которым ветеринар поливал все вокруг. Женщина подошла и сказала, что в Неаполе можно найти странствующего мозла. Ветеринар явился взглянуть на новорожденного и промолвил: "Ребенок выказывает несомненные признаки здоровья". Ужас не покидал родителей. Все страхи, живущие в них, отражались в их глазах. Мать не отходила от двери, точно ожидала пришествия Мессии. Отец бегал в горы достать козьего молока. Он обменял несколько золотых на местные деньги. Раз в день приезжала полевая кухня и привозила суп. Это был тяжелый суп. Люди предпочитали есть сардины, оставшиеся в кладовой. Ветеринар давал ребенку снотворное. Родители сидели рядом с ребенком и охраняли его сон.

Они не знали, когда за ними придут и позовут на пароход. Казалось, о них забыли. Люди были горды и не ждали помощи извне. Сардин было много, разных сортов. Они легко могли провести здесь всю зиму.

"Почему бы тебе не пойти в Неаполь и привести мозла", — говорила мать. Она разговаривала сама с собой. Вся женственность ее исчезла, лицо высохло и сморщилось. Отец злился: "Куда я пойду сейчас, ветры. Кто же может добраться до Неаполя?" Зима давала

себя знать. Горы посерели. Дороги утонули в грязи, и только цистерна с супом приезжала в положенный час, в полдень.

За годы войны ветеринар утратил свой облик и обрел новый. Был мал и добр, точно и не ветеринар, а врач, повидавший немало страданий. Он приходил к родителям, сидел с ними, пытаясь утешить. В карты играть не умел, и картежники звали его: ветеринар.

Шепотом он старался уговорить мать: нет ничего страшного в том, что ребенок не обрезан. Еще успеете это сделать, если захотите. Кто знает, какие войны нам еще предстоят. Отец сидел на полу и слушал. Слова ветеринара по капле проникали ему в душу.

Сидя на куче тряпья, мать не переставала причитать: как же это можно быть необрезанным. Заметно было, что это не ее голос. Всеми своими страхами она цеплялась за эту фразу, как за соломинку. И ветеринар, куривший сигарету за сигаретой, говорил, что лучше сперва дать ребенку привыкнуть к зимнему воздуху, до операции, да и условия здесь антисанитарные.

Мать непрерывно плакала, но муж не подходил утешить ее. Она плакала в одиночестве. "Не понимаю, — говорил ветеринар необыкновенно мягким голосом, — отчего вы плачете? Обрезание не прибавит ребенку здоровья". Над ребенком витала какая-то тяжелая дрема. Отец отправился искать солому и вернулся с пустыми руками. В день, когда положено совершать обрезание, ребенок открыл глаза и заплакал. Мать зарыдала, точно это был знак свыше. Ветеринар, стоявший в эту минуту рядом, не знал, как ее успокоить. "Ребенок здоров, — твердил он, — вы сможете ехать с ним". "А разве здесь во всей округе нельзя найти мозла?" — бормотала она в отчаянии. Левый, больший глаз Приделя замер, покрылся кровавыми прожилками. Он тоже не находил себе места. Если б не ветеринар, он нашел бы повод сбежать, только бы не видеть, как жена сидит и гаснет на его глазах. Три года жизни в лесах убили в нем любовь. И ребенок, появившийся на свет, оборвал последнюю нить. Правда, был он уже пятидесяти трех лет, полон зим и дорог.

Ветры с моря и ветры с суши обдували барак. Люди заткнули окна тряпками. Двери закрыли. Поставили три тяжелых примуса. Три лампы освещали низкие столы, за которыми играли в карты.

Отец не произносил ни слова. Весь его гнев сосредоточился в разросшемся левом глазу. Этот левый глаз переходил в их роду из поколения в поколение. Благодаря ему Придели отличались

от прочих людей. Сейчас он сердился на жену, которая так несвоевременно произвела на свет младенца. И ночью увеличенный левый глаз его не переставал двигаться, излучал печальную синеву. Даже ветеринар, привыкший и не к такому, вздрагивал при виде этого глаза, занимавшего пол-лица.

Женщина не искала спасения — горе пересилило страх. Она смотрела в знакомый левый глаз мужа, как смотрят на рану. Щеки младенца порозовели, по его маленькому личику было видно, что он уже привыкает. Люди побросали карты и подошли взглянуть. Мать не гордилась ребенком — словно видела то, чего не видят другие. Больше не смела выкликать: "Где мозл?" Боялась мужа. Мягкий, безболезненный свет озарял теперь лицо ребенка. Он искал источник света своими слепыми глазами. Мать не двигалась с места. Придель метался, как пес, сорвавшийся с поводка. Его левый глаз пылал. Люди опасались его и передвинули низкие столики поближе к ребенку. "Мозл, мозл", — беззвучно шептали губы женщины. Теперь и она искала, куда спрятаться от гневного левого глаза мужа.

Мозл не приходил. Не мог прийти. Холод усиливался. Дороги обледенели. Люди увлеклись игрой и не вставали из-за столов. Мать кормила ребенка, и он не плакал. Время от времени игроки отрывались от карт и поглядывали на него. Из всех желаний осталось только одно — урвать хоть часок для игры. Глаз Приделя горел над ними, как фонарь. Люди стеной загораживали от него жену. "Мозл ей нужен, мозл", — бормотал он. Люди слышали его шепот, но не отвечали ни слова. Цистерна с супом приезжала ежедневно, но не привозила вестей из города.

Ночью, не сказав никому ни слова, Придель вышел, а наутро оказалось, что он исчез. Люди положили карты и стали вглядываться. Берег был пуст, только тяжелые волны поднимали зеленую пену. Ветеринар надел плащ-палатку и вышел его искать. В полдень вернулся ни с чем, весь промокший. Люди не играли в карты. Круглый, тяжелый глаз Приделя продолжал пылать, хоть самого Приделя уже не было. Мать не плакала, она укачивала младенца.

После полудня зимняя буря утихла. Люди надели накидки и пошли искать Приделя. Ветеринар, служивший в свое время в Монте-Негро, в отдельной бригаде, указывал им путь. Берег был огромен и пуст. Далекие огни, сталкиваясь и разбиваясь друг о друга, излучали зеленую муть. Ни души, ни звука, только шум

волн. Люди, посвятившие игре столько дней, больше не играли. Им казалось, что левый глаз Приделя не покидает их. Они толпились возле кучи тряпья, на которой лежал ребенок. Ребенок искал свет своими незрячими глазами. Какая-то мудрость, невиданная среди младенцев, сморщила его лицо. Мать говорила, что это от недостатка молока. Если бы достать коровьего молока, он выглядел бы иначе. Люди на минуту забыли о Приделе и устали на младенца. Некоторые говорили, что он видит. Мать возражала: как он может видеть, он же необрезанный. Кто-то принес влажной соломы, и ветеринар продул ее своей машинкой.

Буря утихла, и клочья лазури усеяли небо. Голубые, как левый глаз Приделя. Ребенок, лежавший на соломе, смотрел в окно. Его левый глаз раскрывался все больше и больше, пока не заслонил правый. Точно, как у отца. В эту минуту мать поняла, что ее мужа Приделя уже нет в живых. Она расстегнула платье и стала кормить ребенка, и все время не переставая целовала его левый голубой воспаленный глаз.

Назавтра пришел мозл, беженец, уже много лет не совершавший обряд обрезания. Он взгляделся в ребенка и сказал: "Нет, нет, не гожусь я для этого". И ушел.

Перевела с иврита

Ирина Верник

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ...

(интервью для журнала "22", 1981 г.)

— Г-н Апельфельд, насколько я знаком с вашим творчеством, мне кажется, что как писатель вы живете в страшном мире. Тема Катастрофы, по-видимому, как-то связана с вашей биографией?

— Вы знаете, это так и не так. Как правило, пережившие Катастрофу не говорят о ней, как в доме повешенного не говорят о веревке. Происшедшее с ними превысило меру страдания, ужаса, трагедии. В Израиле живет три четверти миллиона людей, прошедших Катастрофу, и они, как правило, душат в себе воспоминания, не желая вновь переживать случившееся. Я часто расспрашиваю молодых: откуда вы, кто ваши родители? Выясняется, что многие родители пережили Катастрофу, но ничего не рассказали о ней своим детям. Они хотят, чтобы их дети росли нормальными людьми — в их понимании, — то есть людьми без памяти, людьми без прошлого.

Когда началась Вторая мировая война, мне было всего семь лет. Осознать происходящее я не мог, да, и не пытался. Впрочем, история моя достаточно

обычная. Семья бежала от немцев на восток Украины, попала в гетто, потом в лагерь. Мне удалось уйти из лагеря, я прятался у крестьян, был пастухом, а с приходом русских вернулся домой, в Черновцы. Никого из близких у меня не осталось, и я ушел с армией в Югославию, Италию, а затем — в Палестину. Спасло меня то, что никто не знал о моем еврейском происхождении, да и я сам о нем не задумывался. Лишь потом — лет в двадцать пять — я стал спрашивать себя: кто же я такой, почему я именно здесь? Чтобы разобраться в этом, мне пришлось как бы реконструировать свое прошлое, пережить его заново. Но по-настоящему осознать себя я смог, лишь начав писать. И все эти годы мне казалось, что во мне живет нечто ужасное.

— *Возможно, то же чувствуют и остальные, пережившие Катастрофу. Не этим ли объясняется их нежелание думать и говорить о ней? Может быть, они чувствуют себя виноватыми в том, что остались живы?*

— Действительно, я заметил, что многие уцелевшие чувствуют себя виноватыми. — Ведь лучшие гибнут, остаются только самые живучие, сильные, и им кажется, что они выжили за счет других. Но наша "вина" не только в этом. Нельзя забывать о том, что в сороковых годах у евреев уже не оставалось веры. Европейский еврей считал еврейство, религию смешным провинциализмом. Большая часть европейского еврейства была космополитической, универсалистской. С начала века наиболее сильной тенденцией у евреев была ассимиляция. Ни во что другое ими не было вложено столько душевных сил. Понадобился Гитлер, то есть кто-то извне, чтобы снова сделать их евреями.

В свое время я много думал об этом. Мне хотелось понять, что же такое еврейство, чем так плох еврей, что его непременно хотят уничтожить. Я начал изучать еврейскую литературу, философию...

— *Предположим, правы те, кто говорит, что в каждом еврее заложено нечто опасное...*

— Это очень сложно. Моему деду было бы легко вам ответить. Я хорошо его помню: высокий такой старик с бородой. Ему было понятно, за что его ненавидят, но за что ненавидят меня — мне неясно. Внешне я ничем не отличаюсь от европейца, возможно, и образ мышления у меня тоже европейский. За последние пятьдесят лет евреи претерпели странную метармофозу: вроде и евреи, и в то же время — нет. На моего деда достаточно было посмотреть, чтобы понять, что он еврей, и вера его была чисто еврейской, глубокая вера в особую еврейскую судьбу, особую еврейскую историю... Он был уверен, что наиболее правильный жизненный путь — еврейский. Мне труднее — мое отношение к еврейству более сложно.

— *Из сказанного вами следует, что в самой природе еврея содержится некая обреченность, предопределяющая его гибель?*

— В том-то и дело. Не думаю, что Катастрофа была случайна. Еврей всегда чужой, чужой всем. Он не похож на других. Его характер, образ мышления иной. То ли причина в том, что евреи подчеркивают свою иноподобность, то ли в том, что скрывают ее. Я пытаюсь объяснить все это рационально, но чувствую — и здесь вы правы, — что на самом деле причины лежат где-то на грани мистики. Будь я верующим, я склонился бы к мистике, а так — лишь чувствую нечто сокровенное, некую тайну, а в чем она — не знаю.

— Странно иное: почему другим так легко “уволиться” из своей нации? Достаточно лишь переехать в другую страну, заговорить на ином языке. У евреев же так не выходит.

— Это, вероятно, связано с тем, что наша история значительно сложнее. Достаточно, скажем, шведу переехать в Америку, как в течение одного-двух поколений его “шведство” перестает быть заметным для окружающих. Сказывается общность веры и, пусть это покажется некоторой натяжкой, — исторического опыта. А мы... Еврейская история не имеет параллелей. Отсюда и несовместимость, всегда порождающая трагедию. Русский еврей, например, бежит в Америку, веря, что ему легче будет ассимилироваться. Он и в России этого хотел, да ему не дали. Но и в Америке его ждет неудача. Герцль сказал однажды: “Возвращение в Израиль есть возвращение в еврейство”. Заметьте, не возвращение на землю предков, на свою историческую родину, но возврат к своей судьбе и истории.

— Но утверждают обратное: лишь в странах рассеяния можно сохранить еврейство, в Израиле же его теряешь. Наблюдается становление новой формации — израильтян.

— Ерунда. Нет никакой особенной израильской формации. Понаехали евреи из десятков стран — и каждый передает детям что-то свое. Сионизм всегда проповедывал “нормальность” — он хотел видеть еврея-рабочего, еврея-крестьянина. Еврей же, как правило, горожанин. Превратить его в рабочего, крестьянина, и при этом в короткое время, не удалось. 85-90% населения вновь живет в городах и занимается привычными “еврейскими” профессиями. Так что сионизм и в этом не преуспел. Мы вновь “ненормальны”.

— То есть, мы стремимся быть “как все” и на этом проигрываем?

— Еврейская история обязывает, а мы хотим избежать обязательств. Потому “обыкновенность” воспринимается нами как нечто положительное.

— Иными словами, еврейская “ненормальность” неустребимо обусловлена самим ходом еврейской истории?

— Вы, наверное, помните — Достоевский где-то говорит: “Велик человек — надо бы сузить”. Еврейская история слишком велика. Я бы хотел, чтобы она была поменьше, покороче. Даже мы сами не способны прочувствовать еврейскую историю, со всем ее смыслом, со всем тем, к чему она обязывает, к чему обязывают Ветхий Завет, Талмуд, философия. Вот мы и устанавливаем для себя определенные рамки, ибо получено больше, чем мы в состоянии вместить: несоответствие между великой историей и маленькой повседневной жизнью. Несоответствие между большим телом и маленькой дурацкой башкой. Вот Греция, некогда колыбель человеческой культуры: люди пьют кофе, курят кальян, играют в нарды... Нынешние потомки древних греков — полутурки-полуарабы. Что общего между ними и Сократом, Платоном, Аристотелем? То же произошло и в Израиле, вопрос только в том, сможем ли мы преодолеть это главное противоречие нашей сегодняшней культуры.

— Характерно ли это противоречие и для современной литературы на иврите? Что, по-вашему определяет специфику современной ивритской литературы?

— К сожалению, ивритская литература локальна, лишена исторической

памяти. Но и в своей "конкретности" она лишена тех пропорций, которые существуют в реальной жизни. Она интересуется лишь людьми, родившимися в Израиле. А ведь две трети населения Израиля — эмигранты. Герой нашего времени — перемещенное лицо. Центр абсорбции — квинтэссенция Израиля. Но кто напишет об этом хоть слово? Может быть, напишете вы, но вы напишете по-русски и до читающего на иврите это, если и дойдет, то не скоро. Вот так сотни жизненных впечатлений пропадают для нашей литературы. Эмигрант нем, а дети его лишены исторической памяти.

— *Сознательно ли употребляете понятие "эмигрант", а не "репатриант"?*

— Несомненно. Для того, чтобы сказать "репатриант", необходимо сделать над собой усилие. Представители первой и второй алии действительно были репатриантами. Они оставили налаженный быт в Польше и в России, приехали в Палестину; они создали свою идеологию; они знали, чего хотят, за что борются. После Второй мировой войны в Израиль стали приезжать люди, не знающие толком, куда и зачем они едут. Иначе, как эмигрантами, их не назовешь. Основные качества эмигранта — тревога, неуверенность, смятение. Он и стремится быть евреем — и избегает этого, он любит Израиль — и презирает его, он хочет помнить — и пытается забыть. Он многое потерял и бежит из своей страны — все равно куда. Куда пустят. В душе эмигранта добро и зло переплелись так тесно, что он и сам не может в себе разобраться. В этом — тяжесть положения нынешнего еврейского эмигранта. Правда, у него есть то преимущество, что он не является идеологически завербованным и потому трезво оценивает происходящее и свое место в нем, — так сказать, без идеологической цензуры. Стоит ли удивляться тому, что сложнейшая проблема, имя которой "эмигрант", до сих пор никем не изучена? Герой-эмигрант еще не вошел в литературу на иврите. Возможно, я единственный, кто этим занимается.

Разумеется, говоря о нынешнем эмигранте, мы так или иначе говорим о еврее. Но что такое современный еврей? Без веры в Бога, без страны, без языка? Сто лет назад у него была хотя бы вера, за которую он готов был умереть. И в этом был смысл его существования. Ныне же он превратился в перекати-поле.

— *Какой язык для вас родной? Что побудило вас писать именно на иврите?*

— Мой родной язык — немецкий, но дома говорили на идиш. Государственным языком был румынский. Окружающие общались по-украински. Каждым из этих языков я владел понемногу, но ни одним — в совершенстве. Приехав в Палестину, я понял, что у меня есть только один выход — овладеть ивритом, хотя бы как средством общения. Писать же на нем я стал, во-первых, оттого, что писать на другом, как следует, не умел вовсе, во-вторых, мне казалось, что круг читателей на иврите здесь будет значительно шире. Но, кроме всего сказанного, у иврита есть свои преимущества: я не мог бы себе представить, что пишу по-русски либо по-английски о еврейской душе, а на иврите это возможно. Иврит позволяет приблизиться к еврейской истории, к Ветхому Завету. Недаром письменная традиция на языке иврит никогда не прерывалась со времен Ветхого Завета и до наших дней. Тот, кто хочет пребывать в еврейской истории и впредь, должен знать иврит.

— В Ваших рассказах, насколько мне известно, герои обитают в странном мире: в нем не существует точного времени, определенного места; люди безлики, лишены памяти, и, хоть о самой Катастрофе ничего не говорится, — судьбы героев определены ею. Согласны ли вы с такой трактовкой?

— Да, по отношению к большому числу моих рассказов это справедливо. Видите ли, основной герой моих рассказов — еврей, еврей-кочевник, бродяга, Вечный Жид. Прожив, скажем, 200 лет в России, евреи, с одной стороны, существовали в ней, с другой — как бы пребывали в ином измерении. Такова еврейская судьба. Что же до Катастрофы — поскольку я рос под ее знаком, это не могло не сказаться на моем творчестве. В моих рассказах герои утратили память либо сознательно не желают вспоминать. За это им приходится платить, платить пустотой, безликостью. Такова цена утраты памяти.

— Вы полагаете, что сегодня, в Израиле, характер еврея изменился? Или он по-прежнему считает, что у него нет своей страны, то есть "земли обетованной"?

— Конечно, ничего не изменилось. Разве сорок лет могут изменить то, что существовало века? Пример — покидающая страну молодежь. Помимо прочих обстоятельств, сказывается кровь предков, швыряющая их с места на место. Понятие "государство" для евреев ново. Оно воспринимается нами как нечто навязанное, характерное для "гоев". Поэтому израильтянин все еще продолжает искать. Евреи бегут, но уже не от чего-то, а вообще. И я не хочу никакой идеализации еврея, нашедшего свою родину.

— Вернемся к литературе. В России значение писателя высоко и почетно. Что вы можете сказать о роли писателя на Западе, в Израиле, в частности? Ощущает ли израильский писатель нравственные обязательства перед читателем?

— В начале века у еврейской интеллигенции, как и у русской, было сознание того, что живет она для народа, истории, для некоей миссии. Это справедливо и в отношении еврейских писателей того времени. Большая группа писателей, начавших писать на иврите — Бреннер, Бялик и др., — обладала этим чувством. Впоследствии это ощущение претерпело различные метаморфозы. Сегодняшняя израильская литература ориентирована более всего на Запад. Западная же литература, в противоположность русской, всегда была индивидуалистской.

Многие молодые писатели и вообще интеллигенты — "левые". Однако и "левизна" эта — не русская, а европейская (борьба за гражданские права, за права женщин, арабское равноправие). Русская же интеллигенция — и, несомненно, русские писатели — всегда считали себя "помазанниками", "предназначенными"...

— Чувствуете ли вы связь с читателем?

— Увы. Когда человек пишет на иврите, он пишет для немногих. Этих людей можно пересчитать по пальцам. Как я уже говорил, литературная традиция сломана. На Востоке читают мало, поскольку значительная часть населения попросту неграмотна. Эмигранты же не знают языка. Потенциальные читатели — люди, кончившие, по крайней мере, среднюю школу либо немногочисленная читающая интеллигенция. И если моя книга выходит тиражом в три-четыре тысячи экземпляров и раскупается — это чудо. Причем

школьники и студенты-гуманитарии должны ее купить хотя бы потому, что она входит в программу и по ней нужно сдавать экзамен.

— *А если бы не экзамен — купили бы?*

— Полторы тысячи экземпляров, по-видимому, да, и это при том, что мое имя уже известно. Что уж говорить о книгах малоизвестного автора!

— *Если оставить в стороне специальные условия, в которых находится литература на иврите, стоят ли перед вами какие-либо требования? Я имею в виду требования нравственные. Как они влияют на вашу литературную судьбу?*

— Я чувствую себя одиноким, потому что не родился здесь. Язык мне пришлось завоевывать тяжелым трудом. Вдобавок, пишу я о том, что в Израиле принято скрывать. Здесь всегда внедрялась антигалутная идея, идея отрицания, замалчивания Катастрофы, отрицания "еврейской судьбы", еврейской мартирологии. Здесь желали построить нормальное, здоровое государство. И вот приходит некто и начинает рассказывать о слабых странах людях, слоняющихся без смысла и цели, о людях, которые хотят спать и не хотят строить. Сейчас, правда, положение изменилось, но... Любопытно, что моя книга, вышедшая на английском языке, в Америке вызвал резонанс.

— *Как вы это объясняете?*

— В Америке интересуются Катастрофой, и это прежде всего. Американские евреи чувствуют вину за то, что случилось с европейским еврейством. Американскую интеллигенцию интересует литературная форма и этика моих книг. О книге написано около ста пятидесяти критических статей. При этом книга нашла отклик не только среди евреев.

— *Каким вы видите будущее израильской литературы?*

— Это все равно, что спросить: каким вы видите будущее Израиля? Здесь, я верю, много нерализованной энергии. То, что сделано до сих пор — капля в море. В этой связи я очень надеюсь на новых людей в литературе, чей жизненный опыт еще не получил воплощения.

— *Есть ли у вас опыт общения с людьми из России? Каков он?*

— Встречаясь с людьми из России, я сталкиваюсь с целым рядом непонятных, парадоксальных ситуаций. С одной стороны, встречаешь атеистов самого того что ни на есть материалистического толка, с другой — фанатически религиозных. Я не понимаю движущих мотивов этих людей. Я читал книгу проф. Брановера. Сперва она меня захватила, однако потом показалась надуманной. В прошлом космомолец, ныне хабадник... Как еврея, меня это радует, но объяснения этой метаморфозе я в книге не нахожу. Остается голая схема, и я ее не понимаю. Книга написана с позиций человека, который уверовал, а теперь пытается подчинить свою жизнь принятой им догме. Это кажется мне поверхностным.

— *Но можно ли вообще верить в то, что человек, в прошлом правый коммунист, может — пусть с трудом — изменить свои убеждения, точнее — веру?*

— Я отвечу небольшой историей: у меня есть один знакомый из России. Еще там он учил иврит, читал Библию, изучал еврейскую историю. Будучи неделю в Израиле, он свободно говорил на блестящем иврите. Жил он тогда в Тель-Авиве. После экскурсии в Негев мой знакомый вознегодовал: "По-

чему все евреи живут в Тель-Авиве, и никто не желает осваивать пустыню? Нужно в приказном порядке выслать их в Негев, чтобы они заселяли новые земли". Сам же он при этом покидать Тель-Авив не собирался. Классическая форма коммунистического двоемыслия — ни изучение Библии, ни знание истории изменить его не могут. Можно привести еще множество примеров, но это было бы незачем по отношению к конкретным людям.

— *Года два назад в нашем журнале были опубликованы в русском переводе два Ваших рассказа: "Хождение в Качинск" и "Птицы". Сегодня переведены еще два — "Перемены" и "Ханука 1946-го". Может быть, есть рассказ, который вы сами хотели бы предложить русскому читателю?*

— Трудно что-либо рекомендовать, но мне было бы приятно, если бы русский читатель смог прочитать рассказ "Берта"*.

Интервью вел Александр Верник

* Рассказ "Берта" будет опубликован в одном из ближайших номеров нашего журнала.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

**ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ
ГИЛЕЛЬ ГАЛКИН. ПИСЬМА АМЕРИКАНСКОМУ ДРУГУ**

Когда эта книга была опубликована несколько лет назад на английском языке, целые группы американских евреев специально приезжали к автору, чтобы оспорить его или выразить благодарность. Журнал "Мидстрим" назвал "Письма" важнейшей еврейской книгой последнего десятилетия". Израильские газеты посвятили ей огромные полосы. Этот страстный, откровенный, полемичный разговор-раздумье о самых острых проблемах Израиля и диаспоры никого не оставляет равнодушным и каждому дает пищу для размышлений.

Цена книги — по заказу — 4,5 доллара (за рубежом — 9 долларов). Чеки и заказы принимаются по адресу: "Foundation Moscow—Jerusalem", P.O.B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

— Он не выживет? — спросила сестра. Она склонилась над умирающим, ее грудь коснулась спины врача, но тот не отстранился.

— Нет, — ответил он.

— Умрет?

— Наверняка.

— Еще сегодня?

— Скоро. Через час, может, раньше.

— Зачем он это сделал? Как вы думаете?

— Я ничего не думаю, — сказал врач. Он выпрямился. Он был высок и худ, белая повязка делала резкое лицо еще более усталым. — Этого никогда не знаешь.

— Может, он чего-то боялся? Может, ему кто-то угрожал? — спросила сестра, складывая инструменты в никелированную коробочку.

Она напряженно смотрела на врача; глаза у нее были голубые и ясные, очень большие. "Кукла, — подумал он с неприязнью. — Фарфоровая кукла...".

— Ты хотела бы одним словом объяснить чью-то жизнь, — сказал он гневно, поворачиваясь к ней спиной. — Это невозможно.

Он подошел к окну и отодвинул занавеску, жадно прислонил лоб к стеклу и глубоко втянул воздух. Ночь была ясной и морозной; в самом центре стеклянного неба непо-

Марек Хласко

движно застыл поразительно тонкий лунный серп; в его сиянии заснеженные деревья во дворе больницы выглядели театрально и крикливо. Ветер тянул поверху звездными путями, темная земля скована была холодом и льдом. "Если не потеплеет, — подумал он с яростью, — мы тут все замерзнем к чертовой матери". Он повернулся и сказал сестре:

— Посмотри, не осталось ли кофе.

Она послушно подошла к столу и стала двигать ящиками. Он посмотрел на ее сильные руки, круглые бедра, широко расставленные, мускулистые ноги и снова повторил про себя: "Кукла".

— Есть, — сказала она.

— Завари.

— Одну или две?

— Одну.

Она вздохнула.

— Доктор...

— Ну?

— Почему вы такой?

— Какой "такой"?

— Злой, — сказала она. — Странный.

— Почему ты не чистишь ботинки? Знаешь, советские ученые уже изобрели ваксу для ботинок? Кроме того: не крась ногти этим отвратительным лаком, потому что меня от него тошнит. Кроме того: перестань стричься под Симону Синьоре, потому что ты похожа на нее не больше, чем я на маршала Пилсудского. А теперь иди за кипятивником.

Она вышла. Он посмотрел на часы, висевшие над дверью: второй час ночи. Машинально подошел к умирающему и пощупал пульс. Рука лежавшего на кушетке человека была холодной и липкой от пота. "Никогда не привыкну, — подумал он со злостью. — Никогда не привыкну к этим потным телам и стеклянным глазам". Он еще сильнее сжал пальцы на вздутых, фиолетовых жилах; неровный пульс слабел с каждой минутой. "Привет", — подумал он. И тут увидел, что умирающий смотрит на него широко открытыми глазами: их зрачки были лихорадочно расширены, в углах губ запеклась слюна. Он нагнулся к нему.

— Ты хочешь что-то сказать?

— Я выживу?

— Конечно.

Умирающий отвел глаза.

— Ты лжешь, — шепнул он.

— По долгу службы. Ты сам этого хотел. Смерть от газа — неприятная история. У тебя было время подумать.

— Я хочу сказать... знаешь... — все, чем нас пугают на земле, это сплошной шантаж, это блеф. Никаких страданий, никаких угрызений совести, никаких расчетов с жизнью. Только шум в ушах — и все...

Зрачки умирающего белели. На его прозрачных висках собирались капли пота. Дыхание тяжелело, руки, сложенные на груди, слегка дрожали, как животик лягушки, вытащенной из ручья.

— Кто меня привез сюда?

— Люди.

— Вечно они являются не вовремя. Все бы уже кончилось...

Минутой позже врач накрыл его лицо простыней и поднялся. Он закурил и глубоко затянулся; табак был крепкий и горький. "Холодно, — опять подумал он. — Если не потеплеет, ей-Богу, замерзнем все к чертовой матери". Он потер озябшие руки и сел у стола.

Вошла сестра, держа в руках чашку.

— Кофе, — сказала она. — Выпейте, пока не остыл.

— Долше ты не могла возиться? — спросил доктор. — Наш пациент уже успел отправиться в рай. Звони в морг, пусть его заберут. И не разливай кофе. Где сахар?

— В ящике, — ответила она, ставя перед ним чашку. Потом подошла к телефону и стала набирать номер: несмотря на старания, руки ее слегка дрожали. — Покойницкая? — спросила она деревянным голосом. — Поднимитесь с каталкой.

Она положила трубку и тяжело оперлась на стол. Молча посмотрела на врача. Он размешивал ложечкой сахар.

— У вас нет сердца!

— Если тебя это интересует, можем завтра проверить на рентгене.

— Почему вы так говорите?

Он поднял тяжелые веки:

— Тебя не учили в школе, что не следует задавать глупые вопросы и опираться локтями на стол?

Вошли два санитар с каталкой; один был высокий, другой пониже, со смешной круглой головой. Они подошли к умершему.

— Небольшой мужик, — отметил высокий.

— Но симпатичный, верно? Похож на того вратаря из Скерне-

виц, — отозвался тот, что пониже, и подмигнул сестре.

Она отвернулась.

— Твоего роста, — сказал высокий. — Интересно, ботинки у него тоже сорок второго размера? Эй, осторожней заноси!

— Как думаешь, какую упаковку ему купят — под бронзу или простую?

— Ставлю на бронзу.

— Порядок. Всего хорошего, пан доктор. Всего хорошего, сестричка. Да ты не думай о нем. Подумай лучше обо мне.

— Всего хорошего, — ответил врач. Дверь за ними закрылась.

— Я этого не выдержу, — сказала сестра и вдруг встала. — В школе я думала, что люди все-таки хоть немного жалеют друг друга. Доктор?

— Ну?

— Неужели не существует на свете жалость?

— С моей точки зрения существуют те, которых можно спасти, и те, которых нельзя.

— Я этого не выдержу. Человек умирает, а вы пьете кофе. Человек умирает, а эти двое спорят о том, какой гроб ему купят родственники. Я этого не выдержу.

— Выдержишь, — сказал он. — Ты даже не представляешь себе, сколько человек может выдержать... — Он встал, потянулся, зевнул и начал мерно ходить по комнате. — Заполни на него карточку, — сказал он. — И забудь об этом. Возьми валерьянку или бром. Возьми, что хочешь.

— Хорошо, — тихо отозвалась она. Вид у нее был несчастный: губы скривились, как у ребенка, готового неудержимо зарыдать, под глазами — темные круги. В плечах, руках, в склонившемся над столом теле ощущалась смертельная усталость. Она вдруг подняла голову:

— Доктор? Когда человек перестает удивляться?

— Никогда.

— К чему же тогда все это?

— Ни к чему.

Раздался звонок: на светящемся табло появилась цифра. Сестра потрянула головой, словно ее внезапно разбудили, и тяжело поднялась.

— Из третьей, — сказала она. — Я посмотрю.

— Ничего, подождет.

Она вышла, мерно покачивая своим тяжелым, крепким телом.

Он посмотрел ей вслед и подумал: "Ничего у тебя не выйдет, кукла. Не выйдет, хоть бы ты ступала по звездам. Верно, у тебя низкий лоб, короткий, вздернутый носик, тяжелые веки, и большой рот, и плоский живот, который позволяет тебе так широко ставить ноги, и ты многое обещаешь, когда смотришь этими своими глупыми глазами, и ты пахнешь так приятно, как только что выпеченные булочки, и даже здесь, в этой свинской комнате, я ощущаю этот твой запах. Но в таких делах этого недостаточно. О таких, как ты, мечтают гимназисты, и я тоже мечтал, но лишь до тех пор, пока не познакомился с такой, как ты, с такими же точно глазами, с таким же запахом. Бедные, тяжелые коровы. Мало того, что вы лежите как колоды, вы еще потом мучаетесь при родах — совсем не так, как худенькие, маленькие женщины, за которых никто и гроша бы не дал и которые любят и рожают легко, как птицы".

Он подошел к окну и снова прижал лоб к стеклу. За окном сгущалась тяжелая от темноты ночь. Луна опустилась и ползла над самыми крышами; над башней костела дрожала в морозной дымке Большая Медведица.

Он повернулся и посмотрел на кушетку, на которой только что умер человек. Она уже была застлана новой простыней, гладкой и холодной. "Немного же после тебя осталось, — подумал он и усмехнулся. — Видишь, как немного, засранный мой Вертер? Сделал бы ты это, если б знал заранее, как оно будет выглядеть? Ты создал своей любовнице великолепную рекламу, теперь она каждый вечер будет рассказывать о тебе своим новым знакомым. Еще бы, не ради всякой женщины люди кончают с собой. Она будет рассказывать о тебе даже в минуты оргазма, мой засранный, провинциальный Вертер, а я, хоть и дружил с тобой все эти пять лет, не могу сейчас думать ни о чем другом, кроме того, что мне безумно хочется спать, и плевать мне на ту пригоршню сплетен, презрения, жалости и воспоминаний, что осталась после тебя. Единственное, что я могу тебе обещать, — что, когда буду делать этой твоей Лотте аборт, постараюсь сделать его так, чтобы она подольше покричала. Да, пригоршня сплетен и немного воспоминаний, в каждом из которых ты будешь выглядеть иначе, чем на самом деле. Об этом ты думал, мой Вертер?"

В комнату вошла сестра.

— Тот седой старичок, что лежит у окна, жалуется, что не может помочиться. Что ему посоветовать?

— Спроси его, сколько ему лет. Потом вернись и скажи мне.

Она вышла. Он снова принялся расхаживать по комнате, упрямо меряя ее деревянными шагами по диагонали: "Вот так, бедный мой Вертер. Интересно все-таки, чем она тебя проняла? Ревностью? Ложью? Мучила тебя чем-то, чего я не знаю, не могу догадаться? Все равно, теперь я уж ничем не могу помочь, милый ты мой. Ты ушел, и я уйду. Я говорю с тобой, как труп с трупом. Но как она этого добилась, интересно? Какие страсти она в тебе пробудила? О, страсти! — какое пышное слово! Что есть страсть? Пять лет назад, когда я приехал сюда, я был другим. Иначе чувствовал, думал, говорил. Я не предполагал, что жизнь порой награждает нас только гневом и отчаянием. Я ходил по этим грязным улочкам и думал о том, как этот город будет выглядеть через двадцать лет. Я возводил дома, прокладывал новые улицы, строил стадионы, парки, школы, музеи и коттеджи. Я сносил костелы, уничтожал забегаловки, создавал лагеря труда для алкоголиков, собирал звезды и освещал ими тьму, в которой жили здесь люди. Я был всемогущ и вездесущ. Как ты думаешь, какое отношение это имело к действительности?"

— Доктор, — сказала сестра, открывая дверь. — Он говорит, что ему шестьдесят два года.

— Кто? — спросил он, не понимая, вырванный из задумчивости.

— Тот старичок, что жаловался, что не может помочиться.

— Ну, и что?

— Он говорит, что ему шестьдесят два года.

— Скажи ему, что он уже достаточно помочился за свою жизнь. Пусть не морочит голову.

Она снова вышла. Пахло дезинфекцией, раздражали тишина и яркий свет. Монотонно тикали часы. "Видишь? — подумал он. — Вот он, конец прекрасной сказки. Знаешь, как сегодня выглядел бы мой дневник? Госпожа Икс — аборт. Госпожа Игрек — аборт. Пятая годовщина моего приезда. Я похудел, постарел и опустился. Госпожа Зет — аборт. Жена коллеги Р. — аборт. Сегодня на обед были котлеты. Здышек скончался, кровоизлияние в мозг. Жалко беднягу, порядочный был человек. В больнице перебои с отоплением, я простужен, поссорился с Антоном. В больнице интриги и свинство, в городе интриги и свинство, во всем мире интриги и свинство, в "Астории" на площади интриги и свинство, во время матча "Молнии" из Бобежиц с "Энтузиастом" из Кутно интриги и свинство. Жена Вацлава — аборт. Госпожа Зет симулирует бере-

менность. Сегодня на обед был отличный бигус. Меня вычистили из партии. Испортился радиоприемник. В больнице недостает инструментов. Четвертый день подряд дождь. Сыночек хозяев несносен, не ребенок, а мерзавец. Евреи воюют с арабами, видно, хороши и те, и другие. У Владека воняет изо рта, жуткая мерзость. Апфельбаум меняет фамилию на "Святослав Каминский". Вчера слегка перепил. Сегодня в профсоюзном клубе лекция на тему: "Когда человек покорит космос?" Выпал первый снег. Солнце. Тридцать градусов жары, с ума сойти можно, на реке первый лед, жена Вацлава — аборт, эй, Вацлав, котлеты с подливой, котлеты без подливы, поляки — народ трагический, поляки — народ великий, евреи опять воюют с арабами, жена Вацлава, опять жена Вацлава, еще раз жена Вацлава, у Вацлава уже нет жены. Сколько можно? "Аркадию" переименовали в "Полонию". В этом году будет тяжелая зима..."

— Доктор, — сказала сестра. — Вы собираетесь его оперировать?

— Подождем еще немного. На всякий случай приготовь инструменты. И не молись за него — это может ему повредить.

Она начала готовить инструменты.

"Вот так, — думал он. — А что теперь? Как ты там? Снова чувствуешь себя обманутым? Как я? Как все мы? Тебе наконец спокойно, или ты опять чувствуешь себя обманутым жизнью? Может, закрывая глаза, ты уже знал, почему все так получилось? Может, была минута, когда ты все понял? Понял, почему я скурвился? Почему превратился в ничтожество? Почему отстранился от всех и все отстранились от меня? Почему живу без веры и без любви? Ты, глупая, подлая сволочь! Если б ты знал, как я тебе завидую! Как бы я хотел сейчас поменяться с тобой местами! Как бы я хотел, чтобы это ты завтра проснулся утром, полистал газету, пошел на службу, выслушивал людские жалобы, не чувствовал ни желаний, ни страстей и хотел бы только, чтобы день кончился и можно было заснуть, не чувствовать, не думать, не вспоминать о том, что было, не мучиться, не думать о совести, о том, чего мечтал достичь, и о том, что ничего не достиг и никогда уже не достигнешь, потому что выжат, и насмерть измучен, и тебе конец, и никому ты уже ничего не сможешь дать, потому что самому не хватило веры и сил. Подумай, от чего избавила тебя твоя страстная, недобрая любовь, глупый мой, засранный Вертер! Неужели ты не понимаешь? Неужели ты думаешь, что я кому-

нибудь расскажу, что ты покончил с собой из-за любви? Нет, я слишком любил тебя для этого. Это ведь такой маленький, маленький городок. Неужели, ты хочешь, чтобы они тотчас начали рыться в твоём грязном белье? Сплетничать? Издеваться? Догадываться? Зачем тебе это, мой дорогой? Тебе ведь уже все равно...”

Он вдруг задрожал всем телом. Его охватил страх — холодный и давящий, как стальной обруч. Он огляделся: белый потолок, белый шкафчик с инструментами, окна, в которые бился ветер, белая, гладко застланная кушетка — и вдруг почувствовал, что с ним сейчас произойдет что-то ужасное. Сердце сжалось и продолжало сжиматься, становясь все меньше и меньше. Он с трудом подошел к кушетке и опустился на нее, закрыв глаза.

— Я готова, доктор, — сказала сестра.

Он открыл глаза. Она стояла и смотрела на него.

— Иди сюда, — сказал он.

— Что?

— Иди сюда, — повторил он.

Она внимательно посмотрела на него и села рядом; он дрожал, как человек в сильном возбуждении, и это обрадовало ее.

— Я не думал, что ты такая, — сказал он, когда все кончилось.

— Тебе хорошо?

— Да. Очень хорошо.

— Жаль, что это на той самой кушетке.

— Я даже не подумал об этом. Мне было хорошо, и все.

— Я все никак не могу понять, почему он это сделал.

— Хочешь, я тебе расскажу? Только не говори никому.

— Я не скажу никому.

— Он был бухгалтером в какой-то фирме. И проворовался. Он взял деньги из кассы, поехал куда-то и все пропил с девками. Потом дело открылось. Он сделал это со страху.

Она вздохнула.

— Люди так глупо поступают, — сказала она. — убивают себя черт знает почему. Тому не хватило денег, того уволили с работы, того еще откуда-то, а вчера один старик потерял месячный проездной билет и так расстроился, что с горя напился и перерезал себе горло бритвой. К черту все!

— Одевайся, будем вскрывать мочевого пузыря.

— Одно и то же, одно и то же, — сказала она, застегивая пуговички. На ее кукольном лице появилось злое выражение. — У того пузырь болит, тот сломал ногу, а уж если кто повесится,

то потому, что потерял какую-нибудь справку. Когда я кончала школу, я не думала, что так будет. Доктор?

Он сидел, уставясь в пол. Потом поднял голову и посмотрел на нее рассеянным взглядом.

— Ну?

— Хотела бы я, — сказала она, — чтобы хоть раз привезли такого, который сделал это из-за любви. А вы?

— Очень, — сказал он и поднялся. Усталость снова охватила его, и он закрыл глаза. — Поторопись. И брось об этом думать. Попробуем лучше спасти хотя бы одного из нас.

Перевел Р. Н.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

новая книга

Александр Воронель. "Трепет иудейских забот"

(издание второе, переработанное и дополненное)

Почти музыкальный строй этой книги воспоминаний и размышлений лучше многих рациональных доводов автора доказывает, что наша судьба есть цельность, развертывающаяся во времени и пространстве, и нам надлежит прислушиваться к музыке своей жизни, чтобы не сфальшивить ненароком. Судьба еврейского интеллигента определяется двумя темами: Россия и еврейство, и разговор о их взаимосвязи и противостоянии составляет содержание и главный интерес этого оригинального произведения.

Широко расхваливавшаяся в Еврейском Самиздате, частично опубликованная в самиздатском журнале "Евреи в СССР", в неполном виде изданная несколько лет назад, ставшая библиографической редкостью, эта книга теперь впервые приходит к читателю в своем полном и завершенном виде.

Цена книги — по заказу — 4 доллара (за рубежом 8 долларов). Чеки и заказы принимаются по адресу: "Foundation Moscow—Jerusalem P. O. B. 7045, Ramat—Gan, Israel.

... И если ты
перестанешь ему
сниться...

Л. Кэррол

Х.— Л. Борхесс (р. 1899, Буэнос-Айрес) — крупнейший латиноамериканский писатель XX века, прославившийся короткими рассказами, притчами, эссе. А. Моруа так характеризовал его :

“Борхесс — великий писатель, который пишет только крохотные эссе или короткие рассказы. Но и этих небольших произведений достаточно, чтобы назвать его великим, настолько они необычны своим поразительным интеллектуализмом, неиссякаемой изобретательностью и предельно лаконичным, почти математическим стилем. Аргентинец по рождению и темпераменту, воспитанный на современной литературе, Борхесс не имеет определенного духовного отечества. Свои воображаемые, символические миры он создает вне времени и пространства. Несомненно, это признак значительности писателя, если, пытаясь определить его место, мы вспоминаем лишь самые необычные и совершенные творения — Кафку, Эдгара По, временами Генри Джеймса или Уэллса, почти всегда Валери...”

Хорхе Луис Борхесс

КОЛЬЦЕВЫЕ РУИНЫ

Никто не видел, как он причаливал к берегу среди соприродной с ним ночи, никто не видел, как бамбуковый челн углубился в священный ил; но через несколько дней все знали, что молчаливый человек прибыл с Юга и родом из тех бесчисленных деревень, что лежат в верховьях реки, на вздыбленных склонах гор, где язык Зенд почти не испорчен греческим и где проказа встречается редко. Было так: серый человек поцеловал священный ил, поднялся на берег, не раздвигая (быть может — не ощущая) режущих стеблей, калечивших его плоть, и, окровавленный и изможденный, пошел в сторону тянувшейся кольцом ограды, над входом в которую высился каменный тигр или конь, когда-то имевший цвет огня, а теперь — цвет пепла. Эта ограда окружала древний храм, который уничтожили давние пожары, который осквернили одичавшие топи и богу которого люди больше не приносили жертв. Пришелец лег у входа.

Его разбудило высокое солнце. Он увидел, не удивившись,

что раны его затянулись. Он закрыл выцветшие глаза и заснул снова, подчиняясь не слабости плоти, а велению воли. Он знал, что этот храм — то место, которое необходимо для свершения его неколебимого замысла; он знал, что в низовьях реки неумолимые стволы еще не поглотили руины другого храма, тоже благоприютствующего ему и тоже принадлежавшего погибшим в пожаре, мертвым богам; он знал, что его первым долгом является сейчас сон. Около полуночи его разбудил безутешный крик какой-то птицы. Следы босых ног, несколько фиг и кувшин поведали ему, что жившие поблизости люди благоговейно стерегли его сон, то ли желая снискать его покровительство, то ли страшась его магических заклятий. Он ощутил знобящий страх, отыскал в полуразвалившихся стенах погребальную нишу, укрылся незнакомыми листьями.

Замысел, им руководивший, хоть и сверхъестественный, не был невозможным. Он хотел приснить человека: он хотел приснить его в мельчайших деталях и отразить на реальный мир. Этот магический замысел поглотил все силы его души. Спроси его кто-нибудь сейчас о его имени или прошлой жизни, он не сумел бы ответить. Этот безлюдный и разрушенный храм его устраивал — нищенством зримого окружения и близостью крестьян, взявших на себя заботу о его скудных потребностях. Рис и овощи их подношений составляли достаточную пищу для его тела, единственной целью которого было — спать и снить.

Сначала его сны были хаотичны; вскоре затем они обрели диалектический характер. Пришелец снил себя в центре некоего кругового амфитеатра, который каким-то образом одновременно был и сожженным храмом; тени молчаливых учеников нудили ряды ступеней; лица самых отдаленных висели в столетиях от него и вровень со звездами, тем не менее черты их были отчетливы и зримы. Человек излагал им анатомию, космографию, магию: лица вслушивались встревоженно и разумно, стараясь дать как можно более осмысленные ответы, словно догадывались о значении этого испытания, которое для одного из них должно было стать искуплением из призрачного бытия и воплощением в реальность. В часы сна и бодрствования человек взвешивал ответы своих привидений, не позволял отвлечь себя самозванцам, предвкушал растущую разумность в некоторых смятенных вопросах. Он искал душу, достойную соучаствовать в мироздании.

Спустя девять или десять ночей, он не без горечи осознал,

что ему нечего ожидать от тех учеников, которые равнодушно внимали его урокам, но он может еще надеяться на тех, кто время от времени отваживался на рассудительное возражение. Первые, хотя и заслуживали любви и сострадания, никогда не могли бы возвыситься до состояния реальности; вторые, на свой призрачный лад, уже почти предсуществовали. Однажды после полудня (теперь и послеполуденное время было данью сну, теперь он бодрствовал лишь час-другой на рассвете) он распустил свою призрачную многолюдную аудиторию навсегда и остался с одним — единственным учеником. Это был болезненного вида молчаливый — хотя временами строптивый — юноша с резкими чертами лица, повторявшими черты того, кто его снил. Внезапное исчезновение соучеников встревожило его не надолго; его успехи, после нескольких индивидуальных занятий, поразили учителя. Произошла, однако, катастрофа. В один из дней человек вынырнул из сна, как из липкой пустыни, увидел тщетный свет заката, который принял за рассвет, и понял, что уже не спит. Всю ночь и весь последующий день отвратительная трезвость бессонницы угнетала его. Чтобы утомить тело, он решил углубиться в окрестные джунгли, но и там, в зарослях цикуты, ему удалось уснуть лишь на несколько мимолетных мгновений, беспорядочно пронизанных нитями обрывочных и бесполезных видений. Он попытался снова собрать свою школу; но стоило ему произнести первые короткие слова заклания, как его ученики стали расплываться и исчезать. В почти беспрестанном бодрствовании яростные слезы обжигали его старческие глаза.

Он понял, что хотя ему доступны все тайны высшего и низшего порядка, попытка лепить бессвязную и головокружительную материю снов — самая трудная из всех, на которые может посягнуть человек, куда труднее, чем свить канат из песка или вылепить облик безликого ветра. Он понял, что его первая неудача была неизбежной. Он поклялся забыть о призрачной толпе, которая поначалу увлекла его на ложный путь, и стал искать иную дорогу к цели. Прежде чем испытать ее, он посвятил месяц восстановлению сил, затраченных на прежнее безумие. Он отказался от попыток снить, и ему почти тотчас удалось проспять значительную часть дня. В тех немногих случаях, когда он видел сны в эти дни, он не придавал им тайного значения. Прежде чем вернуться к своему замыслу, он выждал, пока луна обратится в совершенный круг. Тогда, на закате, он очистился в водах реки, вознес молит-

ву богам всех планет, произнес дозволенные звуки всемогущего имени и заснул. Почти тотчас ему приснилось бьющееся сердце.

Оно приснилось ему пульсирующее, горячее, загадочное. Оно было величиной со сжатый кулак, цвета граната в полутьме человеческого тела, еще не имевшего ни лица, ни пола. С любовной тщательностью, в ясном уме, он снил его четырнадцать ночей подряд. Каждую ночь он воспринимал его все более четко. Он не прикасался к нему, ограничивая себя сознанием его присутствия, созерцанием его, лишь изредка поправляя его своим взглядом. Он ощущал его, он вживался в него с различных расстояний и под разными углами. На четырнадцатую ночь он коснулся пальцем легочной артерии, а затем погладил все сердце, изнутри и снаружи. Осмотр удовлетворил его. На следующую ночь он сознательно не снил ничего; потом снова приснил сердце, произнес название одной из планет и перешел к другому из главных органов. Еще до истечения года он дошел до век, до скелета. Бессчетные волосы оказались едва ли не самой трудной задачей. Он приснил человека целиком, юношу, но этот юноша не мог ни подняться, ни заговорить, не мог открыть глаза. Ночь за ночью человек снил его погруженным в сон.

В гностических космогониях демиурги создают багрового Адама, который не может встать на ноги; таким же нескладным, и грубым, и примитивным, как тот Адам из глины, был Адам из снов, созданный в ночах мага. Наступил вечер, когда человек готов был уничтожить свое творение (для него было бы лучше, если бы он так и поступил), но в конце концов воздержался от этого из жалости к нему. Исчерпав все молитвы богам земли и реки, он бросился к ногам каменной статуи, что была не то тигром, не то конем, и воззвал к его неведомой помощи. В ту же ночь ему было видение. Оно было живым и трепещущим; то не было сверхъестественное скрещение тигра с конем, но как бы одновременно оба эти порывистые существа сразу, и еще бык, и роза, и буря. Множественное это божество открыло ему, что на земле оно звалось Огнем, что в круглом храме (как и в других подобных) ему некогда поклонялись и возносили жертвы и что оно своей магической силой оживит созданный снами призрак так, что все — кроме самого Огня и приснившего призрак человека — примут его за существо из плоти и крови. Он повелел, чтобы, обучив его ритуалу, человек отослал ученика в другой разрушенный храм, пирамиды которого еще сохранились в низовьях реки, дабы и в

этих заброшенных руинах хоть один человеческий голос восславил бога Огня.

Во сне сшившего присненный проснулся.

Маг исполнил веления. Некоторое время (в конце концов, растянувшееся на два года) он посвятил разъяснениям ученику загадок мироздания и ритуала поклонения Огню. В глубине души он испытывал боль от предстоящей разлуки. Под предлогом необходимости обучить его более полно, он каждый день продлевал часы, отведенные сну. Заодно он вылепил заново не вполне удавшееся поначалу правое плечо. Время от времени его тревожило смутное ощущение, что повторяется то, что когда-то уже происходило. В остальные часы он испытывал счастье. Закрывая глаза, он думал: "Сейчас я встречу с моим сыном". Или, реже: "Сын, которого я зачал, ждет меня и не сможет быть, если я не приду".

Медленно и осторожно он вживал его в реальный мир. Однажды он приказал ему укрепить знамя на отдаленной вершине. На следующий день там, на указанной вершине, сверкал яростный стяг. Он давал ему другие, сходные задания, с каждым разом все более дерзкие. Не без горечи понял он, наконец, что сын его готов — и, быть может, даже торопится — родиться. В эту ночь он впервые поцеловал его и отправил в низовья реки, в другой храм, белые руины которого еще виднелись в нескончаемом океане джунглей и болот. А перед разлукой (чтобы он никогда не узнал, что был призраком, чтобы считал себя таким же человеком, как другие) намертво стер из его памяти долгие годы ученья.

Торжество и покой его души были слегка омрачены усталостью. В сумерки зари и заката он падал навзничь перед каменной статуей, быть может, воображая, что в эту минуту его призрачный сын свершает тот же ритуал в других кольцевых руинах, в низовьях реки. По ночам он больше не снил или видел сны, подобные снам всех других людей. Звуки и формы окружающего мира он воспринимал теперь как в тумане: ушедший сын жил за счет его истончавшейся связи с реальностью. Цель его жизни была достигнута; этот человек жил теперь в состоянии некоего экстаза.

Спустя долгое время, которое одни рассказчики этой истории исчисляют годами, а другие — пятилетиями, его разбудили в полночь два гребца; он не мог разглядеть их лиц: но они рассказали ему о странном человеке из храма, расположенного выше к северу, который проходил сквозь огонь, не обжигаясь. Вне

запно маг вспомнил слова бога. Он вспомнил, что из всех существ, населяющих землю, только Огонь знает, что его сын соткан из снов. Это воспоминание, поначалу утешительное, постепенно превратилось в муку. Он страшился, что сын начнет размышлять о своей странной способности и каким-то образом поймет, что его существование есть всего лишь мнимость. Быть не человеком, но лишь отражением сна другого человека — какое ни с чем не сравнимое унижение, какая головокружительная бездна! Всякого отца тревожит судьба ребенка, которого он зачал (которому позволил быть) в минуту растерянности или блаженства; было только естественно, что мага тревожила судьба его сына, высненного деталь за деталью, черта за чертой, в глубинах тысячи и одной таинственной ночи.

Его тревоги завершились неожиданно, хотя тому предшествовало несколько явных знамений. Сначала (после долгой засухи) — туча над дальним склоном, невесомая, как птица; потом, на юге, — небо, ставшее розоватым, как десны леопарда; потом — дымные столбы, проржавившие металл ночи; наконец — паническое бегство лесных зверей. Ибо повторялось то, что когда-то уже происходило. Огонь снова пожирал храм, где некогда царил Огонь. На беззвучном рассвете маг увидел, что кольцо пожара окружает кольцевые руины. На мгновение он подумал, что может спастись в реке, но тут же понял, что это приближается смерть, чтобы увенчать его старость и освободить его от трудов. Он вошел меж прыгающих полотнищ огня. Но они не обуглили его плоть, а, лаская, окружили ее, не грея и не обжигая. Тогда — с облегчением, с унижением, с ужасом — он понял, что и сам был привидением, которое снил кто-то иной.

Перевел Р. Н.

ИЗДАТЕЛЬСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

Ю. МИЛОСЛАВСКИЙ. УКРЕПЛЕННЫЕ ГОРОДА.

225 стр.

Опубликование этой горькой повести об эмиграции вызвало бурю возмущения в эмигрантской печати. Это возмущение не помешало многим признать безусловный талант и искренность автора.

Цена книги в Израиле 5 долларов, за рубежом — 10 долларов.

Заказы направлять по адресу "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль

Среди многочисленных белых пятен современной науки о литературе есть одно, которое и больше, и белее других. Его даже затруднительно назвать пятном, потому что оно ничем не обведено. Эта несуществующая область — поэтика заглавий. Вынесенные на титульный лист, они как бы отделены от самих книг и, судя по всему, относятся к книге не более чем инвентарный номер к функции вещи, на которую он прибит (№ 0137/13 — "реактор ядерный", № 0137/14 — "бак мусорный"). Мимоходом этой проблемы коснулась Ольга Фрейденберг ("Известно, как условны и нелепы заглавия, эти устаревшие атрибуты книг...") и, глубоко неудовлетворенная, отошла, оставив будущим исследователям два ценнейших наблюдения: "условны" и "нелепы". "Нелепы", потому что условны, "условны", потому что не обусловлены содержанием книги. Но если заглавия не обусловлены содержанием, то чем-то они должны быть обусловлены! Выставим в ряд: "Повесть о Фроле Скобееве", "Записки о Галльской войне", "Блеск и нищета куртизанок", "Белая береза", "Слово о полку Игореве", "Война и мир", "Красное и черное", "Песнь о моем Сиде", "По ком звонит колокол", "Уже написан Вертер..." и так далее — принимаем любое. Потому любое, что, по крайней мере, одна безусловная закономерность нами уже открыта: чем дальше от нас во времени отстоит заглавие, тем оно простодушнее — "Повесть о Фроле Скобееве" повествует о Фроле Скобееве, "Песнь о моем Сиде" воспевает "моего Сиде", "Записки о Галльской войне" содержат записки

*Майя Каганская
Зеев Бар-Селла*

МАСТЕР ГАМБС И МАРГАРИТА

(Глава из книги "Роман трех романов")

о Галльской войне, "Слово о полку Игореве" сказано о полку Игореве и т. д. — вплоть до самого нового времени. В новом-то времени и начинается неразбериха: "Война и мир" — что это за война, с кем война? "Красное и черное" — это что: Революция и Реакция или просто "руж э нуар" (то есть рулетка)? Нам могут возразить, что и в новом времени есть место древней честности — например, "Анна Каренина", то есть роман об Анне Карениной. Но это не древняя честность, а новое надувательство: роман Анны Карениной занимает третью часть романа "Анна Каренина", мало того — восьмая и заключительная часть романа вообще обходится без Анны, погибшей в части седьмой. В этом отношении "Анна Каренина" сопоставима с другим русским шедевром — романом в стихах "Евгений Онегин", где 800 (восемьсот!) "лирических отступлений" от главной темы просто перечеркивают заглавие. В чем же дело? В чем причина древнего благочестия и нынешней порчи нравов?

А дело в том, что древние в заглавие выносили прежде всего жанр: повесть, песнь, сказание, слово, комедия, ода. Жанр же в свою очередь задавал не только способ описания, но и фабулу, и сюжет. Заглавие — вот что регламентировало и поведение героя, и позицию автора, и реакцию читателя: комедия — для смеха, трагедия — для слез, ода — для восхищения, песнь — для полноты чувств.

Новое время разделило жанр и заглавие — новое время создало подзаголовки: "Анна Каренина" (роман), "Мертвые души" (поэма), "Сага о Форсайтах" (роман), вместо "Повести о Тарасе Бульбе" — "Тарас Бульба" (повесть).

Но если оценка мира — жанр — перенесена в подзаголовок, что же осталось в заголовке? В заголовке остался мир, разные заголовки — разные миры. Реальность нового времени, в отличие от реальности древних, перестала быть единой для всех. Древний читатель обладал столькими способами переживания единой реальности, сколько было жанров; новый — столькими реальностями, сколько есть авторов. Заголовком автор дает понять, в каком мире предстоит жить читателю. Заголовок — указание на замысел книги и чертеж мира. Заголовок есть первая рецензия, написанная самим автором: так, две трети романа "Анна Каренина" приведены в движение символом Анны Карениной; Жюльен Сорель играет в рулетку собственной судьбы, но сама его судьба заверчена столкновением двух сил — Революции и Реставрации. А это значит, что над общим подзаголовком "Роман" (жизнеописание героя) — располагаются совершенно различные миры. Поэтому "Анна Каренина", но не "Жюльен Сорель".

Пробежав мимо "Идиота" — романа о человеке редкого ума, "Преступления и наказания" — о ненаказуемом преступлении, путеводного романа "Некуда", "Блеска и нищеты куртизанок" — о мужской дружбе, уже привыкнув и смирившись с их коварством, скорее любовным, чем злокозненным, мы влетаем в Новейшее время и в недоумении замираем "Над пропастью во ржи", бессильно пытаемся что-то различить "За рекой, в тени деревьев", догадаться "По ком звонит колокол" или уразуметь, что из того, что "Уже написан Вертер", если речь идет об Одесской Чека? По сравнению с этими словесными выкрутасами названия XIX века поражают своей прямо-таки эпической прямолинейностью. Возникает ощущение

ние, что два века разделяет эпоха в тысячу лет. Современные названия строятся так, чтобы не оставлять ни малейшей иллюзии относительно их жанровой природы — они цитаты. Безусловная в приведенных примерах, их природа не менее очевидна и в таких отдающих эпосом заглавиях, как "Хождение по мукам", "Доктор Фаустус". "Хождение по мукам" — усеченное "Хождение Богородицы по мукам", "Доктор Фаустус" — растянутый на слог Фауст.

Что же произошло? Произошло радикальное смещение литературы в филологию: литература XX века представляет действительность как форму отраженного литературного сознания, как текст в ряду других текстов, требующий для своего понимания филологического анализа, то есть сопоставления и соединения с уже написанными другими текстами. Какой именно текст избран для сравнения, указано в цитате, вынесенной в заглавие.

М. Каганская, 3. Бар-Селла

МАСТЕР ГАМБС И МАРГАРИТА*

Многие (а то и все) жалуются на бездуховность нашей эпохи. Жалобы их не по адресу — эпоха наша духовна! Что есть свидетельство духовности? — Чудо! И все мы доподлинно являемся свидетелями чуда: на наших глазах возникло новое Евангелие — Евангелие от Михаила. Михаила Афанасьевича Булгакова. В мире — роман "Мастер и Маргарита".

Узрели чудо все, поняли по-разному.

Выдающийся теолог Нового Средневековья** утверждает, что Евангелие это — гностическое и манихейское. Причин же явления данного Евангелия в романной ипостаси — две, точнее — одна: вот уже два тысячелетия манихейская истина пишет записки из подполья. Столько же примерно лет известно, что наиболее безопасной формой иносказания является художественная. Первый и прославленный опыт манихейской притчи принадлежит Данте ("Божественная комедия"), второй — Булгакову. Первого не поняли, второго пытались не понять. Не вышло!

Зло, запечатленное в образе Воланда, — продолжает все тот же теолог, — есть творческая и созидательная сила. Утаить эту

* Сокращенная глава из книги, полностью выходящей в издательстве "Синтаксис" (Париж).

** Бэлза И. Ф., "Генеалогия "Мастера и Маргариты", "Контекст", 1978, М., стр. 156—248.

правду небезуспешно пытались Авербах, Блюм, Кайафа, Нусинов, Латунский, Квант, Мутангова, Павел, Лука, Розенталь и Матфей. Не впадая в преувеличения, резюмируем: евреи.

Ешуа Га-Ноцри евреем не был, его папа — по слухам — был сириец. Булгаков тоже евреем не был — его папа был преподавателем. Результат: обоих затравили (евреи). Ариец П. Пилат пытался спасти Ешуа, но не преуспел из-за чистоплотности, позже одумался и содеянное постарался исправить — зарезал Иуду. То есть, конечно, не сам зарезал, а по причине чистоплотности приказал подчиненным резать. Арийские традиции сохранились до наших дней, — чего не скажешь о чистоплотности. Так вот, в отместку за Булгакова пришлось зарезать уже целую группу театральных критиков. То есть опять-таки не Самому, конечно, зарезать. Но это уже не от любви к чистоте, а по причине загруженности — все время руки мыть, до всего руки не дойдут. А чтобы память о Рукомойнике не стерлась в потомстве, это мероприятие называли "Чисткой", ибо стремление очиститься движет всей жизнью одной — отдельно взятой — страны победившего манихейства.

Другой, намного менее прославленный, но более ортодоксальный теолог* утверждает, что Раб Божий Михаил был, напротив, истинно русский православный евангелист, а гнозис его не манихейский, а православный, истинно русский, нигде и ни в чем не отрывающийся от родимой византийской почвы.

При таких разных чтениях куда податься читателю, буде он не манихеец, не язычник и не православный иудео-христианин? Одно остается ему чудо — чудо искусства. А что есть Искусство? — Оно есть Храм! И вот, опустившись внутри себя на колени, читатель открывает неумелые губы для привычной молитвы:

В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, человек без шляпы, в серых парусиновых брюках, кожаных сандалиях, надетых по-монашески на босу ногу, в белой сорочке без воротничка, пригнув голову, вышел из низенькой калитки дома номер шестнадцать.

В ужасе вскакивает читатель с колен внутри себя и с испугом оглядывается по сторонам: не подслушал ли кто, не донес? Ведь предупреждал, предупреждал лучший, талантливейший из Белин-

* Г. Круговой, "Гностический роман М. Булгакова", "Новый журнал", кн. 134, 1979, Н.-Й., стр. 77—80.

ских наших дней о двух продажных фельетонистах, совершивших поклеп со взломом на интеллигенцию*. Как могли приплестись подганные строчки к Святому Писанию?!

“Что это со мной? — думает читатель, вытирая лоб платком. — Этого никогда со мной не было. Сердце шалит... Я переутомился... Пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск...”

На горизонте двумя параллельными пунктирными линиями высывался из-за горы Кисловодск. Остап глянул в звездное небо и вынул из кармана известные уже плоскогубцы.

“О боги, боги, за что вы наказываете меня?! — с отчаянием подумал читатель. — Опять! Опять начинаются мои мучения. И почему я не поехал в Крым? И Генриетта советовала!”

Веселая Ялта выстроила вдоль берега свои крошечные лавчонки и рестораны-поплавки. На пристани стояли экипажи с бархатными сидениями. — Подождите, Воробьянинов! — крикнул Остап.

“Не зная, как поступают в таких случаях, Степа поднялся на трясущиеся ноги. — Я не пьян, со мной что-то случилось... я болен... Где я? Какой это город? — Ну, Ялта... — Степа тихо вздохнул, повалился на бок. Читатель головой стукнулся о нагретый камень мола. Сознание покинуло его”.

Но в тот миг, когда читатель вступает в область бессознательного, пробуждается сознание литературоведа.

* * *

Читатель рухнул, как мост, не выдержав совпадения и наложения ритмов. Но мы смело вступим на мост и не только пройдем по нему до конца, но — из профессионального гонора — еще остановимся на самой его середине и заглянем в пропасть!

Если кожаные сандалии подпольного миллионера Корейко с такой очевидной уху легкостью пришлось впору прокуратору Иудеи — это говорит о чем-то большем, чем совпадении размеров. Ритмы идут в ногу со смыслами. В малоизученную область влияния ходьбы на мировоззрение первыми вступили греки: ямб — стопа, метафора — перенос, сами греки — перипатетики (“прогуливающиеся”). Вот почему Га-Ноцри так настойчиво

* См.: А. Белинков, “Юрий Олеша. Сдача и гибель советского интеллигента”; он же, “Поэт и толстяк”, “Байкал”, 1968.

советует Пилату "оставить на время дворец и погулять пешком где-нибудь в окрестностях, ну, хотя бы в садах на Елеонской горе". В контексте эллинизма "прогуляться" значит вернуть себе философское спокойствие.

Можно ли счесть случайностью, что и в культуре, столь удаленной от эллинской, как русская, единственный удавшийся опыт нахождения связи между смыслом и метром относится к ходьбе? Как доказал Кирилл Тарановский, все, что в русской поэзии написано пятистопным хореем, есть вариации на тему "Выхожу один я на дорогу..."* Тарановский — позитивист: у каждого следствия должна быть причина, у каждого подражания — источник. В то же время, со свойственной позитивистам честностью, Тарановский признает: есть вещи за пределами причин и источников; эти запредельные звучания он называет "ритмическим гулом эпохи".

По-разному гудела эпоха за стенами Иродова дворца и дома № 16, что по Малой Касательной улице, но один и тот же "Гудок" каждое утро призывал к себе дежурных сатириков Илью Ильфа и Михаила Булгакова. Жизнь, как греческая трагедия, одарила этих людей единством времени и места работы.

Но дальше двух этих единств, трагических, кажется, только для одного сотрудника — Булгакова, дело не идет. Единства действия как не было, так и нет. Что общего между романом-мифом (булгаковским) и романом-фельетоном (Ильфа и Петрова)? По мере того, как один (булгаковский) набирает метафизическую высоту, второй (Ильфа и Петрова) теряет простое читательское уважение. Прервалась и связь времен: Булгаков переселился в бессмертие, а "Стулья" превратились в недвижимость — никто не ищет в них сокровищ, никто за ними не гоняется, никто их не крадет.

И вроде бы довольно стыдно с нашей стороны соваться в литературный ряд с таким подержанным товаром.

Но все-таки что-то смущает, какое-то беспокойство, душевное ерзание, как от гвоздя в стуле, ей-Богу...

"Факт — самая упрямая в мире вещь": Кисловодск? — Кисловодск! Ялта? — Ялта!

* Тарановский К. Ф., "О взаимоотношении стихотворного ритма и тематики", *American Contributions to the 5 th Congress of Slavists, The Hague, 1961.*

Я вчера два часа протолкался у Грибоедова. — Ну, и как? — В Ялту на месяц добился. — Молодец!

(Молодец? — Молодец!) Театральный роман есть? — Есть: театр "Варьете" и театр "Колумб". Дядя из Киева и дедушка-валютчик из Киева (скупал в Киеве фальшивые доллары, изготовленные внуком в Москве, и совершенно разорился). А кстати о валюте, и о фальшивых деньгах, и о Москве, и о фальшивых деньгах в Москве...

Откуда у Булгакова Киев — понятно: он родом из Киева. А что потянуло туда Ильфа с Петровым? Ведь кроме фальшивого дедушки, есть еще и милицмейская фуражка с "гербом города Киева" — ее Великий Комбинатор надевал в торжественных случаях...

Но есть фактики и посерьезней.

"Трамвай построить — не ешака купить!" Только привычка удачно заменять этой максимой не более осмысленную "Жизнь прожить — не поле перейти!" мешала спросить: при чем тут ешак? А при том, что Иисус въехал в Иерусалим на осле, а Ешуа такой факт отрицал, Берлиоз же, прослушав рассказ об этом, немедленно попал под трамвай. Итак, в два разных романа, написанных, правда, в одно время и в одном месте, трамвай ввозит ближневосточную тему.

— Вот это есть Азия! — сердито сказал Треухов. — Ишак три рубля стоит, а скормить ему нужно тридцать рублей в год.

— А на трамвае вашем вы много на тридцать рублей наездите? Триста раз. Даже не каждый день в году.

Треухов, тридцать рублей — тридцать сребреников, тридцать рублей да еще три — возраст Иисуса Христа. Понятно теперь, почему после слов Гаврилина о трамвае и ешаке "в толпе внезапно послышался громкий смех Остапа Бендера. Он оценил эту фразу". — Еще бы не оценил, сам как-никак несколько дней пробыл Иисусом Христом, накормив пятью хлебами несколько тысяч верующих (накормить-то он их накормил, но какая была давка!).

Тождество Мастера и Ешуа Га-Ноцри не вызывает сомнения у толкователей "Мастера и Маргариты", ни в чем другом меж собой не согласных. Разумеется, толкователи ошиблись и здесь: в отличие от Ешуа, который только говорил, Мастер еще и писал (роман о Ешуа). Правда, Понтий Пилат при допросе Левия Матвея опирался на кой-какие письменные документы (назо-

вем их для простоты "Так говорил Ешуа"). Там, среди прочей чепухи: "Смерти нет... Вчера мы ели сладкие весенние баккуроты..."* — мы находим и два заманчивых обещания: "...Мы увидим чистую реку воды жизни... человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл..." Пилат на этих словах не останавливается — он все про свое: "...большого порока... трусость..." Но мы, не склонные к порокам, возвращаемся к записанному и с удивлением уличаем Ешуа в знакомстве с русской классикой: "Мы еще увидим небо в алмазах" (А. П. Чехов) и

...даль туманную романа
Он сквозь магический кристалл
Уже неясно различал.
(А. С. Пушкин)

Итак, вместо чаемого пророчества о будущей жизни на новой земле под новым небом Ешуа пророчествует о будущем романа. Не к месту как будто помянутый заодно Чехов указывает, в сущности, на то, что в анонсированном романе будет разыграна вся русская литература — от Пушкина до Чехова. Так оно и случилось; исчерпывающий обзор литературных влияний, реминисценций и аллюзий в романе представил Б. М. Гаспаров**. К его коллекции нечего прибавить — за исключением, быть может, двух скромных вещичек: "осетрину второй свежести" прислали в роман из "Дамы с собачкой" ("А осетрина-то была с душком!"), а фамилия злосчастного критика одолжена у композитора Берлиоза не только потому, что он был автором "Фантастической симфонии", но и потому, что на его приезд в Петербург в 1859 году откликнулся русский лирик и музыкальный фельетонист Яков Полонский:

Здесь Берлиоз! Я видел сам
Его жидовско-римский профиль
И думал: что-то скажет нам
Сей музыкальный Мефистофель?

* Явная ошибка: знай Левий язык Писания, он бы написал "биккурим", то есть "первые весенние плоды, в пищу не употребляемые, а жертвуемые Храму". Данное же написание грешит ассоциацией с "бахурот", то есть "девки".

** "Из наблюдений над мотивной структурой романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита", "Slavica Hierosolymitana", v. III, Иерусалим, 1978, стр. 198—251.

Поспешим заметить, что эпитет "жидовско-римский" в сочетании с Мефистофелем пророчествует о Булгаковском романе с большей определенностью, чем сбивчивые показания Ешуа.

То, что Остап в поисках "делать жизнь с кого" останавливается на каноническом Иисусе — бесспорно:

Мне тридцать три года — возраст Иисуса Христа. А что я сделал до сих пор? Учения не создал, учеников разбазарил, мертвого Паниковского не воскресил.

Но теперь мы знаем, что есть другой Иисус, цитирующий Пушкина Иисус, булгаковский. Как быть с ним? Претендует ли Бендер на тождество и с ним?

— Кто ты по крови?

— Я точно не знаю, — живо ответил арестованный. — Я не помню своих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец.

Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность: "Мой папа, — говорил он, — был турецкоподанный".

Сирия, заметим, была к моменту рождения Остапа частью Османской империи, а жители ее — сирийцы — соответственно турецкими подданными. Что же касается цитат из русских классиков, то Остап и Ешуа неразличимы до тождества "А=А", как московский трамвай "А" ("Аннушка") и дура с Садовой, пролившая подсолнечное масло.

Увлеченный судьбой сокровищ мадам Петуховой и гражданина Корейко, читатель упорно не обращал внимания на самую удачную комбинацию Великого Комбинатора — комбинацию цитат.

— Ну, — сказал Остап, — вам памятник нужно воздвигнуть нерукотворный.

— Слушайте, что я накропал вчера при колеблющемся свете электрической лампы: "Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты". Правда, хорошо? Таланливо? И только на рассвете, когда дописаны были последние строки, я вспомнил, что этот стих уже написал А. Пушкин. Такой удар со стороны классика! А?

— Нет, нет, продолжайте, — сказал Козлевич сочувственно.

И Остап продолжает:

— Я вам передачу носить не буду, имейте это в виду. Что мне Гекуба? Вы мне, в конце концов, не мать, не сестра, не любовница.

Гекуба — из пьесы "Гамлет", а "не сестра, не любовница" — из уже знакомого нам Я. П. Полонского.

Но островки бендеровской поэзии тонут в океане русской прозы. В "Рассказе о гусаре-схимнике" Остап излагает близко к тексту действительную жизнь гусара Булатовича (в "Рассказе" — Буланова), прожитую по мотивам повести Л. Н. Толстого "Отец Сергей". Телеграмма, адресованная Корейко — "Графиня изменившимся лицом бежит пруду", — с текстуальной точностью воспроизводит телеграмму, извещавшую графа Л. Н. Толстого о странном поведении графини С. А. Толстой после получения ею ложного сообщения о смерти графа. В телеграмме второй от русской классики только подпись: "Грузите апельсины бочками. Братья Карамазовы".

Казалось бы, Достоевскому самое место у Булгакова, — не так много метафизиков в русской литературе, чтобы один великий мог обойтись без другого.

Первым делом, понятно, находится место "Бесам": пожар в Скотопригоньевске — пожары в Москве, обгоревший труп барона Майгеля — обгоревшие трупы капитана Лебядкина и его сестры, наконец — сами "бесы". Но других следов Достоевского, как ни странно, в романе Булгакова нет. Впрочем, есть еще один:

— Достоевский умер, — сказала гражданка, но как-то не очень уверенно.
— Протестую! — горячо воскликнул Бегемот. — Достоевский бессмертен.

О, как соблазнительно увидеть в булгаковской достоевщине метафизический разгул, утягивающий в свой водоворот историю болезней века, мировой пожар, гибель и обновление, то есть чаемую смесь Апокалипсиса с обетованием: Евангелие так Евангелие, черт возьми!

Но мы, вкусившие однажды сладкий плод — баккурот, продолжаем думать, что Булгаков — не в пример Достоевскому и Паскалю — был озабочен спасением текста не менее, чем души:

...чтобы убедиться в том, что Достоевский — писатель, неужли же нужно спрашивать у него удостоверение? Да возьмите вы любых пять страниц из его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем. Да я полагаю, что у него и удостоверения-то никакого не было!

Ясно, что речь идет не о бессмертной личности Достоевского, но о бессмертии его текстов.

Наши современники расходятся во мнениях: если одни счи-

тают, что Булгаков хотел написать мистический трактат, то другие убеждены, что он его написал. Что же касается досадного подзаголовка "роман", тут спорящие едины: романная форма не более чем маска: меняются времена — меняются маски, современников Ешуа легче было пронять притчей. Согласимся мы с теми или с другими — положение не изменится: претензии над-литературного характера у Булгакова, несомненно, были. Но странное дело, чем пристальней и бескорыстней мы вчитываемся в роман, тем очевидней из-за демонологии выглядывает литература. Именно литература образует самый зашифрованный и глубинный слой. Маска оказывается лицом.

Другое дело Ильф и Петров. Их литературные игры так публичны и безыскусственны, что, не будь Булгакова, нам бы и в голову не пришло увидеть в Остапе Бендере нечто большее, чем "порождение того времени, когда капитализм ликвидирован в своих основах, но социализм еще не победил окончательно" (Д. Заславский) .

Итак, продолжим наши литературные игры:

— Нам повезло, Киса, — сказал Остап, — ночью шел дождь, и нам не придется глотать пыль. Вдыхайте, предводитель, чистый воздух. Пойте. Вспоминайте кавказские стихи. Ведите себя как полагается!..

Но Ипполит Матвеевич не пел и не вспоминал стихов.

Опять идти! На этот раз в Тифлис, на этот раз по красивейшей в мире дороге. Ипполиту Матвеевичу было все равно. Он решительно не замечал Терека, который начал уже погромыживать на дне долины. И только сияющие под солнцем ледяные вершины что-то смутно ему напоминали: не то блеск бриллиантов, не то лучшие газетовые гробы мастера Безенчука.

Если непоэтическая натура предводителя способна уловить в пейзаже только то, что смутно напоминает романную фабулу (бриллианты, гробы), то для нас очевидна зависимость пейзажа от действительности, то есть — от иного литературного текста. Обопремся на ценное указание самого Ильфа:

Военно-Грузинская дорога... Безусловно, Кавказский хребет создан после Лермонтова и по его указаниям ("Записные книжки").

Следовательно, и бриллианты принадлежат не мадам Петуховой, а сокровищнице русской поэзии:

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал,
Под ним Казбек, как грань алмаза,

Красою вечною блистал.
И Терек, прыгая, как львица
С лохматой гривой на хребте...

Презрительным окинул оком
Творенье Бога своего
И на челе его высоком
Не отразилось ничего.

Из данного эпизода как будто бы следует, что авторы — руками М. Ю. Лермонтова — заклеямили нечуткого и низменного Ипполита Матвеевича и еще раз возвеличили любезного им Остапа, сделав его посмертным сотрудником поэта ("Пойте. Вспомните кавказские стихи").

Но все это только видимость. Никакого психологического противостояния персонажей (чуткий — нечуткий) здесь нет. И персонажей нет. И лермонтовские стихи авторов не интересуют, и даже сам М. Ю. Лермонтов. А занимает их его герой — Демон. И брюзгливый Ипполит Матвеевич понадобился здесь для отвода глаз от главного героя:

Был четвертый час утра. Горные вершины осветились темно-розовым солнечным светом. Горы не понравились Остапу.

— Слишком много шику, — сказал он. — Дикая красота. Воображение идиота. Никчемная вещь.

Ерунда какая-то получается: куда девалось все эстетическое отношение Бендера к действительности? Как это могут не понравиться воспетые Лермонтовым горы?

Все очень просто: Бендер не читатель, а герой:

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Красою вечною блистал.
Презрительным окинул оком
Творенье Бога своего,
И на челе его высоком
Не отразилось ничего.

"Горные вершины осветились..."

"Слишком много шику"

"Дикая красота"

"Горы не понравились Остапу"

"Воображение идиота"

"Никчемная вещь".

Итак, претендент на роль Иисуса Христа, сын турецкоподанного, есть не кто иной, как Демон, дьявол, Люцифер, то-есть — Воланд. Из Рая он был изгнан совсем недавно:

В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный.

— Дядя, — весело кричал он. — Дай десять копеек!
Молодой человек вынул из кармана нагретое яблоко...

Яблоко, как мы видим, еще не успело остыть.

Соблазнив в начале своей карьеры единого из малых сих, Бендер, в нарушение хронологии, преступает вначале евангельскую заповедь и лишь затем — ветхозаветную: соблазняет Адама (Козлевича). "Бога нет, — говорит он, самоотверженно борясь с ксендзами за душу Адама, как Демон с ангелом за душу Тамары, — это медицинский факт". Воланд как будто действует прямо противоположным образом, заверяя своих случайных знакомых, что Бог есть. Но суть дела от этого не меняется — врагу рода человеческого главное соблазнить: монахиню любовью, атеиста Богом, верующего атеизмом.

Но, конечно, лермонтовский Демон, разговаривающий с беспризорным, не идет ни в какое сравнение с гетевским Мефистофелем, беседующим с Бездомным. Нужны атрибуты посущественней: сера, хвост... Вот, например, первое название булгаковского романа было "Консультант с копытом". И всем сразу все ясно. А чем занимается Остап? А тем занимается Остап — открывает Арбатовское отделение Черноморской конторы по заготовке рогов и копыт! Не нависай над липовой конторой тень Демона, не хрусти беспризорный райским яблочком, пришлось бы нам обходиться бабушкиным козликом-Козлевичем, от которого-де остались рожки да ножки и который, по утверждению благожелательных критиков, оказался в руках благонамеренных авторов мощным средством бичевания мелких проходимцев ("волчий оскал старого мира"). Но тень нависает, яблоко падает и пахнет не серым козликом, а серой. Кстати, в набросках Ильф примерял Бендера к "Секции Труб и Печей", то есть к пеклу, проэкспериментировал с "Конторой по заготовке Когтей и Хвостов" (начальник Фанатюк, заместитель Сатанюк) и успокоился наконец на бесспорных Рогах и Копытах.

Так-то оно так, с Бендером как будто и впрямь что-то нечисто, но Князь Тьмы, падший ангел?! Мелковат-с!

Да и величие Булгакова не в том, что он запустил Воланда в Москву, но в том, что, связав Москву с Иерусалимом, он создал единое поле священной мировой истории, на котором извечная происходит борьба Добра со Злом и одни и те же персонажи под разными именами разыгрывают эту мистерию. Если Ешуа

Га-Ноцри есть московский писатель-диссидент Мастер, то Воланду, понятным образом, отведена роль Самого. Чтобы не было в том сомнений, Булгаков с беспримерным гражданским мужеством Самого цитирует: Воланд (держа в руках отрезанную голову политического противника): "Это факт. А факт — самая упрямая в мире вещь".

А что поделявают наши два одесских хохмача, запятнавшие себя прямым сотрудничеством с сатанинской властью — Турк-сиб, Беломор-канал, Соловки? Тоже цитируют:

Тов. Бэрлагэ. С получэниэм сэго прэдлагаэтся нэмэдлэнно явиться для выяснэния нэкотрых обстоятэльств.

— Домой позвонить можно?

— Чего там звонить, — хмуро сказал заведующий копытами.

Содержание повестки и реакция на нее тов. Берлагэ в объяснениях не нуждаются: только Булгаков и Ильф с Петровым писали об арестах как о деле житейском и даже где-то забавном. Но как объяснить акцент, не менее прозрачный, чем прямая цитата? И вот тут Ильф с Петровым проявляют меньше гражданского мужества, но больше писательской изобретательности:

— Вот послал Бог дурака уполномоченного по копытам! — сердился Остап. — Ничего поручить нельзя. Купил машинку с турецким акцентом.

Что это за "турецкий акцент"? Кто-нибудь слышал турецкий акцент? Никто не слышал. И Ильф с Петровым не слышали. А вот, что Ильф слышал и в записную книжку записал:

В машинке нет "е". Его заменяют буквой "э". И получаются деловые бумаги с кавказским акцентом.

Что же касается машинки в Конторе по заготовке Рогов и Копыт, то она изготовлена фирмой "Адлер", в переводе с немецкого на русский — "орел", в переводе на язык той эпохи — "горный орел"*.

* Чтобы отместить какие-либо сомнения в нашей правоте, воспроизведем речь Воланда полностью и в оригинальной транскрипции: "Всё сбылось, не правда ли? Галава атрэзана жэнщиной, засэданэз не состоялос и живу я в вашэй квартирэ. Это — факт. А факт — самая упрямая в мырэ вэщ. Но тэпэр нас ынтэрэсуэт далнэйшээ, а не этот ужэ савэршывшывйсь факт. Вы всэгда были гарячим прапавэдником той тэории, что, по атрэзании головы, жызнэ в чэлвэкэ прэкращаэтся, он прэвращаэтся в золу и уходыт в нэбытиэ. Мнэ прыятно саабщить вам, в прысутствии маих гастэй, хотя

Нет, положительно, в понимании сатанинской сущности власти (советской) наши хохмачи не уступят Булгакову. А чтобы не было в том никаких сомнений, они возводят контору Остапа в ранг государственного учреждения:

Остап быстро посмотрел наискось, в сторону, где летом помещалась учрежденная им контора, и издал тихий возглас. Через все здание тянулась широкая вывеска:

ГОСОБ'ЕДИНЕНИЕ РОГА И КОПЫТА.

Во всех окнах были видны пишущие машинки и портреты государственных деятелей.

Такого хода не ожидал даже Остап:

— Вот навалился класс-гегемон, — сказал Остап печально, — даже мою легкомысленную идею — и ту использовал для своих целей. А меня оттерли, Зося. Слышите, меня оттерли. Я несчастен.

Бедный Остап... Но ведь и Воланда оттерли. Его идею нуль-транспортировки из бытия в небытие и обратно тоже использовали в своих интересах:

Надо сказать, что квартира эта — № 50 — давно уже пользовалась если не плохой, то, во всяком случае, странной репутацией... вот уже два года тому назад начались в квартире необъяснимые происшествия: из этой квартиры люди начали бесследно исчезать.

Но разве более понятные вещи творятся в "Золотом теленке"?

...в номере пятом останавливался в 1911 году знаменитый писатель Леонид Андреев. Все геркулесовцы его знали, и номер пятый пользовался в учреждении дурной славой. Со всеми ответственными работниками, устраивавшими здесь свой кабинет, обязательно приключалась какая-нибудь беда. Не успевал номер пятый как следует войти в курс дела, как его уже снимали и бросали на иную работу. Хорошо еще, если без выговора. А то бывало и с выговором, бывало и с опубликованием в печати, бывало и хуже, о чем даже упоминать неприятно.

— Демонский номер, — в один голос утверждали потерпевшие. — Ну, кто мог подозревать?

И на голову писателя, автора страшного "Рассказа о семи повешенных", падали ужаснейшие обвинения...

Похоже, что гостиничному номеру № 5 в "Золотом теленке" отведена та же роль, что и квартире № 50 в "Мастере и Маргарите" — и служат доказательством савсэм другой тэории, о том, что ваша тэория и салидна, и астраумна. Впрочем, всэ тэории стоят адна другой. Есть срэди ных и такая, сагласно каторой каждому будэт дано па его взрэ. Да сбудэтся жэ это! Вы уходытэ в нэбытыэ, а мнэ радостно будэт из чашы, в каторую вы прэвращаэтэсь, выпить за бытыэ!"

те” — роль жилплощади, оккупированной нечистой силой, в свою очередь таинственным образом связанной с госучреждением.

При всем том грустная сторона упрямю обнаруживаемых нами фактов состоит в том, что никто не сомневается в осмысленной преднамеренности булгаковских замыслов. В романе о Дьяволе все непременно дьявольское, и задача исследователя сводится к тому, чтобы показать, что изощренность авторских приемов дьявольской не уступает. Но что может сравниться со страданиями ильфоведов, который, обнаружив прием, обязан еще доказывать, что это именно прием, а не просто так, случайность?!.. Ну, как втолковать, что “демонский номер” для Ильфа и Петрова значит то же, что “нехорошая квартира” для Булгакова?

А вот так: дело в том, что две жертвы злокозненного номера № 5 — тов. Лапшин, принявший на работу шестерых родных братьев-богатырей, и тов. Справченко — уже работали однажды в другой незадачливой конторе, изображенной Ильфом в малоудачном рассказе 1928 года (“Случай в конторе”). Беда конторы состояла в том, что из шестерых ее сотрудников шестеро были Ивановы. Дабы избежать обвинения в семейственности, им пришлось срочно менять фамилии: один Иванов стал Справченко, но от судьбы своей не ушел — попал-таки в “демонский номер”, другой превратился в Леонардова, чем сразу изобличил и себя, и автора: уже Эрнст Амадей Гофман называл дьявола Мастер Леонард, о Леонардо же Антихристе, герое трилогии Мережковского, читатель и сам догадался. Остальные четверо сотрудников нас не занимают, но что поистине занимательно — так это поле деятельности конторы: называлась она “Контора по заготовке рогов и копыт”. Но и этого мало — в заготовках к рассказу, в текст не вошедших, мы находим такую зарисовку:

Контора рогов и копыт. Описание конторы. 6 однофамильцев. Их ранг — кто старше, у того счеты лучше — от сосновых до пальмовых.

Про рога и копыта мы знаем, про однофамильцев — знаем, психологией счетоводов не интересуемся. Но озадачены материалом — почему счеты “от сосновых до пальмовых”? Кому довелось пощелкать на пальмовых счетах? Не делают их из пальмы. А из сосны делают гробы. Что же это за фиктивные канцпринадлежности?

Но чего нет здесь, есть там — у Лермонтова М. Ю., “на севере диком” — сосна, на “утесе горячем” — пальма. Ну, а уж где

Лермонтов — там и Демон. Где Демон — там “демонский номер”!

Квартирный вопрос — тема и проблема жизненного пространства, — создающий метафизический фон “Мастера и Маргариты”, в абсолютно том же (метафизическом) значении, с теми же абсолютно атрибутами (мистическими) сконцентрирован у Ильфа и Петрова в одном могучем образе.

Ну, а как быть со столь же общим пожаром? Пожар у Булгакова не без остроумия интерпретируется Б. Гаспаровым и И. Бэлзой в своей первичной функции — Мирового Пожара. Вместе с тем ни тот, ни другой не видят внутренней необходимости связать пожарную проблему с квартирным вопросом. Булгаков же не только эту связь видит, но и показывает, что посюсторонними мерами квартирного вопроса не решить.

Невнимательный или доверчивый (что то же самое) читатель может возразить нам и апеллировать к опыту С. Лиходеева, который, разведясь с женой, сумел обеспечить ее комнатой на Божедомке. Но комната на Божедомке стоит в том же ряду, что и квартира на Земляном Валу (см. рассказ Коровьева о похождениях квартирного проныры), и последний приют Мастера. Мастер, как мы помним, заслужил покой, то есть стал покойником, а последним приютом в приподнятой обыденной речи принято называть кладбище, каковым кладбищем является и Божедомка (“божедом” — могильщик), и Земляной Вал (связь кладбища с землей очевидна).

Теперь наступает очередь внимательного или, что то же самое, недоверчивого читателя. Такому читателю уже ясно, что беды обрушились на Степу Лиходеева вовсе не потому, что он случайно оказался соседом Миши Берлиоза, а потому, что и сам-то не больно хорош: Лиходеев — лихо деет. Ведь жену-то его со времени развода никто не видел, а жить на Божедомке то же самое, что уехать в “Могилевскую губернию”. Короче говоря, то ли убил, то ли — по традиции квартиры № 50 — донес.

А отсюда ясно, какие грехи отпускает Воланд москвичам, говоря, что “они — люди как люди... в общем, напоминают прежних, квартирный вопрос только испортил их”. В переводе на язык булгаковской фабулы Воланд сказал, что жители Москвы, в общем, не изменились, только стали убийцами и доносчиками.

О том, насколько отчетливо понимает мистическую суть квар-

тирной проблемы Ильф, свидетельствует краткая пометка в "Записной книжке": "**Дымоуправление**" — то есть все то же пекло, все та же "Секция труб и печей".

До того, как примерить Москву на Иерусалим, Булгаков примерил Москву на самое себя — век двадцатый на век шестнадцатый ("Иван Васильевич") и с тем же результатом: история не исчезает и не возникает вновь, она лишь переходит из одного вида в другой. Так историческое бытие переходит в мистифицированный быт (и обратно): "**Домострой**" — в домоуправление, и царь Иван IV не менее грозен и мстителен в роли домоуправа. Редукция этих драматических набегов на прошлое обнаруживается в "**Мастере и Маргарите**" в виде Никанора Ивановича **Босого**, председателя домкома № 302-бис по Садовой, состоящего в родственных отношениях с московским царем Иваном Васильевичем по линии жены — Марии **Нагой**. Иван Васильевич ("**Грозный**"), со своей стороны, первым из русских самодержцев удостоился звания "**Антихриста**". Гражданин же Босой домоуправствует в доме 302-бис.

Закон сохранения истории не был единоличной собственностью М. Булгакова, с ним был знаком и Ильф. Но поразительно не это, а то, что историческую пробу он снимал с той же эпохи и в том же разрезе:

Борис Абрамович Годунов, председатель жилтоварищества. ("Записные книжки").

За Борисом же Годуновым прочно, хотя, быть может, и не заслуженно, закрепилась репутация царя Ирода.

В свете вышеизученного фраза, заключающая "**Житие Великого Комбинатора**" и произнесенная им в пограничной ситуации, есть завершение только романа, а не жития: "переквалифицироваться в управдомы" означает остаться демоном местного (то есть союзного) значения. Сколь ни прельстительна эта должность, она, естественно, в табели о рангах уступает носителю Мирового Зла. С глаз читателя Остап скрывается в днестровские плавни, туман и сырость. "**Графа Монте-Кристо из меня не вышло**", — говорит Остап, предлагая читателю интонировать фразу трагически. Продолжение — об управдоме — должно, казалось бы, снять трагизм и показать критическое отношение авторов к своему герою. Но теперь, зная, что стоит за управдомом, мы возвращаем Остапу право на высокую трагедию: он не может

вернуться на Запад, откуда приходит в Россию Воланд (и, разумеется, все прочие "жидовско-римские Мефистофели"). Но там, где разминулись герои, встречаются авторы во взаимно-отраженности конца "Золотого тельца" и начала "Мастера и Маргариты": Воланд появляется в Москве, рекомендуясь профессором черной магии, и принят за шпиона; Остап объявляет себя русским профессором, бежавшим из московской Чека.

Насвинячив с московскими пожарами, Воланд находит политическое убежище в запредельном пространстве; удел же Остапа — вернуться к родному пепелищу "Вороньей слободки".

А. В. Белинков искренне полагал, что "Золотой теленок" написан с единственной целью — разоблачить Васисуалия Лоханкина, относительно каковой цели "Воронья слободка", пожар, Остап Бендер, Корейко, Паниковский, Балаганов, лейтенант Шмидт и Турксиб есть фабульная условность, принципиально заменяемая любой другой фабульной условностью (12 стульев, Воробьянинов, Грицацуева, Лев Толстой...). Что безусловно, по его мнению, — так это донос (поклеп, навет, оговор) на русскую интеллигенцию, злонамеренно выведенную в образе Васисуалия.

Мы все-таки не можем согласиться с маститым критиком. Нам мешает текст. Будь Васисуалий Лоханкин главным в романе, он был бы главным и в "Вороньей слободке", то есть — ответственным квартиросъемщиком. На самом же деле ответственный квартиросъемщик не он, а Люция Францевна Пферд. Первое, что обращает наше внимание — национальность: немка. Вспоминаем:

— Вы — немец? — осведомился Бездомный.

— Я? — переспросил профессор и вдруг задумался. — Да, пожалуй, немец...

Так оно и есть: ЛЮЦИЯ ФР... ЛЮЦИЯ ПФЕРД. Отчего же Пферд? Оттого, что "лошадь" (по-немецки). А где лошадь — там копыто! Короче говоря, Воланд в юбке.

Тугоухие Тридцатые годы ясно различали несущуюся из "Вороньей слободки" барабанную дробь осуждения "маленького мира маленьких вещей". Че-пу-ха!

Квартира № 3 противостоит сидящему на холодной льдине летчику Севрюгову не как маленький мир большому, а как Космос своей собственной части. Дом № 8 стоит по Лимонному переулку,

летчик же Севрюгов — на 84-й параллели среди торосов и айсбергов. Таким образом, Воронья слободка раскинулась на необъятных просторах “от финских хладных скал до пламенной Колхиды”. Ответственным за столь обширную площадь может быть назначен только Князь Тьмы — мадам Люцифер, а населять ее должны не малагабаритные домовые, а классические обитатели адской кухни, той самой кухни, где жильцы истязают Васисуалия Лоханкина.

А может быть, так надо, — подумал он, дергаясь от ударов и разглядывая темные, панцирные ноги на ноге Никиты.

Нога эта, которая так привлекла внимание Васисуалия Андреевича, принадлежит Никите Пряхину. “Темный панцирный ноготь” — это уже, извините, не ноготь, а, извините, коготь. А вспомнив “Контору по заготовке Рогов и Копыт”, мы без труда устанавливаем подлинный, копытно-рогатый облик Никиты Пряхина. Аналогичным образом идентифицируется “злой как черт” Гиgienишвили с “дьявольскими глазами”. В адской перспективе объяснима и борьба обитателей “Вороньей слободки” с летчиком Севрюговым: это борьба исчадий ада с ангелом (“А не летай, не летай! Человек ходить должен, а не летать. Ходить должен, ходить”. — Н. Пряхин). Васисуалий Лоханкин, напротив, есть объект не ангелологии, а социологии — в этом А. Белинков прав, но социология, в данном случае, выводится из демонологии. В самом деле, вернемся к сути конфликта: Лоханкин В. А., несмотря на многочисленные предупреждения, в том числе и письменные, упорно отказывался гасить СВЕТ, то есть тот именно свет, который “и во тьме светит и тьма не объяла его”. То есть Васисуалий Лоханкин, говоря простыми словами, есть луч света в темном царстве, и трагедия его — трагедия не ренегата собственного класса (и в этом А. Белинков не прав), а трагедия интеллигента-просветителя, в сходных выражениях описанная и Б. Пастернаком:

А сзади в зареве легенд
Дурак, герой-интеллигент
Горел во славу темной силы,
Что потихоньку по углам
Сама его же поносила
За подвиг...

(ср. из монолога Васисуалия: "А я думаю, что, может, так надо. Быть может, я выйду из пламени преобразившимся, а?").

Сколь ни ошеломляющи наши разоблачения, нераскрытым остался Пожар, с которого мы начали. В самом деле, если Ад есть исходная модель "Вороньей слободки", пожару в ней места нет — в аду пламя не гаснет. Откуда же прилетела та искра, из которой возгорелась "Воронья слободка"?

Руководствуясь эпиграфом к "Золотому теленку" ("Переходя улицу, осмотришься по сторонам"), осмотримся по сторонам. Какую улицу мы переходим? Лимонный переулок. Цитрусовые нам уже попадались — это апельсины, те самые, которые катили бочками братья Карамазовы. Так значит — "Братья Карамазовы"? А пожар? Нет, похоже, что у братьев столько же общего с квартирой № 3, сколько у сыновей лейтенанта Шмидта друг с другом. И все-таки Лимонный переулок нас не обманывает — и пожаром, и бочкотарой водила одна и та же рука, рука Федора Достоевского. Та рука, которая написала и роман "Братья Карамазовы", и роман "Бесы". Да, "Бесы", одни только "Бесы" способны объяснить нравы обитателей "Вороньей слободки" и страшный ее конец.

То, что Никита Пряхин — бес, ясно из текста "Золотого теленка". Но почему беса зовут Никита Пряхин, объяснить могут только "Бесы". Так вот, в поисках за генезисом непростого образа Пряхина, мы, минуя несложный образ Толкаченко, сразу устремляемся к его прототипу — Петру Никитичу Ткачеву, шестидесятнику-радикалу, изучателю простонародного быта. Бывший камергер Митрич обязан своим камергерством исключительно писателю Кармазинову, квартировавшему в доме своей сестры — жены камергера. Другому писателю — Ф. М. Достоевскому — он обязан своей неразлучной дружбой с Никитой Пряхиным: неискоренимая тяга консервативного идиотизма ("не наши") к радикальному социализму ("наши") — основная политическая идея романа "Бесы". Сплотившая же бывшего камергера и бывшего дворника совместная работа ("Давай, давай, Никитушка! За разговорами до свету не управимся!") должна напомнить нам о том, что "Бесов" и "Золотого теленка" связывает не только большой пожар, но и большая порка. У Достоевского порют шпигулинских пролетариев, у Ильфа и Петрова новая жизнь диктует свои суровые законы: порют интеллигента. Но подождем обвинять революцию, Лоханкин выпорот все

теми же темными силами — царскими сатрапами (князь и камергер) и их дворней (бывший дворник). Сохранена и другая общность: невольные виновники обеих пороков — фон Лембке и Птибурдуков — одинаково незлобивы и выпиливают лобзиком (один — железную дорогу, другой — нужник). Даже Варваре есть место — это Варвара Петровна Ставрогина, которая, как и ее преемница, имеет возможность содержать и содержит бездельника-интеллигента. В свете указания на то, что Варвара Петровна была сухопара до чрезвычайности, не следует понимать буквально и большую белую грудь Варвары Лоханкиной-Птибурдуковой: она — грудь — не более чем метафора, раскрытая Ильфом все в тех же "Записных книжках" — "Мне нужен покровитель с сосцами, полными молоком и медом". Итак, Васисуалий Андреевич Лоханкин есть не кто иной, как Степан Трофимович Верховенский.

Речь Верховенского-старшего изобилует вторжениями французского языка. Но точно так же двуязычен и Васисуалий — роль французского у него выполняет пятистопный ямб. От Архилоха до Блока ямб служил выражением активной жизненной позиции, а также целям обличения. Трудно предположить, что острие сатиры Ильф и Петров направили именно в Архилоха. Скорее, их внимание привлек А. Блок, прославленный как своими пятостопными ямбами ("Вольные мысли"), так и мучительными раздумьями на другую близкую Васисуалию тему — "Интеллигенция и революция" (1918).

Реальность, в которую попал Булгаков, в которой и о которой он писал свой роман, была реализацией фантастического замысла Петра Верховенского ("На первый план выступали Петр Степанович, тайное общество, организация, сеть... для того, чтобы всех обескуражить и изо всего сделать кашу и расшатавшееся таким образом общество... вдруг взять в свои руки..."). То, что Булгаков опирался на утопический роман Достоевского, доказывает текстология: как удалось установить М. Чудаковой, ранние редакции "Мастера и Маргариты" были настолько ориентированы на "Бесов", что последующая работа над рукописью сводилась во многом к преодолению зависимости, доходившей от стилизации до прямого заимствования.

Точно так же действовали Ильф и Петров. После "Двенадцати стульев" они уже не прибегают к стилизации под Достоевского. В "Золотом теленке" роман Достоевского ("Бесы") превращен

в миф, а мотивы и персонажи из прототипов переведены в архетипы.

За смешавшей до колик "Вороньей слободкой" раскинулся мировой Скотопригоньевский миф, а поскольку миф этот и политический, он бросает неожиданный и обескураживающий свет на коммунальные склоки квартиры № 3.

Продолжительная совместная жизнь закалила этих людей, и они не знали страха. Квартирное равновесие поддерживалось блоками между отдельными жильцами. Иногда обитатели "Вороньей слободки" объединялись все вместе против какого-нибудь одного квартиранта, и плохо приходилось этому квартиранту.

Когда через двадцать лет после последнего (1938) издания романы Ильфа и Петрова вынырнули из небытия, можно было уже не опасаться проведения прямых аналогий между отдельно взятой коммунальной квартирой и обществом в целом. В 1957 году от прошлого остались только коммуналки (правда, повсеместные), что сохранило комическую актуальность "Золотого теленка". Но зато прочее — политическая терминология — исчезло безвозвратно. Мог ли кто еще расслышать в патетической фразе о людях, которых закалила совместная жизнь и которые не знали страха, стальной скок вершащих историю нескгибаемых вождей, а в блоках между отдельными жильцами, поддерживающих хрупкое равновесие Вороньей слободки, непосредственную цитату из фракционной борьбы тех лет (Сталин—Зиновьев—Бухарин против Троцкого, Сталин—Бухарин против Зиновьева, Сталин против Бухарина, обвиненного в поддержке Троцкого—Зиновьева)? Нет, мы не будем настаивать на том, что правые запечатлены в неприглядном образе Митрича, левые — Пряхина, а фракционная деятельность — в акте совместной порки Лоханкина (припомнив Васисуалию фараонскую бородку Троцкого). Нет: мы настаиваем на том, что Сталин И. В. квартирует в романе под партийной кличкой гражданина Гигиенишвили. Только биография И. В. может осветить сложную трансформацию бывшего князя в трудящегося Востока, а роскошного слова "гигиена" — в грузинскую фамилию. Грузинскую фамилию можно сделать из чего угодно (например, Гогенлоэшвили, Вангогашвили, Мараташвили и т. д.), следовательно, вопрос заключается в том, почему Ильф и Петров не воспользовались ни одной из предложенных нами фамилий, но предпочли гигиену? Ответ: "гигиена — это чистота", борьба же за чистоту

рядов именуется "чистой", чистой занимаются специально подготовленные люди — "чистильщики", "чистильщик" — это прежде всего "чистильщик сапог"; недоброжелатели всех мастей любили называть И. В. "Гуталинщиком", намекая, с одной стороны, на его пристрастие к чисткам, а с другой — на его происхождение от папы-сапожника; но те же недоброжелатели намекали, что истинным папой сына сапожника был горский (осетинский?) князь. Собранные воедино указанные примеры сочетаются в образе "злого, как черт" бывшего князя, а ныне трудящегося Востока "гражданина Гигиенишвили" с "дьявольскими глазами". Согласимся, что генезис Воланда—Сталина не менее сложен, но получившийся у Булгакова образ более роман-тичен.

В той традиции, которой одинаково принадлежат Достоевский, Булгаков и Ильф с Петровым, политический миф Дьявола неотделим от онтологического мифа Христа. Речь идет сейчас не о Христе-Бендере, а о Христе в "Вороньей слободке":

Никита Пряхин дремал на сундучке посреди мостовой. Вдруг он вскочил босой и страшный.

— Православные! — закричал он, раздирая на себе рубаху. — Граждане!
— Ребенка забыли, — уверенно сказала женщина в соломенной шляпке.
— На кровати лежит! — иступленно кричал Пряхин. — Пусты, говорю! Уйди, говорю! — вопил Пряхин, приставляя лестницу к стене. — Не дам ей пропасть. Душа горит. На кровати лежит! — продолжал выкрикивать Пряхин. — Цельный гусь, четверть хлебного вина. Что ж, пропадать ей, православные граждане?

Этот "единственный за всю жизнь героический поступок" Никиты Пряхина остался бы необъяснимым с точки зрения здравого сюжетного смысла, не подставь авторы комментатора — женщину в шляпке: забыт был действительно ребенок, точнее говоря — младенец. Достаточно присмотреться к перечню оставленных продуктов, как вино хлебное немедленно распадается на составные части — хлеб и вино, а гусь получает положенный ему эпитет "рождественский". При этом о гусе сказано, что он "цельный", а о вине, что его четверть, то есть четвертая часть, иначе говоря — причастие. Итак, евхаристия и Рождество налицо и — загублены. Сгорели, как Ян Гус...

Пожар, в котором погибает Спаситель, по определению может быть только апокалиптическим. И конец мира (как и его начало) не может обойтись без еврея-свидетеля, без Вечного Жида:

Внезапно в переулке послышался звон копыт. В блеске пожара промчался на извозчике инженер Талмудовский.

— Ноги моей здесь не будет при таком окладе жалованья! Пошел скорей!

И тотчас же его жирная, освещенная огнями и пожарными факелами спина скрылась за поворотом.

Из конца в конец романов, в начале мира, в разгаре действия или под занавес, тянутся, летят пожарные обозы. Где пожарный обоз, там всегда пожар, а где пожар — там бесы. Бесы, бесы... Сколько их, куда гонят их авторы? А в свиту Главного. Вот Ипполит Матвеевич Воробьянинов. Даже не знай мы о его кошачьих повадках, по одному только имени мы должны были понять, что он Бегемот — Киса. Рыжий, широкоплечий Балаганов — Азazelло. Его дублер — кроткий Адам Казимирович, поскольку Козлевич, то есть "козел отпущения" — Азazel. Все на того же Азazelло указывает и золотой зуб Паниковского. Правда, с Михаэлем Самуэлевичем Паниковским дело обстоит сложнее — он гусекрад. Но что такое гусь, мы уже знаем. А значит, мы знаем все.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ

ЭДУАРД КУЗНЕЦОВ

"РУССКИЙ РОМАН"

Место действия — Москва. Время действия — безвременье 60-х. Герой романа — "лишний человек", опять лишний, совершенно лишний в современной России — просто порядочный человек. Не аристократ, не пережиток прошлого, а человек из самых глубин нынешней советской жизни. Сюжет его судьбы составляют любовь и измена, сума и тюрьма, сладкая мысль о мести и ранняя гибель. Напряженный сюжет, глубокий психологический и социальный захват, тончайший пейзажный рисунок выделяют "Русский роман" Э. Кузнецова из множества книг, посвященных современной русской действительности.

Цена книги в мягком переплете — 12 долларов (в Израиле 7 долларов), в твердом переплете — 15 долларов. Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", P.O.B 7045, Рамат-Ган, Израиль.

ЭЛЕГИЯ

Я к вам вернусь,
еще бы только свет
стоял всю ночь,
и на реке кричала
в одеждах праздничных —
ну а меня все нет —
какая-нибудь память одичало,
и чтоб к водам пустынного причала
сошли друзья моих веселых лет.

Я к вам вернусь.
И он напрасно вертит
нанизанные бусины —
все врут —
предчувствия —
предчувствиям не верьте.
Серебряный —
я выскользну из рук,
и
обернусь,
и грохнет сердца стук
от юности и от бессмертья.

Я к вам вернусь —
от тишины оторван
своей —
от тишины и забытья,
и белой памяти для поцелуя я

подставляю горло:
шепчете мне вздор вы!
и лица обратят ко мне друзья —
чудовища из завизжавшей прорвы.

январь. 82 г., Иерусалим

ПРОСТЫЕ ВОЕННЫЕ ОКТАВЫ

Рассвет начнется там же где закат
к рассвета собственному изумленью.
Лежит туман на лицах у солдат,
и часовой в тумане по колени —
его и зачерпнул — он сладковат
и липнет к пальцам, пальцы пахнут тленьем.
Оберегающий сладчайший сон войны
брезгливо вытер пальцы о штаны.

Холодный дым еще живой воды
текущей в жилах рыбы и — снаружи —
стоят темноты, как стоячие пруды
живородящей средиземной лужи.
Что след наш будет известняк — в том нет беды,
вот бедных варваров следам придется хуже:
их убивай — а все икра и гниль.
И портит стиль колониальный стиль.

Шипи, шипи сухая кровь и злись,
и злись наследный ум змеи и змея!
Туман в горсти? — туманом утолись.
иного утоленья не имея,
лижи и вылижи живую эту слизь
с такой пустой ладони Иудеи,
что только не сжимает кулака
полудня небом полная рука.

Спроси (пока дремотный кровоток
пересыпается в *arteria carotis*,
и жизнь одна, и век не короток,
и жизнь длинна, да только сон короток) —

спроси у собственной души, сынок,
с чего ее бессмертную воротит?
(Тем паче мы рассвета дождались)
Шипи, шипи сухая кровь и злись.

Природа жалости — сравнение: вреда.
Я жалости люблю такого рода —
жаль бедных варваров, особенно когда
они мертвы. Хоть это их природа:
родиться, жить и помереть не без труда —
от ран, такого-то числа того-то года.
О, мой народ! тебе не скажешь — стань
другим. О не влажна моя гортань!

Увы, народ мой, не влажна твоя гортань,
Но ты не торопись ответить — где же
враги и сверстники твои (такая рань,
что кажется, я никогда так рано не жил)
Народ мой, ведь тебе не скажешь стань
другим, за этим обратясь к себе же.
... Война, сынок. А ни шиша
не откликается бессмертная душа.

В душе искания подобны ловле вши,
залезшей под счастливую сорочку —
чего там мародерствовать — гроши,
какие вытрясешь — пропьются в одиночку,
я верил бы в бессмертие души,
да две метафоры перегружают строчку.
И то едва перенесла строка,
что Божьим небом полнится рука.

И в Божье небо отошел туман.
И любопытный и, как я, не спящий,
увидит вспученные туши басурман,
они действительно безглазы и смердящи,
их кошки шевелят, они из ран
что-то такое розовое тащат,
что крутанысь в руке моей праща —
метнул бы в них обломок кирпича.

сент. 82 г., Зап. Бейрут

“СТОЙ! ТЫ ПОХОЖ НА СИРИЙЦА”

Сириец
внутри красен темен и сыр
потроха голубы — видно — кость бела.
Он был жив,
пока наши не взяли Тир,
и сириец стал мертв.
Иншалла.

Отношенья цветов в нашу пользу —
он
там,
а здесь и напротив — напротив, ты.
а прием называется оксюморон,
например:
птица — вран, небеса — пусты.

А за то любили мы с ним войны
простоту,
что сами мы с ним просты:
иншалла,
птица-вран,
чудной голубизны
небеса в глазах и они пусты.

И еще люблю я дела свои
обсуждать лишь с собой,
и люблю как звенит
луч на хорах сосновых и запах хвои
в полдень.
В тридцать два года.
Лицом в зенит.

сент. 82 г., Монте-Верди

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Привычная и всегда удивительная трансформация: еще несколько часов назад ты спал с женой на белых простынях, согревал воду для бритья и разгуливал по своему дому, спокойный и свободный. И вот — ни жены, ни простынь, ни горячей воды, ни дома, ни спокойствия, ни свободы. "Есть те, кто отдает приказы, и те, кто их выполняет", — так сказал командир роты. И дальше: "Одна из наших главных задач — вернуться домой целыми и невредимыми. Поэтому добровольцы мне не нужны. Делайте то, что вам говорят, и никуда не лезьте без команды". Еще два выступления — комбата и комдива. Та же мысль — берегите себя. По глазам видно, что все думают об одном — уцелеть, выжить, скорее вернуться домой. Ни шуток, ни анекдотов. Щелканье патронов, загоняемых в обоймы. Они предназначены для того, чтобы убивать людей. "Не людей, — поправляет себя сосед, — а террористов".

Вторая тема всех политбесед — предостережение мародерам. "Во время розыска террористов, — сказал комдив, — самый серьезный поиск иногда

Владимир Лазарис

ЛЕТО В ЛИВАНЕ

(глава из книги)

©Копирайт В. Лазариса

ведется по шкафам и ящикам. Многие дома брошены, там есть разное имущество, ценности. Ничего не трогать и не брать с собой". Об этом тоже думают. И говорят. "У меня племянник золотое кольцо пронес. Маленькое такое колечко. Бросил во фляжку и пронес". "А я килограмм золота хочу. И больше ничего". Достают карманный компьютер и считают: унция — 300 долларов, всего выходит десять тысяч. Доллары умножаются на шекели. Получается новая машина. Вопрос только в том, где лежит этот килограмм и как его пронести через границу? "Шарят и шмонают во всех местах. Догола раздевают. Один привязал транзистор между ног. Нашли!" Пожилой кибуцник не выдерживает: "Да я бы таких на месте убивал! Армию позорят!" Искатель золота обижается: "А что такого? Зато будешь жить, как человек. Ну взял, и что? Это — трофей, понял? Положено!" Теория против практики. Тихий, белесый человечек мочится над канавой и неизвестно кому говорит: "Камушки, камушки надо искать". Повторные объявления по радио: каждый солдат, задержанный при выходе из Ливана с какими-либо вещами, будет немедленно предан военно-полево-му суду.

Пустые коробки из-под патронов, вскрытые консервные банки, поиски лишнего НЗ. Мухи. Планы меняются каждые два часа. Самые невероятные слухи. Одни говорят, мы просидим еще несколько дней в этом лагере, другие уверяют, что вот-вот отправимся в Ливан. Споры о политике: двадцатичетырехлетний лейтенант, сторонник движения "Мир сегодня", отбивается от оппонентов. "Нельзя отказываться от надежды на мир, — доказывает он, — надо добиваться компромисса...". "Какого компромисса?" — кричат ему. — "Забудь это слово. Хочешь все отдать арабам — так и скажи! Никаких компромиссов! Арабам не компромиссы нужны — им наша земля нужна! Вся! Ты им Иерусалим тоже отдашь?" Споры о войне. Перед уходом на фронт спорят о том, нужна ли эта война и справедлива ли она. Последняя сводка из Бейрута: 28 наших ранено во время ночного обстрела, трое умерло к утру. Общий выдох и тишина. "Еврею запрещено быть фаталистом, — сказал один из участников недавнего спора, преподаватель религиозной школы. — Еврей выполняет то, что ему предписано свыше". Опять: Тот, кто отдает приказы, и те, кто их беспрекословно выполняет.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Вторые сутки между "где-то тут" и "где-то там". Не снимаем ботинок, не пьем горячего, обалдеваем. Вдруг к вечеру грузимся на автобусы и выезжаем. Дорожная шутка: узнав о том, что мы выступаем, Арафат получил инфаркт. Несколько часов езды, и короткая остановка около Хайфы. На горе мерцают огоньки кибуца, в котором живет наш рыжий проницательный старшина. Говорят, он специально изменил маршрут, чтобы еще раз заскочить домой. Полтора часа сидим в закусочной, пьем пиво, колу и обедаем напоследок лепешками со шницелями. Молодой хозяин закусочной ошалел от свалившейся удачи. Жена его еле успевает считать деньги и давать сдачу, а двое маленьких сыновей носят лепешки и бутылки. По телевизору начались новости, и сразу все замолкают: показывают палестинские "катюши" в действии. "Сукины дети", — бормочет кто-то сзади. Старшину Фукса встречают радостными криками: "Фуксик, успел?", "Фуксик, сколько раз засадил?" Еще час езды. Остановка в какой-то роще. Каре из автобусов, грузовиков, тендеров, а внутри — коконы спальных мешков. В мешках — мы.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

С рассветом пересекаем погранзаставу в Рош-а-Никра и въезжаем в Ливан. Все очень буднично. Из Израиля в Ливан, как из Бельгии в Голландию. Знаменитая железнодорожная линия Каир—Бейрут тянется вдоль побережья в 50—70 метрах от воды. Рельсы ржавые, но целые. Побережье пустое, тихое. Море облизывает каменные выступы и валуны. Ни души. Команда: смотреть по сторонам и быть начеку; автомат, пояс и каску держать под рукой. Мы едем вслед за войной. Воронки от снарядов посреди заброшенной апельсиновой рощи, рухнувшие столбы и оборванные провода электроцентрали, низкие каменные домики с плоскими крышами. Почти в каждом доме стены источены пулевой оспой, рассечены осколками, пробиты снарядами, за выбитыми стеклами кое-где мелькают белые занавески. Первые ливанцы — худые, устатые мужчины и измученные женщины — смотрят устало и равнодушно. Маленькие дети машут руками, солдаты бросают им халву и леденцы из сухих пайков. Ландшафт сильно напоминает Израиль, да ведь это и есть продолжение Галилеи. С утра жарко, но здесь нет такой влажности, да и ветер прохладней.

С окраины Тира и до Сидона тянутся сожженные, полуразрушенные дома, магазины, гаражи и мастерские — тут поработали наши ВВС. Разваленных до основания домов совсем мало — с дороги видно два-три. Но у многих провалены крыши, отсутствуют стены — издали похоже на старые театральные декорации. На крышах и заборах уцелевших домов еще торчат белые флаги. Белые тряпицы развиваются и на антеннах проезжающих машин — жители возвращаются из Бейрута на юг, торговцы и ремесленники везут на продажу свой товар. Вдоль дорог бесконечное автомобильное кладбище — разбитые, покореженные, расплюснутые образчики автомобильной продукции всего мира. Есть машины, у которых не хватает лишь ветрового стекла, либо дверцы, или фонарей. Но и они брошены на дорогах. Тертые ребята-автомеханики тащат в свои гаражи все, что можно быстро починить и продать. Каждое второе предприятие — авторемонтная мастерская, где паяют, заваривают, клепают, подкрашивают. Свои машины есть почти в каждом дворе, как бы бедно ни выглядели его обитатели. Машина превратилась в Ливане из средства передвижения в дом, где живут неделями и месяцами целые семьи. Переезжают с места на место и возят за собой весь свой скарб. Вот еще одна машина проехала — старенький "Пежо" с холодильником на крыше и двумя перинами, торчащими из багажника, как петушиный хвост.

Вдоль дороги предлагают купить самое необходимое: сигареты, кока-колу и пиво, сладости. Тут каждый, у кого есть несколько блоков сигарет, объявляет себя торговцем и выставляет на столе, стуле или камнях свой товар. К израильтянам привыкли уже настолько, что не только берут шекели, но и сдачу дают в нашей же валюте. Не менее твердой валютой, несмотря на семилетнюю войну, осталась и ливанская лира — купюра с изображением идиллического грота, размером с бумажный советский рубль. Ливанские дети уже знают слово "шекель" и выговаривают его так же ясно, как и "шалом".

Короткая остановка, автобус сразу окружен стайкой детей. "Джибли" — "дай мне" по-арабски. "Солдат, дай мне конфету!" Семилетний полиглот переводит на французский и просит "бон-бон". Получает и говорит по-английски: "Спасибо. Меня зовут Фейзил". Фейзил — светский человек, он представляет нам трех своих сестер и брата — белокурого ангелочка двух лет от роду. Выясняется, что ангелочек появился на свет при участии ирландского солдата из подразделений ООН. Автобус трогается дальше,

и иллюзия путешествия возобновляется. "Спасибо Бегину за такую прогулку!" — "А что? За границу бесплатно съездили: ни паспортов, ни виз, ни гостиниц!"

Ночью спим в автобусе, голова и руки на сиденье, ноги — в проходе на картонных коробках с НЗ, пачках туалетной бумаги и ящиках с овощами. Выставлены часовые. Полумесяц лежит на спинке и болтает рожками. Полевая рация требует, чтобы Папа Римский немедленно явился к Напильнику, проклиная самого Папу и весь его род до третьего колена. На газовой горелке стоит жестянка с водой, а вокруг нее молитвенно застыли любители кофе. Когда можно будет снять ботинки?

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Утром раздали открытки, и все бросились строчить короткие послания домой. Открытки забавные и продуманные: смешные рисунки отдыхающих солдат, окруженных женскими лицами и посылками. Подлинный шедевр бюрократии и мечта каждого лентяя — колонка с набором наиболее часто употребляемых фраз вроде "чувствую себя хорошо", "все в порядке", "скучаю по...", "пришлите мне...". Напротив каждой из них — пустой квадратик, в котором надо поставить крестик. Заполняешь пропуск, ставишь крестик, и непонятно, то ли кроссворд решаешь, то ли играешь в тотализатор. А может, эти открытки рассчитаны на то, чтобы слать их с дороги, когда только и есть у тебя эти несколько секунд.

Узкие и опасные дороги, выходящие горным серпантином, как на Кавказе. Колеса на миг зависают над пропастью — лучше не смотреть из окна. Долина между горами. Где-то там внизу ползет на поле трактор-черепаха. Ровные квадраты оливковых деревьев. На этих дорогах уже погибло немало ребят: грузовики и бронетранспортеры срывались вниз, не успев добраться до места боев. Погибали и по дороге домой в короткий отпуск, как 47-летний майор-снабженец из нашего батальона, с которым мы были на очередных сборах всего два месяца назад.

Из пыльной зелени вырастают большие и причудливые особняки и виллы. Одна из них сделана в форме самолета: флигель-кабина, балконы-крылья и чердак-хвост с изображением молний. Всюду идет стройка — строят новые дома и ремонтируют поврежденные: стопки листов жести, бетонные блоки, грузовики с пес-

ком. Целые семьи сидят на балконах и провожают нас равнодушными глазами. Мы доехали до места назначения. Точнее, места постоя.

На холме роскошная трехэтажная вилла — в последней стадии строительства. Высокие и массивные железные ворота и просторный, уютный двор. Шесть террас и десяток балконов в трех направлениях. Плинтусы и полы выложены серо-розовым мрамором. 12 комнат, три туалета разных цветов с низкими ваннами и огромная кухня, облицованная керамикой от пола до потолка, с выходом в гараж. Гостиная размером с теннисный корт, пятиметровые потолки и галерея с витыми перильцами. Выходная труба для камина похожа на шахту лифта. В углах сложены плитки, в туалетах приготовлены краны и мыльницы. Под лестницей, ведущей из гостиной в сад, комната садовника и напротив — туалет с душевой. Сад широкими ступенями сбегает вниз, земля разрыхлена, дорожки уложены плитками, и кое-где уже посажены оливковые деревья. "Почему не цветы?" — спрашиваю я. "Потому что здесь сажают то, из чего можно сделать деньги", — объясняют мне. Все сделано с отменным вкусом, умно и точно спланировано, красиво и добротнo построено. Может, именно поэтому вся вилла выглядит такой чужеродной, слишком европейской для мусульманского окружения. Как белокурый ангелочек, встреченный нами на дороге, среди его черноволосых братьев и сестер. Владелец виллы живет в Южной Африке, а строительством занимается его брат-подрядчик, дом которого находится метрах в пятистах и выдержан в тех же цветах — сером и бордовом. К занятому дому армия относится бережно: стены не исписаны, полы вычищены и вымыты, мусор убран, ничего не разбито, не расколото. Наши кибуцники, соскучившись по работе, нашли где-то шланг и пошли поливать деревья. Те, кого мы сменяем, говорят: "Посмотрите-посмотрите, как люди живут — в Израиле так не строят".

Один из них дергает меня за рукав: "У тебя какой размер обуви?" — "А что?" — "Скажи какой?" — "Ну, 43-й, а зачем тебе?" — "На!" — и он протягивает мне новенькие шнурованные ботинки на толстой литой подошве с высоким парусиновым верхом защитного цвета. "Держи подарок! Только в Израиль не бери — на границе отнимут!" На подошве маленькая золотистая наклейка: "Сделано в Китае". Я не успеваю оглянуться, как первый трофей уходит по рукам в неизвестном направлении.

Комнаты быстро распределены, на дверях — таблички, писанные

от руки: начальство и связисты наверху, нижние чины внизу. В комнате садовника батальонный раввин-лейтенант устроил синагогу, принес три скамейки, два стола и железный "Арон ха-Кодеш". Кухонную пристройку занял армейский буфет-магазин "Шекем". Часовые выставлены на верхней террасе и у ворот, через которые проходит чуть не весь батальон. Восхищение и восторг, примерные оценки стоимости виллы и неизбежное "Эх, мне бы такую!". Дверей нет, и ветер продувает насквозь весь дом и мгновенно просушивает влажные полотенца, развешанные на электрических проводах.

Первый раз в жизни буду спать на мраморном полу.

Открыл кухонный шкафчик и нашел там потрепанное американское издание "Трамвая "Желание". Первые 15 страниц вырваны, но прекрасная Вивьен Ли на задней обложке уцелела, как и очарование пьесы, читанной и виденной добрый десяток раз. Кто бы мог подумать, встретить Бланш Дюбуа на войне в Ливане! "Тигрица, тигрица, брось бутылку! Брось ее!"

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

При входе в виллу вывешен импровизированный почтовый ящик: картонная коробка из-под НЗ с прорезанной щелью. Телефона нет, отпуска когда еще будут — все пишут открытки. Прибыли газеты — одна на шестерых человек — и армейский журнал "В лагере" с подзаголовком "Специальный выпуск для фронтовиков". Через Общественный комитет помощи солдатам получили разные книжки. Порылся в большой коробке и среди детективного мусора нашел Вольтера, Томаса Манна, роман К. Цетника, рассказы И. Бурлы и даже — о, Боже! — "Вечера на хуторе близ Диканьки" в переводе на иврит. Через тот же комитет прислали несколько приемников и портативный телевизор.

Местное население обращается за помощью: мальчик лет 10-и прижимает к голове окровавленную тряпку и говорит, что упал с крыши. Его привели трое небритых мужчин, которые показывают на мальчика и по-арабски просят отвести его к врачу. "Доктор, доктор!" — гримасничает один из них и тычет пальцем в "Скорую помощь" с красным Маген-Давидом на боку, припаркованную во дворе виллы.

Элегантно одетая худощавая женщина лет сорока в кружевной белой блузке и длинной темно-синей юбке с разрезом на бедре

приехала из Бейрута. Свою историю она рассказывает по-английски и все порывается расстегнуть блузку, чтобы показать следы побоев. Но достаточно видеть ее шею в ножевых порезах и лицо в синяках и ссадинах. Она вернулась в родную деревню, чтобы проводить детей, оставшихся с бывшим мужем. Из путаного ее рассказа следует, что в Бейруте у ней есть другой муж, которого она называет "друг". Бывший муж выкинул ее из дома, чуть не убил, и она просит его наказать. "Вот, посмотрите, что он со мной сделал..." и снова хватается за пуговицы блузки. "Вот оно, — говорит Исразль Коэн из Марокко, — как на Востоке бывает. Тут, брат, женщину за человека не считают. Муж с ней что хочет, то и делает. Чем мы ей можем помочь?"

Высокий холеный владелец новенького "Мерседеса" требует наказать его знакомого, которому он якобы оставил свою вторую машину перед тем, как сбежать в Бейрут. Теперь он вернулся в свою деревню, а знакомый не отдает машину. Говорит по-английски вполне бегло: "Я был солдатом в ливанской армии. Потом партизаны (он старательно избегает слова "террористы") убили моего брата. Я против Арафата". "Но какой помощи вы от нас ждете?" — спрашивают его. "Помогите мне получить назад мою машину. Помогите, пока я его не убил". Обещают разобраться. "Вот так они сводят счеты, — замечает пожилой шофер и сплевывает вслед "Мерседесу". — Поди разберись, кто у кого взял, кто из них плохой, а кто хороший. Приходят и говорят: "Арестуйте его, он — террорист". А потом выясняется, что все чепуха, и террориста отпускают домой".

Большую помощь израильской армии оказывает другая армия — "Эль-Амаль" (в переводе с арабского "Действие"), шиитская милиция, командира которой велено пропускать в нашу виллу днем и ночью. Многие "милиционеры" одеты в форму ЦАХАЛа — хотя и БУ, — и внешне их можно спутать с нашими солдатами, разве что наши вооружены американской "М-16", а шииты гордо носят свои "калашниковы". Да еще над левым нагрудным карманом у них темнеет пятно — след от споротой полоски с желтыми буквами Ц-А-Х-А-Л. Они помогают прочесывать местность, составляют списки подозреваемых в сотрудничестве с террористами, допрашивают задержанных, ищут по домам спрятанное оружие. В исламе шииты относятся к ортодоксальному крылу, они суперрелигиозны и считают себя хранителями закона и традиций. Свое сотрудничество с евреями они наверняка воспринимают как

временную и практически выгодную меру. Настрадавшись от банд Арафата, они следуют древнему девизу: "Враг моего врага — мой друг".

Целый день идет прочесывание местности, ищут террористов, которые еще прячутся в окрестных рощах, лесах и горах. На обед повар наконец разогревает рис с зеленым горошком и мясные шарики. Делать ему особенно нечего — только открывать консервы и ставить на стол. Ряды консервных банок напоминают о том, что мы пробудем здесь еще немало дней.

Все устроились по комнатам и углам и требуют, чтобы к следующим нашим сборам хозяин виллы подключил электричество и поставил мебель. Когда и где будут эти следующие сборы? "Может, в Стамбуле?" — хохочет кто-то за перегородкой из плащ-палаток.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Как всегда, есть новости хорошие и плохие. Хорошие — это матрасы. Плохие — касаются увольнительной. Собственной рукой я вытащил при жеребьевке последний номер и поеду домой только через полторы недели.

Командир шиитов оказался статным мужчиной с русой бородой и темно-синими глазами, похожий больше на варяга, чем на правоверного мусульманина. Бывший учитель физкультуры и тренер местной волейбольной команды. На вид лет 35—39, затянут в пояс-патронташ, с револьвером на боку. Приехал на полугрузовике японской фирмы "Тойота" (которая, под давлением арабов, с Израилем не торгует), немного говорит по-английски, держится просто и достойно. "Смерть девкам!" — сказал про него наш повар и добавил, что комбат приказал приготовить для почетного гостя кофе, печенье и яблоки. "Совещаться будут!" — резюмировал осведомленный повар и, скривившись, приложил ладонь к затылку. Вчера ночью он поскользнулся на мраморных ступенях и ударился головой, после чего на каждом пролете были срочно поставлены импровизированные факелы. Вилла выглядела, как старинный рыцарский замок.

Готовясь к субботе, раввин привез 30 бутылок красного вина, а старшина послал людей убирать мусор на территории виллы и около ворот. "Все, что армия тут навалила — выбросить и сжечь!" Счастливики, получившие первую увольнительную, уже уехали. Часовой на крыше, художник-любитель Шимон Розенцвейг, от-

ставив в сторону автомат, рисует окрестности и время от времени смотрит в бинокль. Наверно, проверяет свое творческое зрение.

Я искупался в душе, выстирал грязное белье, поменял на складе обмундирование и сижу, задрав ноги на алюминиевые балконные перила. Курящие в таких случаях закуривают для полного блаженства. Я не курю, но блаженство чувствую. Хотя и не полное, потому что все время думаю об этой чертовой лотерее. В азартных играх мне всегда не везло.

Главная радионовость дня: добровольная сдача в плен командующего Южным округом соединений террористов, полковника, женатого на бывшей королеве Иордании Дине, первой жене Хусейна. Муж вовремя успел переправить ее в Каир, и оттуда на отличном английском она разговаривала по телефону с корреспондентом израильского радио. Израильцы сообщили ей, что ее муж жив-здоров и находится у нас в плену. "Он — единственный мужчина в моей жизни!" — прошептала бывшая королева. Бедный Хусейн — как он воспримет это заявление?

Любые споры неизбежно перерастают в самый главный и важный — о войне. За субботним столом один из офицеров предложил тост: "Б'шана ха'баа б'Бейрут ха'бнун!" — "В будущем году — в отстроенном Бейруте!" Ужин был тут же забыт. "Не нужно мне этого Бейрута — ни в этом году, ни в будущем, ни через 10 лет! Эти чертовы 45 километров очистили? Очистили! И хватит! Не хочу больше здесь быть и не хочу, чтобы дети мои здесь погибали! Должен же быть предел всему!" — "Пока мы из Ливана всех террористов не выкурим, покоя нам все равно не будет. Надо тут полный порядок навести, чтобы тихо было!" — "Никогда здесь порядка не было и не будет. Столько народов, религий, партий, кланов..." — "Мы им сильное правительство поставим, и все будет о'кей!" — "Ничего мы им тут не будем ставить. И не будет у них никогда сильного правительства. Только мы уйдем — они снова перегрызутся!" — "Поэтому и не надо уходить!" — "А я еще от Войны Судного дня никак не оправлюсь. После нее полгода в Синае сидели, и теперь опять то же самое. Попомните мое слово: теперь все наши сборы тут будут!" — "Что вы ни говорите, а я тут быть не хочу — ни полицейским, ни посредником!" — "Но они вон как радуются!" — "Они тебе радуются, пока ты Арафата выкуриваешь. А потом ты для них будешь просто оккупант. Сейчас мусульмане ненавидят христиан, издеваются, смеются над теми, что живут в Бейруте, а потом они все вместе тебя, меня, нас будут

ненавидеть!" — "Это все Бегин с Шароном — они нас в это болото затащили!" — "При чем тут Бегин? С Пересом и Моти Гуром лучше было бы? Так хоть еще одну войну выиграли!" — "Выиграли ли — в этом весь вопрос?" — "Да хватит вам с вопросами — раввин уже полчаса благословение сделать не может!"

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

Сидим на бетонной завалинке во дворе и говорим о вчерашней операции. Усатый иракский еврей, водитель бронетранспортера: "Ночью 20 террористов взяли. Подошла наша рота, окружили деревню со всех сторон машинами. Ни войти, ни выйти. А потом друзья-пограничники пошли по домам. Прямо так — из дома в дом. И всех мужчин до одного — на улицу. Выстроили их в один ряд, а в машине закрытой сидел штинкер* и пальцем показывал: вот этот — террорист, его направо. Этот — нет, налево. Этот — тоже террорист. Направо. Так всех распотрошили и 20 человек взяли. Они в эту деревню из Бейрута сбежали, когда там жарко стало. Ну, слезы, конечно, плач... Женщины кричали. Тяжелая была работа".

К вечеру спадает жара, и у заслона на главной дороге вытягивается вереница машин — жители деревни возвращаются домой после торгового дня, беженцы из Бейрута пробираются к родным, пациенты едут к врачу. Проверка документов. Рядом с горкой бетонных блоков стоит Мохаммед — 18-летний милиционер из шиитов — и двое пожилых израильских резервистов. Они улыбаются детям и подмигивают хорошеньким женщинам. Почти в каждой машине едут целые семьи с младенцами на руках. Рекорд недели — семиместный "Мерседес", в котором сидят 14 человек, один — маленький мальчик — прямо в багажнике. Водители — в основном мужчины — останавливаются сами и с готовностью протягивают документы. Чего тут только нет! Синие ливанские паспорта (похожие на заграничный израильский), квадратные карточки и отдельные листки удостоверений личности, свидетельства о рождении, израильские пропуска на право передвижения. Узнать обладателей документов по наклеенным фотографиям почти невозможно. За 7 лет войны люди совершенно изменились.

* Штинкер (идиш) — вонючка, в данном контексте — осведомитель (жаргон).

Все бумаги потрепаны, потертые и разорваны на сгибах — их приходится предъявлять по нескольку раз в день. Но еще более разительно состояние машин. Без ветрового стекла, дверей, капота, крыши, фонарей, помятые, разбитые, без всяких номерных знаков — дребезжат они по ливанским дорогам в надежде дотянуть до нужного места. В стране, где нет закона и полиции, за руль может сесть любой. Никто не будет проверять его возраст или водительские права. Разобьет эту машину — купит другую. Разобьет другую — бросит и купит третью. Естественный вопрос — а на какие деньги? Деньги есть. Почти в каждой ливанской семье кто-то уезжает на заработки в соседние страны — Иорданию, Саудовскую Аравию, Кувейт или подальше, на Запад, и присылает домой деньги. Есть и более прибыльный заработок — гашиш, плантации которого находятся в горных районах, откуда он регулярно переправляется в страны Старого и Нового Света.

Мохаммеду документы не нужны — он, по его словам, смотрит в глаза. Когда-то я читал, что так немцы вылавливали евреев — заглядывали прохожим в глаза. 18-летний психолог с “калашниковым” в руках собирает с водителей скромную мзду в виде сигарет “Мальборо”: у одного стрельнет сигарету, у другого — целую пачку. Чтобы миновать заслон, ему отдадут и больше. Мохаммед презрительно тычет большим пальцем вслед проехавшему грузовику с неграми из ЮНИФИЛ: “Это разве солдаты? Когда мы у них террористов искали, я один в их казарму вбежал и как крикнул: “Все к стенке и не двигаться!” Так они, 20 человек, вскочили, как гуси, руки вверх и стояли полчаса, пока мы “Эль-Фатах” брали”. Один из резервистов, переводя с арабского монолога Мохаммеда, добавляет о неграх: “Клоуны! Им бы в цирке выступать!”

По дороге осторожно переступает в пыли девушка в ярко-желтом платье с оборками. На высоких каблуках она похожа на голенастую цаплю. Она косится на солдат и чему-то улыбается. Два передних зуба у нее выбиты, и улыбка получается диковатой и беспомощной. Это дочь нашего соседа, строительного подрядчика, ее зовут Марианна, и все солдаты уже знают, что ее изнасиловали террористы, у нее есть трехлетний ребенок и в этой деревне на ней никто не женится.

На исходе субботы наши верующие вместе с раввином устраивают складчину и приглашают гостей. Подвальная комната вымыта и выскоблена, длинный стол накрыт чистой белой скатертью, и

за ним по обе стороны сидят 19 человек. У входа пирамидкой сложены автоматы. Едим в тишине нехитрые яства, пьем терпкое красное вино, а потом поем субботние песни. 19 мужчин в полутьме громко выводят: "Весь мир — это узкий мост, очень узкий мост и главное — не бояться, главное — не бояться!" Эти слова написал реб Нахман из Брацлава 200 лет назад, и можно ли найти более емкую формулу для человеческого опыта? В комнате душно, все потеют, но поют сосредоточенно, самозабвенно и отбивают такт по столу. У раввина голос тонкий и жалобный, но видно, что он доволен и растроган: первая суббота на ливанской земле.

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ

Первые отпускники вернулись, вторые уехали, и через четыре часа после их отъезда объявлена готовность номер один — все увольнительные временно отменены. Новости те же: осада западного Бейрута продолжается, и число тех, кто верит в силу дипломатии, уменьшается с каждым днем. Тем временем наши жилищные условия улучшились: нашли бетонные блоки, положили на них доски, сверху матрасы со спальными мешками, и получились нормальные походные койки. Лучше всех устроился шофер комбата. Он приволок откуда-то дверь, положил ее на голубую ванну и превратил туалет в будуар.

На крыше дежурит толстый Хен, с пиратской бородой и повадками биндюжника, выходец из Йемена и отчаянный болельщик иерусалимского "Бейтара". Когда ему надоедает рассматривать в гигантский бинокль интимную жизнь местных жителей, он подходит к баллюстраде, прикладывает ладонь ко рту и пронзительно вопит: "Я-ас-сала-а-а-а-а-а-а-м!", подражая крикам муэдзина. Еще у него есть дудка без единого отверстия, из которой он умеет извлекать протяжные и сверлящие мозг звуки. С крыши он ведет по-арабски переговоры с юными бизнесменами-водовозами. Они привезли нам воду для душевой и кухни и требуют за это халвы, консервов и... семечек из "Шекема". Строгое разделение труда: 12-летний "босс", владелец трактора, в "техасской" шляпе и темных очках, и двое семилетних рабочих. Вертлявый "босс" что-то кричит Хену, но тот обрывает его диким рыком, и торг мгновенно прекращается: "босс" получает канистру бензина и банку шоколадного масла. Один из его рабочих, оглянувшись на "босса", запускает в банку палец, облизывает и восхищенно

смотрит на своего товарища. "Может, им еще банку дать, а, Хен?" — спрашивает сердобольный повар. "Хватит с них, — резюмирует Хен, — а то они всю деревню сюда приведут".

Вечером в гостиной появляется кинопроектор, и седоусый сержант-сверхсрочник начинает колдовать над ним. Выбор фильма странный — "Вся президентская рать", история падения Никсона. Обрыв за обрывом, звук неразличим, сюжет тоже, и толпа зрителей быстро рассеивается. "Что они, не могли детективный фильм привезти?" — раздраженно бубнит кто-то. Он, конечно, неправ, это и есть детектив, только политический.

Ночью стою на крыше и рассматриваю в бинокль луну. Узкий серп похож на слой ваты, рыхлого снега, молочного порошка, в который зарылся большой серый шар. Гора, застроенная доверху деревенскими домами, засыпает. Кое-где на верандах мелькают женские фигуры, закутанные в платки. Мужчина натягивает белую ночную рубашу. Из кофейни расходятся засидевшиеся клиенты. Внизу у ворот переговаривается патруль. Тонкий лучик света прыгает среди кустов и пересекается с фонарем патрульных: это наш раввин в длинных трусах в цветочек возвращается из короткого путешествия по малым делам. Гигантским кузнечиком стрекочет на крыше рация, и провода оплетают черепицу причудливой сетью. Уже несколько недель как здесь не стреляют по ночам.

Пролетит ночная птаха,
Месяц лезвием блеснет,
Муэдзин — гонец Аллаха —
Накричится и уснет.

Новый день в небесной выши,
Старый день порос былем,
Выйдет женщина на крышу
Снять просохшее белье.

Растворится над дорогой
Рощ оливковых пыльца,
За пастушкой босоногой
Бродит сонная овца.

Вязкой горечью повеет
От домашнего вина,
Ну скажите, кто поверит
В то, что здесь идет война?

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ

Наладился рутинный распорядок дня. Повар продолжает пичкать рисом с кукурузой. Начались поносы, и кончилась туалетная бумага. Газеты приходят редко: раз в 2–3 дня. Радио раздражает. Ходят слухи, что нас скоро перебросят в Бейрут.

За обедом возник разговор о жителях соседней деревни: "Только посмотрите, как живут — в каждом доме холодильник, телевизор, машина. А как одеты-обуты! И каждый третий дом достраивается, расширяется, новые дома строят. Откуда у них деньги? Конечно, от террористов!" — "Зря ты все в одну кучу мешаешь. Есть хорошие люди, которых заставили...". — "Да брось ты — заставили! Им за это деньги платили. Кто с террористами связался, тот и заработал". — "Что же они тогда жалуются, что жизни у них не было, мужчин убивали, женщин насильовали?" — "А что? Так и было. Сейчас, говорят, по всей округе девочки в 12–13 лет уже рожают". — "Так я не понимаю, если они — убийцы и насильники, что же жители так плачут, ревут прямо, когда мы этих бандитов ночью забираем? Убийцы они или не убийцы?" — "Тут хрен что поймешь. Ведь что получается, евреи христиан с мусульманами дружить учат. Разве не смех?"

В семь часов вечера включаются три генератора, и тишина распадается на куски. Вместе с этим дребезжанием и стуком уходит покой и появляется беспричинная тревога. Сажу на ступенях лестницы, ведущей в сад, и мечтаю о горячей-прегорячей воде с мыльными пузырями. Рано иду спать.

Под небом Южного Ливана
Мне снилась розовая ванна
И, как заветная нирвана,
Приснился, видно, сгоряча
Широкий разовый стульчак.

ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ

Рис кончился, и начались вареные яйца, от которых лопаются желудок. Всех охватила мания покупок — любая вещь здесь идет за полцены или даже за треть. Крупные вещи вроде видеомангитона боятся покупать из-за военной полиции, но мелочь набрали почти все: карманные фонарики, сумки, транзисторы, фотоаппа-

раты, духи и косметические наборы, часы, бритвенные лезвия, брелки для ключей. Хвастаются покупками друг перед другом, сравнивают цены, представляют изумление домашних и жалеют, что пока нельзя наладить постоянный товарооборот с ливанскими дельцами. "Я бы за два дня пол-Ливана в Тель-Авив перевез", — вздохнул один из санитаров. Для израильтян, привыкших к космическим ценам, Ливан оказался подлинным Эльдorado: все есть и все даром! Военные власти и налоговое ведомство уже спохватились, но доступ в магазин для солдат еще не закрыт.

К вечеру у заслона появляется стайка молоденьких девушек. Трудно поверить, что мы в ливанской деревне, а не в центре Тель-Авива. Те же прически, косметика, джинсы. Те же рассеянные улыбки в ответ на призывные крики незнакомых мужчин. Снова бесконечные машины, люди, документы. Пацифист и тихарь Шмулик Таль смущен и растерян! "Что я тут делаю? — спрашивает он. — По какому праву я у него документы требую? Это что — моя земля? Отцы наши тут жили?"

На многих машинах ливанский флаг: на белом фоне развесистое зеленое дерево, похожее на ель, между двумя продольными красными полосками. Тот же герб — на номерных знаках машин и монетах, больших — лирах и поменьше — пиастрах. Крик попугая капитана Флинта из далекого-далекого детства: "Пиастры! Пиастры!"

Вечером по радио Йорам Гаон поет: "Я обещаю тебе, маленькая моя девочка, что это будет последняя война". Эту же песню он пел перед Войной Судного дня.

ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ

Впервые появились рабочие, которым дано разрешение продолжать работы по внутренней отделке дома. Они привезли алюминиевые рамы для стеклянных дверей на веранде. Странное чувство: эту виллу строили 1,5 года, а теперь она занята чужой армией, вокруг лежат спальные мешки, сумки, оружие. Как мы ни убираем за собой, грязи скопилось достаточно. Рабочий выгребал из дверной щели груды окурков, но молчал. Наши слесари и автомеханики с любопытством смотрели, как работают ливанцы, какими инструментами пользуются, одобрительно оценивали качество материалов, щупали рамы. Похоже, что презрительное выражение "арабская работа" не так уж всеобъемлюще справедливо.

После обеда к воротам виллы подъехал новенький желтый микроавтобус, и из него с трудом вылезли четверо толстяков со всеми атрибутами религиозных евреев — белые талесы, бритые затылки, развевающиеся пейсы, дремучие бороды. Бельцские хасиды из Бней-Брака привезли с собой бархатные мешочки тфилин, молитвенники и ермолки. Узнав, что все это раздается бесплатно, к ним ринулись самые махровые безбожники.

Вечером — ЧП. Автобус с отпускниками нарвался на засаду у моста через реку Литани, его обстреляли из автоматов и ручного гранатомета. Пятеро раненых, из них трое в тяжелом состоянии. Террористы метили в водителя, чтобы автобус перевернулся, но все пули пришлись в спину солдату, стоявшему у передней двери. Автобус изрешетило поперечными очередями. 42 пулевых пробоины. Водитель дал полный газ, солдаты открыли ответный огонь, и террористы бежали. Всю ночь продолжается поиск, но что можно найти в темноте в такой местности? По счастливой случайности наш батальонный врач ехал на джипе в том же направлении и тут же оказал раненым первую помощь. О солдате, раненном в спину, он сказал: "Наверно, паралич".

ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ

Израиль освободил 200 так называемых "детей-гранатометчиков" в возрасте от 11 до 16 лет, один из которых сбил наш вертолет со всей командой. Их вылавливали в разных концах Ливана, а иногда они сами сдавались в плен, где провели в общей сложности не больше двух недель. Одни верят, что дети просто "поиграли в войну" и теперь самое время вернуть их папе с мамой. Мол, для нашей пропаганды это красивый жест, вот как мы гуманны, детей в тюрьмах не держим. Даже когда они в нас стреляют. Другие убеждены в том, что это новый Гитлерюгенд, воспитанный, обученный, вскормленный для будущих войн против евреев. А что с ними делать? Я не знаю. Кстати, кому нужно доказывать, что мы гуманны? Арабам? Французам? Американцам? И кто в это поверит? Одновременно депутат Кнессета Иегуда Перах предложил снизить возраст уголовной ответственности для несовершеннолетних с 13 до 11 лет. Идет речь, разумеется, о наших собственных, израильских детях. А эти, в Ливане? Двум погибшим вертолетчикам и их вдовам уже безразлично, кем их считать — детьми, подростками или взрослыми. Солдат из спецподразделения друзей:

“Я бы их своими руками сжег. Разложил бы тут в камнях и сжег. Они нас убивают, а мы их освобождаем! Государство идиотов у нас, помани мое слово — идиотов!” Что это, кровожадность? В таком случае вся Библия кровожадна. Сегодня случайно услышал очередную цитату в передачах христианской радиостанции “Свободный Ливан”: “И уничтожил Израиль врага, и не оставил ни живых, ни беглецов”.

Чем дальше затягивается осада Бейрута, тем острее и болезненнее воспринимается каждая гибель. Война перестала быть прямым столкновением двух сил (если не армий) и не может окончиться классической капитуляцией противника. Террористы уже начали растворяться среди гражданского населения и убивать наших солдат поодиночке. Финны делали такие вещи и через 20 лет после войны, и, когда я служил в Карелии, там еще хранили воспоминания о вырезанной погранзаставе. Последние японские солдаты скрывались на тихоокеанских островах 30 лет и все еще были готовы умереть за императора. Возможно ли, даже чисто технически, о ч и с т и т ь Ливан от террористов?

Израиль привык к коротким войнам. Коротким и победным кампаниям. Вначале казалось, что это — Вторая Шестидневная война, а теперь она больше напоминает Войну на истощение. Всенародный энтузиазм и ликование прошли после первых двух недель. Самый свежий анекдот: “Вы слышали, в Израиле появился новый молодежный город?” — “Это какой же?” — “Кирыат-Шауль” (военное кладбище.— В. Л.)

П Я Т А Я

Убитых пока что — 300,
Раненых — 1500,
Пропавших без вести — семеро
И один в плену,
Еще одну пережили войну?
Пятую, если считать
Освободительную,
Синайскую, Шестидневную, Судного дня,
Названия разные,
Да одна статья:
Танки подбитые, труп на обочине,
Беженцы, пленные, дым и воронки,
Посыльные ночью
Несут похоронки.
“Сын мой!” —

До безголосой ноты,
Вой, женщина, вой
По нему и еще половине роты,
Их в поле накрыли свои самолеты —
Ошибка.
По радио встречаются семьи;
"Жене Рахели и сыновьям
Гаю и Оферу привет от отца, Баруха Арази.
Я — в порядке, где-то там на Севере".
"Жди меня, и я вернусь"
На древнееврейском,
Как мостик с той войны
К этой,
И снова приветы, приветы, приветы.
И списки погибших опять и опять,
Нет сил больше слушать,
Считать и читать,
И ждать, обгрызая остатки ногтей,
Знакомых фамилий и страшных вестей.
Но биржа открыта, а как же иначе?
На этой крови кто-то станет богаче,
Военные сводки и биржевый курс,
Смотри, не прохлопай свой лакомый кус!
Нет времени на траур,
На скорбь и на гимны,
И мертвые наши уходят нагими,
Уходят они, а живые живут,
Привыкли давно уже к этому тут.
Наш счет не оплачен,
Велик этот счет,
Мы мертвых оплачем —
Придет их черед.

ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ

Трое пропагандистов из политотдела армии: пожилые, интеллигентные специалисты в области химии, экономики и природоведения. Глубоко штатские люди, на которых форма выглядит, как пижама. Объезжают фронт, выступают с лекциями перед солдатами, участвуют в дебатах и дискуссиях. Они убеждены в необходимости и справедливости этой войны, рекомендуют избегать лобовых столкновений с Сирией и уверены, что сирийцы останутся в Ливане после нашего отступления. С ним яростно спорят два молодых офицера, один из "Мир сегодня", второй — кибуцник-маараховец. "Что я тут делаю и почему я должен тут умирать?" — кричит

кибуцник. Ему вторит "Мирсегодник": "Половина народа не хочет этой войны!" "Где ты нашел половину? — дружно набрасываются на него остальные. — Таких, как вы, двое, по пальцам можно пересчитать. У нас в батальоне, кроме вас, больше никого и нет". — "Вранье! У моей партии больше всех мандатов в Кнессете, а вы с вашим Бегинем в могилу народ загоните!" — "Ты, и твоя партия, и весь этот "Мир сегодня" — изоляционисты! Вас бы в Кирыят-Шмона поселить, чтобы прожили неделю под "катюшами"! — "Тебя т у т, в Ливане, из "катюш" обстреливают, дурак ты этакий, а ты все кричишь: "Бегин, Бегин, царь Израиля!" — "Ребята, только не переходить на личности, пожалуйста, без имен". — "Хорошо, я буду говорить "глава правительства" и "министр обороны". Общий смех.

ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

Радионовость: отставка командира танковых бригад Эли Гевы, возражающего против штурма Бейрута. Комментарий Бар-Лева: "Беда армии, если каждый солдат и офицер начнет решать, какой приказ он будет выполнять, а какой — нет!" Лейтенант из соседнего батальона: "А я его понимаю. Нельзя брать Бейрут — больше тысячи убитых у нас будет. Разве стоит? Не стоит. Нет!" Часовой у ворот: "А мне что делать, если я тоже не согласен? Он — генерал, взял и подал в отставку. А я что, говно?" Сходная реакция в радиоинтервью с одним из солдат из полка Эли Гевы: "Он нас бросил, а мы должны это говно жрать!" Подпись под газетной карикатурой: "Совесть начинается со звания полковника".

Начальник генштаба отказал Геве в праве выступить с речью перед полком и сказал: "У того, кто оставляет своих солдат, нет права объяснять им свои мотивы".

Вечером на дороге вдруг начинают гудеть сирены всех сортов. Из темноты вываливается полсотни машин, набитых людьми. Сидят на крышах и в багажниках, размахивают флагами, кричат, сирены безумствуют. В деревне — свадьба.

Ночью во время дежурства на крыше — дивное зрелище: голый шофер комбата с автоматом на шее выбегает из ворот и, размахивая фонарем, несется к сортиру. Не добежав до него несколько метров, оглядывается, садится прямо посреди дорожки и кряхтит, держась за автомат. Возвращается обратно облегченный, радостный. На мой удивленный вопрос, почему он не мог делать

то же самое внутри будки, отвечает: "Да ведь там темно!" — "Так у тебя же есть фонарь!" Да, но, если террористы застукают его в будке, там можно утонуть в нечистотах, а на открытой местности всегда больше шансов. Патрульные хохочут.

ДЕНЬ ПЯТНАДЦАТЫЙ

Перед долгожданной увольнительной побрился, принял душ, достал на складе новенькую пару обмундирования, сложил все вещи и сидел наготове два часа. Автобус из Тель-Авива опоздал, и, не успели мы в него забраться, поступила команда: готовность номер один, увольнительные автоматически отменяются. Выйти из автобуса, вернуться на свои места. Остаток дня просидел на своей койке, не переодеваясь и думая, какой я дурак, что не уехал с утра попутными машинами. К вечеру тревога кончилась, люди и машины вернулись на базу, и к нам приехала "передвижка" — прицеп с телевизором, мощной антенной и стререопроектором. Тут же был и кинопроектор с двумя фильмами, которые начали крутить после ужина и продолжали до половины второго ночи.

ДЕНЬ ШЕСТНАДЦАТЫЙ

Всю ночь у наших соседей-оооновцев лаяли собаки. Собак у них пропасть, все прибудные шавки к ним сбежались, они их кормят из своей кухни. Утром негры выбегают на физзарядку в разноцветных майках и, распугивая крестьянок с узлами и кастрюлями на голове, трусят по главной дороге. Один наш остряк выразился так: "Кто из нас негры? У них зарплата в долларах идет, жратвы навалом, держат нейтралитет и баб сколько хочешь, а мы — на войне, лопаем крутые яйца и получаем хрен вместо денег. Мы и есть негры, а они — белые!"

Увольнительные все еще отменены. Продолжается прочесывание местности. Автопарк нашего батальона в этой войне пополнился трофейными машинами: ребята выезжают "на объект" на джипах, полторках, пикапах, брошенных террористами. Номерных знаков на них нет, только от руки написан армейский номер и выведена буква "цадик" — ЦАХАЛ. На капотах — как и на всех транспортных средствах и боевых машинах ЦАХАЛа — прикреплены квадратные полотнища красного и оранжевого цветов, опознавательные знаки для своей авиации. А разве сирийцы не могли

разукрасить такими знаками свои танки, чтобы ввести нас в заблуждение? Не могли, потому что боялись, что их авиация примет эти танки за израильские и разбомбит. Простая и логичная идея. Пользоваться трофейной машиной очень удобно, но садиться в нее надо крайне осторожно и только после проверки. Уже было несколько случаев, когда после первого же поворота ключа зажигания такая машина взрывалась вместе со всеми пассажирами. Вообще мин очень много, и саперам работы хватает. Особо опасные места, дороги, проулки, проходы оцеплены колючей проволокой, на которой висят желтые таблички: "Осторожно: мины!" Недавно подорвалась одна ливанская крестьянка. Израильский сапер пошел ее вытаскивать, наткнулся на другую мину — и ему оторвало ногу.

ДЕНЬ СЕМНАДЦАТЫЙ

Не перестаю думать о том, что мы здесь делаем. В прошлом столетии нас окрестили бы экспедиционным корпусом, в этом называют оккупантами. Или освободителями. Но кого и от чего мы освобождаем? Христиан от мусульман? Шиитов от суннитов? Друзов от маронитов? Решили покончить с хаосом в чужой стране и навести тут порядок? Воспоминания и ассоциации громоздятся друг на друга.

В Израиле нет сумерек. В Ливане есть. Этакое дымчатое мерцание ступшевывает ярко-голубой цвет неба и ярко-зеленый цвет земли. Все становится чуть призрачным и тихим.

Два стакана сухого под вечер
Все печали мои утолят,
Кипарисы, как черные свечи,
В догоревшем закате стоят.

Колокольца коровьи и запах
Кофе, трав и прошедших веков,
Что же это — Восток или Запад,
Или просто игра облаков?

ДЕНЬ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

Сегодня — мой день рождения, и, как самый лучший подарок, отменяют готовность и разрешают увольнительные. 48 часов,

включая дорогу. В девять утра дают автобус до Нагарии. Возвращение в Израиль: прожаренное шоссе, "пробки" и армейские заставы, пыльные рощи и плантации по обеим сторонам дороги и наконец голубое-преголубое море и соленый воздух. Далекий обрыв, за которым начинается моя страна. Пограничный пункт в Рош-ха-Никра, через который мы проехали на войну две с половиной недели назад. Две тяжеловесные солдатки с нарукавными повязками "Военная полиция" останавливают автобус и приказывают всем выйти. Шарят под сиденьями и на полках. Потом мы открываем свои сумки и рюкзаки, и поиск возможных трофеев и покупок продолжается там. "Почему я не могу за свои деньги купить себе какую-нибудь ерунду?" — спрашивает один из ребят. "Ты купишь ерунду, — отвечает солдатка помоложе, — а вот он (она почему-то указывает на меня) купит себе три цветных телевизора. За свои деньги, конечно". Проверка кончилась, начинается Израиль. Резко спадает какая-то тупая тревога, можно опустить автомат и расслабиться: по дороге в тебя никто не выстрелит. Нагария — совсем другой мир, мир смеющихся людей, ярких женщин, вывески только на иврите... Целый час ждем попутной машины до Хайфы. Уставший сержант рядом со мной материт проезжающих мимо и говорит: "Когда на них "катюши" падали, они нас силой в машины затаскивали. А теперь кладут на нас!"

На тряском армейском грузовике добирались до Хайфы, оттуда автобусом в Тель-Авив и еще одним автобусом — в Реховот. Дома! От моих 48 часов осталось уже только 40. Пока меня не было, младший сын начал ходить и теперь бегаёт по всей квартире, как бывалый моряк в качку. Старший уважительно ощупал сначала автомат, потом меня и гордо сообщил: "Папа пришел с войны". Знакомые запахи, мои шлепанцы, стирка и штопка белья, нераспечатанные письма, домашняя еда, детские голоса и одна-единственная мысль: снова возвращаться туда, скоро, еще 20 часов, еще 10, еще...

ДЕНЬ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

Будто и не было отпуска. В семь часов утра я сижу у стадиона "Яд-Элиягу" в Тель-Авиве со своей сумкой и обувной коробкой, которую жена с тещей набили пирогами и печеньем. Собираются еще несколько солдат. Ждем автобуса на Бейрут.

В автобусе рядом со мной сидит курчавый йеменский еврей,

он лузгает семечки и выплевывает шелуху прямо на пол. "Ты бы в пепельницу", — укоряют его. "Для него весь автобус — пепельница, — смеются сзади. Сосед невозмутим: "Арабы уберут — им за это деньги платят".

Те же города в обратном направлении — Хайфа, Акко, Нагария, Рош-ха-Никра. Автобус идет вдоль побережья. Рукописные знаки первых дней сменились зелеными дорожными указателями. Стрелки направляют в Тир, Сидон и дальше — в Бейрут. Схожу на перекрестке и оказываюсь один, как перст, в окружении ливанцев. Попутных нет, и ситуация становится все менее приятной, как вдруг с бензовоза прыгает знакомый ефрейтор из нашего полка. Вдвоем спокойнее. К тому же он говорит по-арабски. Попутных по-прежнему нет, и ефрейтор предлагает остановить любую машину, которая едет в нашу сторону. Нарушаем приказ ("Не пользоваться гражданским транспортом") и останавливаем потрепанный "Мерседес" с разбитым ветровым стеклом, в котором сидят четверо мужчин. Ефрейтор садится впереди, я — сзади. Только бы не нарваться на военную полицию. Водитель — дьявол: горные повороты берет, почти не сбрасывая скорости, нога — на газе, рука — на гудке. Какофония сигналов, встречные машины с такими же сумасшедшими водителями, ооновские лагеря, полуденное умирание городков и деревень в густой и душной пыли. Еще несколько минут — и я вхожу в нашу виллу, сажусь на свои нары, уложенные на бетонных блоках, и спрашиваю сам себя: неужели я был дома? У меня есть одно-единственное доказательство: коробка из-под ботинок фирмы "Бриль" с домашним печеньем, на которое налетают мои голодные товарищи по оружию.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЫЙ

В России срок службы отсчитывали по еженедельным баням, здесь — по субботам. Третья суббота в Ливане. До исхода субботы на кухне нельзя зажигать огонь, и все сидят по своим углам с горелками и разогревают кофе. Поскольку кухня не работает, никакого завтрака нет. В ход идут вчерашний засохший хлеб, оставшийся с вечера сыр и увядшие помидоры. Любители открывают сардины и маслины. Кое-кто предпочитает завтракать халвой. В желудке пусто и гулко, как в подвале.

В десятом часу утра у ворот виллы появляется наш сосед — подрядчик. Хотя он живет напротив, солидности ради (или по

привычке) приехал на огромном черном "Бьюике". Пожилой, аккуратно одетый мужчина в усах и очках, с непременным золотым перстнем. Просит освободить виллу и говорит, что те, кто стояли здесь до нас, обещали ему сделать это в течение 2—3 дней. "Я несу большие убытки! Стены обожгли, мраморный пол поцарапали, я не могу закончить работу!" Он говорит по-английски очень тихо и вежливо. "Передайте вашему командиру мое приглашение на чашку кофе. Мы с ним посидим и поговорим!" Но командир ему не поможет, он не решает такие вопросы. Говорят, что это начальник шиитской милиции распорядился предоставить израильской армии недостроенную виллу. К нему подрядчик не идет жаловаться — боится. Он стоит у ворот своей виллы, и часовой не пускает его внутрь.

Тяжелая скука. Читать не хочется. Иду на кухню взять из ящика апельсин. Мимо пробегает наш канцелярист с лицом скорбным и помятым: еще один случай тяжелого поноса. Наверху младшие офицеры играют в домино, нижние чины сражаются в шеш-беш. Свои автоматы мы еще ни разу не чистили. Стрелять пока еще тоже не приходилось. В увольнении я встретил соседского мальчика, три года назад он приехал из Литвы и в этом году идет в армию. "Ну, как в Ливане? — спросил он восторженно. — Рукопашные бои у вас были?"

Вечером приходит знакомый парень из шиитской милиции. Он покупает в "Шекеме" десять пакетов семечек и платит израильской валютой. "Гариним — тов*" — широко улыбается он. "Еще год, — философски замечает "шекемист" — и ливанцы будут говорить на хорошем иврите".

Серо-голубые сумерки. Смазанные силуэты холмов, и над ними бельмо луны. Древние германцы советовали к вечеру смотреть для спокойствия души на воду или огонь. Нет ни воды, ни огня, ни спокойствия.

Ночью со стороны Литани доносятся дробные автоматные очереди.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

Ночной патруль. Ходим вдоль забора с Йоси, телевизионным техником из Бат-Яма, любителем анекдотов. Первый анекдот:

* "Гариним — тов!" (ивр.) — "Семечки — хорошо!"

Арафат приехал в Китай покупать оружие: "А зачем тебе?" — спрашивают его. "Как зачем? Евреев убивать!" — отвечает Арафат. "А сколько их, евреев-то?" — интересуются китайцы. "Четыре миллиона", отвечает Арафат. "И в какой же гостинице они живут?" Актуально, если вспомнить подаренные мне ботинки китайского производства.

С крыши на нас обрушивается синий луч прожектора, с которым играет бородатый Хен. Луч мечется по небу, а потом медленно обшаривает деревенские дома на горе. "Сейчас посмотрим, чем они там занимаются?" — хохочет Хен. "Слушай, — говорит ему Йоси, — а тебе было бы приятно, если бы тебе в постель светили прожектором?" "Мотек,* — рокошет сверху невидимый Хен, — мы же на войне, в полевых условиях, понял? Безопасность!"

Йоси плюет под ноги, молчит с минуту и рассказывает очередной анекдот.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ

Жаркие и тоскливые часы, заполненные шумной игрой в шеш-беш, перелистыванием вчерашних газет и обсуждением того, что будет с Израилем, если Арик Шарон станет главой правительства. "Диктатура, — резюмирует Меир, учитель истории Древнего Рима и средних веков. — Кто рот откроет — сразу в тюрьму!" "Вот и хорошо, — искренне радуется Цвика, владелец небольшой слесарной мастерской в Кфар-Саве. — Так мы всех левых и придавим". Левые начинают громко возмущаться.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ

Второе ЧП похоже на первое: террористы обстреляли армейский джип в том же самом месте, где на их засаду напоролся несчастный автобус. На этот раз — двое раненых. Один из них — тяжело. Вопрос без ответа: почему они вернулись в то же место после недельных поисков и прочесывания всего района?

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Ободрающая радионовость: совместная война Израиля и Иордании против... комаров. Соответственно в Эйлате и Акабе само-

* Мотек (ивр.) — Лапушка, досл. "сладкий ты мой".

леты с самого утра распыляют отраву. Жаль, что 12 лет назад Израиль не присоединился к Иордании в ее однодневной и истребительной войне с "комарами" из ООП.

Ливанские комары, видно, почувствовали мое отношение к ним и поработали надо мной в эту ночь особенно основательно. Пишу и расчесываю распухшие руки, губы и ноги.

Наши незатейливые трапезы стали чуть ли не ежедневно сопровождаться арбузами и дынями. Дыни по цвету и вкусу похожи на среднеазиатские.

Написал жене десятую открытку. Все предыдущие военная цензура пропустила без задержки и пометила на память своим штемпелем.

Похоже, что атака на Бейрут началась, но по радио это было названо "тактическим маневром местного значения".

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ

Атака! Настоящая атака, которая идет уже с полуночи. Танки вошли в мусульманский квартал и, через лагеря беженцев, кругами движутся к самому центру. Статистики наших потерь еще нет, но этот вопрос у всех на устах. Вторая увольнительная, кажется, накрылась окончательно, и дай Бог не застрять тут еще на... Страшно даже написать период.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ

19 убитых! В том числе двое ребят из нашего полка. Все комментарии сводятся к одному: "Не стоило. Окружили, так и нужно было их дожимать". И еще кое-что: "Если уж погибать, так за Иерусалим, а не за Бейрут". Никто не говорит, что для такой масштабной атаки 19 убитых — это сравнительно мало. Понятия "мало" просто не существует. Всегда есть только "много", а теперь даже "слишком много". Для сравнения: в стремительной Шестидневной войне погибли 777 человек. Вчера было очень много раненых — около 100. Тяжесть ранения в Израиле определяется по степени выживаемости, поэтому безрукие, безногие и слепые могут попасть в категорию ранений "средней тяжести".

Вечером принесли газеты с поименным списком тех, кто погиб накануне. Молоденький сержант из полковой разведки закричал страшным голосом, начал рвать газету и материться сквозь слезы.

Среди убитых был его лучший друг, с которым они проходили действительную службу.

Сегодня пошел третий месяц войны.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

Редкая оказия посмотреть Ливан — с самого утра еду сопровождающим со связистами. Командкар — не такси, а ливанские дороги — не израильские. Та же история: нет центральной власти, нет налогов, нет никакого дорожного контроля и ремонта покрытия. Сплошные рытвины, колдобины, выбоины, на которых машина скачет, как кенгуру, расшибая свои покрышки и наши зады. Мелькание крестьянских соломенных шляп, голубых ооновских касок, и в одном месте — джип с тремя солдатами ливанской армии, единственной, которая не участвует в ливанской войне. Их можно узнать по твердым шапочкам с длинным козырьком вроде того, что до сих пор носит майор Саад Хадад, бывший командир батальона в ливанской армии, а ныне некоронованный король Южного Ливана.

Если перестать думать о крови и политике, Ливан производит ошеломляющее впечатление. "Швейцария!" — говорят даже те, кто в Швейцарии не был. Петляешь между холмами, заросшими неведомыми цветами и засеянными по-солдатски ровными шеренгами зеленых ростков табака, огибаешь спрятавшиеся среди кипарисов одинокие домишки, взлетаешь, виток за витком, в гору и оттуда вдруг видишь огромную долину, в которой через рощи и плантации цитрусовых прорывается река, петляет, переливается через камни, изгибается и исчезает из виду. Начинается спуск. В реке раздевшись догола, купаются солдаты и местная ребятня. Дети машут руками. На одной равнине обогнали мальчика лет 10-и. Я только успел увидеть, как что-то белое мелькнуло в воздухе и упало на пол прямо передо мной, и отшатнулся назад. Водитель затормозил, а сержант хотел броситься к мальчику. И только тут я разглядел, что на полу лежал бутон белой розы. "Цветок!" — удивился водитель. "Цветок, — подтвердил я. — Роза". Мальчик помахал нам рукой и заулыбался. Заулыбался и сержант, за ним водитель и все остальные. Роза была увядшей с поблекшими, вялыми лепестками, которые скоро осыпались. Я вертел ее в руках и думал о том, что хотя бы вот этот единственный мальчик верит в то, что я достоин розы.

Большое арбузное поле. Пыльные маленькие городишки с обязательным базаром и развалом овощей и фруктов. Снова поля. Ржавая придорожная трава и россыпь автоматных гильз. Еще несколько метров — обугленный скелет грузовика. Обгоняем джип, в котором сидят наши офицеры в кокетливых панамах, поля загнуты вверх и прихвачены завязками, как тexasские шляпы. Наскоро построенные бараки для беженцев: листы жести, автомобильные дверцы и доски — из этого материала собраны и сколочены жалкие временки, вокруг которых ползают маленькие дети. А потом из белой пыли и раскаленного полудня выплывает настоящий лагерь: котлован, оцепленный тремя рядами колючей проволоки, с вышками, патрулями и бесконечными рядами туго натянутых палаток, в которых сидят пленные террористы. Их тут около семи тысяч, по двенадцать человек в палатке, откуда их выпускают только в душ и туалет. Целый день они сходят с ума от безделья, спят, молятся, рисуют на песке свои "крестики-нолики", разговаривают, ссорятся или молчат. Командкар огибает котлован, и белые палатки растворяются в кипящем солнце. Мени, водитель, бормочет сквозь зубы: "На кой черт нам столько пленных? Я бы ни одного не брал". "А что с ними делать, если они сами сдаются?" — интересуется смешливый Алекс. Мени молчит и разгоняет машину все больше и больше, пока мы не начинаем материть его последними словами. Пыль. Ее тут больше, чем у Киплинга.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ

Все началось еще в темноте, в два тридцать ночи. Я стоял на крыше нашей виллы, точнее, сидел на стуле без пояса и автомата и пил из фляжки холодный чай. Вначале что-то ухнуло, коротко и гулко. Потом затрещали автоматные очереди, ударил пулемет, снова автоматы, а потом с ровными интервалами стали взлетать осветительные ракеты, обычные и "люстры". Пущенная из миномета "люстра" распускается в воздухе на страшной высоте и висит там минуты три. По радиации сообщили, что патрульный командкар напоролся на мину и один человек тяжело ранен в спину и голову. Через несколько минут к месту взрыва помчался джип, а за ним санитарная машина с дежурным врачом. На крышу прибежал наш ротный и приказал направить в ту сторону прожектор. Сам он смотрел в бинокль, но ничего не было видно. Он

сказал, что патруль проехал в том же самом месте в 23 часа и все было спокойно. Значит, за три часа кто-то из местных заложил взрывчатку и натянул шнур. При повороте командкар чуть съехал с дороги и задел шнур передним колесом. Ротный ушел, и я увидел в бинокль, как на темной дороге появился силуэт санитарной машины. Она остановилась рядом с полем, на котором уже расставили опознавательные сигналы для вертолета: красный и зеленый фонарики и три самодельных факела в консервных банках. Все было как на ученьях. Не прошло и десяти минут, как где-то недалеко затарахтел медицинский вертолет, и я несколько раз включил и выключил прожектор, чтобы пилот не сомневался. Но он все равно проскочил мимо и сделал еще два круга, прежде чем увидел и включил свои фары. Вертолет опустил на поле в туче пыли и с таким ревом, что все местные жители должны были бы проснуться. Из санитарной машины выскочил врач и, придерживая пластиковый пузырь с раствором, побежал рядом с носилками, которые несли четыре темные фигуры. Согнувшись, они добежали до вертолета, и больше ничего не было видно. Только пыль и рванувшийся вверх вертолет, взявший курс на Хайфу.

Тишина давит на барабанные перепонки. Внизу сменился патруль, и новая смена расспрашивает, что там случилось. Рассказываю то, что видел, и слышу снизу: "Опять увольнительные отменяют. Чтоб мне так жить, отменяют".

Скоро месяц, как мы сидим в Ливане. Недавно в "Едиот ахронот" была статья под названием: "Сноб, ты в Бейруте был?" В Бейруте я не был и, честно сказать, не рвусь. Там сейчас и есть самое пекло. Опять пошли слухи, что нас туда скоро перебросят. Как будет называться продолжение этих записок — "Осень в Ливане? Зима в Ливане"?

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Организация Освобождения Палестины, конечно, не идентична палестинцам вообще. Однако вплоть до войны она владела фактической монополией на все, происходившее на палестинской политической улице, и потому является удобной исходной точкой для анализа последствий войны.

Влияние войны на ООП можно определить просто, коротко и в некоторой степени даже тривиально: она ввергла ООП и связанные с нею элементы в состояние "полукризиса". Что это означает? В современной теории международных отношений "кризисом" называют ситуацию государства (или организации), если она отвечает трем признакам: имеется угроза жизненным интересам; эта угроза неожиданна; время для реакции на нее ограничено. В случае ООП часть этих условий была выполнена, другая нет, и потому эту ситуацию уместно назвать "полукризисом".

Война застигла ООП в состоянии интенсивной полемики между различными входящими в нее группами и внутри отдельных групп. ООП видела в себе единственное организованное воплощение палестинского национализма. Сохранение этой организационной структуры понималось всеми, как первейшая задача. Слабостями этой струк-

Профессор Габриэль Бен-Дор

ЛИВАНСКАЯ ВОЙНА И ООП

(доклад на сессии Института стратегических исследований Тель-Авивского университета)

туры объяснялись все неудачи движения. Однако, сохранение организации требует четко сформулированной стратегии, а в этом отношении внутри ООП давно уже не было единства.

Полемика шла, в основном, между двумя главными течениями. Экстремистское крыло отстаивало так называемый "военный вариант": закрепление в южноливанском "кармане" (от Бейрута до реки Литани), создание там автономного палестинского образования, наращивание своих вооруженных сил. По этой точке зрения, ООП должна была опираться на страны "Фронта отказа" в арабском мире и — косвенно — на СССР, чтобы в подходящий момент сыграть роль "детонатора", инициирующего военное столкновение между арабами и Израилем.

Второе течение, центристское, предлагало опираться, в основном, на прозападные арабские режимы и — косвенно — на США, с тем, чтобы развернуть не военное, а политическое наступление.

Разногласия между двумя течениями затрагивали весь спектр вторичных проблем стратегии и тактики ООП: вопрос о создании палестинского правительства в изгнании, об отношении к плану Фахда, к Иордании, Сирии, великим державам, к прозападным арабским режимам, к израильским арабам и, наконец, к самому Израилю (возможность или невозможность "диалога" с какими-то израильскими партиями и т. п.). Эти разногласия время от времени приобретали весьма острый характер и приводили даже к вооруженным столкновениям.

В такой ситуации началась война. Что она принесла? Разгром ООП в Ливане способствовал кристаллизации противостоящих течений и выбору главного направления действий в новых условиях. Этот выбор опроверг предсказания многих специалистов, утверждавших, что после разгрома ООП распадется на небольшие радикальные группы и пойдет по пути усиления международного террора. В действительности произошло прямо противоположное. Центристское течение в ООП укрепилось и даже несколько освободилось от давления радикальных групп "Фронта отказа".

Чем это объяснить? В осажденном Бейруте, где террористы находились в ситуации вынужденной скученности, тесного контакта и общей угрозы, преобладала, конечно (это мог бы предсказать любой психолог), тенденция к экстремизму, тенденция экстремистских групп задавать тон. Затем произошла эвакуация и с ней — территориальное разделение. Эвакуация была проведена планомерно и продуманно. Она явилась результатом сложного

закулисного коалиционного торга. В итоге радикальные группы оказались, в основном, на периферии арабского мира — в Южном Йемене, в Ливии, в Ираке; часть их руководителей была присоединена к центристским группам, став, тем самым, их своеобразными “заложниками”; часть центристских групп была направлена вместе с радикальными — в роли своеобразных “надзирателей”. Все это способствовало ослаблению роли радикальных групп и кристаллизации центристского течения.

Каковы же основные итоги войны? Перечислю их вкратце.

Первое: разгром территориальной базы ООП в Южном Ливане. Кое-кто в Израиле склонен подсмеиваться над этой “базой” — и совершенно напрасно. Она существовала, и важность ее состояла не в том, что она всерьез угрожала северным районам Израиля, а в укреплении позиций радикальных элементов ООП, их ставки на “военный вариант”. Поэтому точное количество километров, на которые следовало продвинуться израильской армии, диктовалось не задачей ликвидации угрозы Галилее, а более важной целью уничтожения всего южноливанского “кармана” ООП, что окончательно похоронило мечты сторонников “военного варианта”. Теория “палестинского детонатора” в Южном Ливане рухнула. С ней рухнула и вся концепция “Фронта отказа”. Долгие годы Сирия громогласно декларировала (и на этом строился ее отказ от политического урегулирования), что она достигла стратегического равновесия с Израилем и способна самостоятельно принять и отразить израильский удар. На этом строились и “военные” расчеты ООП. Вся эта концепция рухнула, и это признают сейчас сами палестинские источники.

Второе: обнаружилось серьезные (гораздо серьезнее, чем прежде) расхождения между ООП и Сирией. Эти расхождения не новы: они проявились уже во время “операции Литани” в 1979 году и снова — в 1981 году; оба раза сирийцы бросали ООП на произвол судьбы. Когда стал очевиден поворот Арафата к “политической” стратегии, в Дамаске сочли необходимым поддержать Абу-Нидала, чтобы он своими нападениями на людей Арафата в Европе сорвал эту стратегию. Мы еще не знаем, не стоял ли Абу-Нидал за покушением на израильского посла в Лондоне. Сегодня расхождения между Сирией и ООП таковы, что дело явно идет к столкновению. Враждебность ООП косвенно распространяется и на Советский Союз, стоящий за спиной Сирии. Страте-

гический треугольник: ООП-Сирия-СССР — сохраняется сегодня лишь символически.

Третье: наряду с крахом "военного варианта" и ухудшением отношений ООП со странами "Фронта отказа" (прежде всего — Сирией), а также с СССР, **усилилась политическая сторона палестинской проблемы**, стала более рельефной необходимость ее решения дипломатическим путем. Мир стал, если можно так выразиться, более чувствительным к этой проблеме. Эту повышенную чувствительность можно видеть даже в израильском обществе, где резко обострилось сознание необходимости и безотлагательности решения палестинского вопроса. Совокупность этих трех итогов войны порождает то повышенное внимание к палестинской проблеме, которое сегодня ощутимо почти воочию — хотя бы по заголовкам ежедневных газет.

Четвертое: активизация усилий по решению палестинской проблемы происходит на фоне географического рассредоточения экстремистских групп ООП и ослабления их покровителей в арабском мире. Это создает **большую свободу действий для Арафата** и его сторонников. Верно, экстремисты ушли из Бейрута со своими ружьями, и мы видели на экранах, как они гордо ими размахивали. Но особого военного значения эти ружья не имеют: 10 тысяч (плюс-минус) "калашниковцев", находящихся в долине Бика, — ничтожный довесок к четвертьмиллионной сирийской армии. Самые боеспособные отряды террористов ушли в Ирак, где были направлены на иранский фронт "добровольцами": для судеб "палестинской революции" они уже потеряны. Таким образом, военное значение ООП сошло до нуля, и тем самым роль "политического" течения — опять-таки — возросла.

Пятое: весь палестинский "сюжет" стал в еще большей степени, чем прежде, зависеть от **общееарабской** политики. Иными словами, обнаружилось, что будущее палестинцев не может быть решено ими самими (или ООП). Оно может быть определено только в рамках общего урегулирования между Израилем и арабскими странами (не обязательно всеми сразу). Снова подтвердилось, что "свобода действий" ООП ограничена: ее самостоятельное значение является чисто морально-пропагандистским; ее способность навязать свои решения Израилю или арабскому миру (вопреки их желанию) равна нулю. При этом война показала также, что **решающими** элементами арабской системы являются не стра-

ны "Фронта отказа", а те режимы, которые в арабском мире считаются прозападными и ориентируются на США.

Шестое: крах "военного варианта" и одновременно рост чувствительности мира к палестинской проблеме продиктовал ООП стремление как можно быстрее предпринять пропагандистское наступление для приобретения политического капитала. Эти же причины продиктовали ей стремление **сблизиться с подлинно весомыми элементами арабского мира** — прежде всего, Саудовской Аравией и Марокко, а также более "проблематичными" Египтом и Иорданией. Нетрудно заметить любопытный факт: все последние пропагандистские обещания и декларации ООП доводятся до сведения Запада через два источника — короля Марокко Хасана и министра иностранных дел Египта Али (в последнее время — также короля Иордании Хуссейна). Это, конечно, не случайно.

Седьмое: исключительно важный новый элемент состоит в **появлении на политической сцене Иордании**, исподволь возвращающейся на позиции, которые она занимала до Рабатской конференции 1974 года (где "единственным" представителем палестинцев была провозглашена ООП). В результате, ООП оказалась в трудном положении: ее военные силы находятся под контролем Сирии, часть центральных учреждений (Центральный Комитет) тоже, поддержка Сирии критична для урегулирования в Ливане, а стало быть — и для будущего ООП. В то же время все свои политические шаги в сторону Израиля или США организация может делать сейчас только через Иорданию. Более того, — те элементы в Израиле, которые готовы говорить об уступках в палестинском вопросе, могут предлагать эти уступки опять-таки только через Иорданию. Выдвижение Иордании на авансцену событий — один из самых серьезных результатов войны. Записать его в актив или в пассив, — зависит, конечно, от того, что мы ждали от войны, каких последствий.

Восьмое: прямым следствием войны явилось принятие в Фезе "**второго плана Фахда**". На этот раз прозападным режимам удалось склонить к согласию не только ООП, но и Сирию. Фезская конференция не отвергла план Рейгана, несмотря на то, что действовать через Иорданию арабам, несомненно, менее удобно, чем через ООП, как предусматривал "**первый план Фахда**".

Девятое: война радикально изменила баланс сил на ближневосточной сцене. Акции Советского Союза упали, акции Соеди-

ненных Штатов поднялись. Акции Сирии упали, акции Саудовской Аравии, Египта и Иордании поднялись. Самое любопытное, однако, состоит в том, что акции ООП и Израиля упали, так как они теперь более открыты американскому давлению. Если добавить к этому ухаживание прозападных арабских режимов за Вашингтоном, то станет очевидным, что ключ ко всей ближневосточной ситуации оказался сегодня в руках Соединенных Штатов. Ничего не сделав, они выиграли больше всех. Такое тоже случается в политике: бездействие порой оказывается самым мудрым способом действия.

Сегодня ООП стоит перед выбором просирийской или проиорданской ориентации. В сущности, эти две ориентации всегда стояли в центре всех внутриооповских дискуссий, и порой побеждала одна, порой — другая. Это легко было заметить на Западном берегу. Когда арабские страны решали, что "единственным законным представителем" палестинцев является ООП, там тотчас исчезали иорданские флаги и лозунги и появлялись портреты Арафата. Стоило арабским странам решить, что Хуссейн имеет полномочия говорить от имени палестинцев, как на Западном берегу сразу становились слышны голоса тех, кто стоит за Хуссейна. Такова жизнь, и значение этой "поддержки" Арафата или Хуссейна на территориях не следует преувеличивать.

На сей раз трудность выбора связана с тем, что это должен быть не тактический, а стратегический выбор. Между тем, ориентация на Иорданию означает угрозу разрыва с Сирией и, как следствие, реальную угрозу раскола в ООП. Асад уже в 1976 году угрожал "сместить Арафата", и сейчас он имеет для этого реальные возможности: под его контролем находится 10 тысяч бойцов ООП и весь ее Центральный Комитет.

Представляется, что в арабском мире есть элементы, которые готовы были бы способствовать такому расколу. Чтобы добиться этого, они должны сделать Арафату достаточно соблазнительные предложения, возможность чего зависит также от Иордании, Израиля и США. Будут ли такие предложения сделаны и что изберет ООП — один из главных сегодня вопросов. У меня нет на него ответа. Не потому, что я не верю в возможность предсказания будущего (по крайней мере, полунаучного предсказания), но потому, что, по-моему, сами палестинцы еще не имеют такого ответа. Война ввергла их в состояние идеологического и стратегического замешательства и хаоса. У нас существует тенденция

демонизировать ООП, — да и других наших противников тоже, — приписывая им маккиавелиевский ум, наличие заранее разработанных планов, которые вытаскиваются из кармана в нужный момент. Я не думаю, что у ООП был или есть такой план. Я убежден, что ее лидеры сейчас действительно растерялись, и все вопросы для них так же открыты, как для нас.

Итог: война, вне всякого сомнения, не решила палестинскую проблему. Но она открыла ряд новых возможностей и путей. Это можно выразить иначе: она изменила круг параметров палестинской проблемы — вычеркнула одни и добавила другие. Она ликвидировала “военный” параметр и добавила “дипломатический”. Большинство новых параметров связано с Соединенными Штатами. Я хочу повторить свой основной тезис: как ООП, так и Израиль вышли из войны ослабленными в отношении США. Это не означает, что они вышли ослабленными в отношении друг друга или третьих сил: Израиль, например, вышел из войны усиленным по отношению к Сирии, а ООП — в отношении своих экстремистских элементов. Однако и ООП, и Израиль вышли из войны ослабленными по отношению к США, и поэтому их первоочередная задача состоит в том, чтобы сформулировать такой политический сценарий, который был бы приемлем для Вашингтона. В этом сегодня суть игры, и ООП это понимает; во всяком случае, все ее усилия направлены сейчас именно в ту сторону.

И последнее: война разрушила так называемый “консенсус” (единодушие) и в ООП, и, кажется, также в Израиле. Будучи гражданином демократического государства, я никогда не верил в благотворительную роль “консенсусов”: ни одна серьезная политическая проблема не решается “консенсусами” — проблемы решаются через конфликты, через разногласия, через борьбу мнений. Поэтому я полагаю, что крах “консенсусов” — это положительный итог войны. И любопытно, что они рухнули самым непредвиденным образом. ООП стремилась к вооруженной борьбе против Израиля, базируясь на своем южноливанском “кармане”, — а в результате этот “карман” уничтожен и всякий “военный вариант” рухнул. Израиль начал войну без согласования с США и добился блестящих военных успехов, а в результате — оказался более открытым американскому давлению. Соединенные Штаты ничего не делали — и вышли из войны хозяевами ситуации. Возможно, в этом есть некий важный исторический урок, требующий дальнейших размышлений.

ПАЛЕСТИНСКИЙ ВОПРОС: ЕВРЕИ И АРАБЫ

(два интервью)

Рафик Халаби, бывший обозреватель израильского телевидения на территориях

ВЫБОР МЕЖДУ ПЛОХИМ – И ХУДШИМ

— Из опыта еврейской истории, равно как из опыта других народов, можно заключить, что если в сознании народа укореняется (пусть даже внесенная извне) идея, что он представляет собой "особую нацию", то это — поворотный исторический пункт: такому народу "суждено" стать нацией, даже если на это потребуются десятки или сотни лет. Думаете ли вы, что такая "национальная идея" укоренилась сегодня в умах палестинских арабов?

— Вы задали фундаментальный вопрос. Тут — основа всего израильско-палестинского конфликта. Однако прежде я хотел бы сказать следующее.

По рождению я друз. Но судьба моя связана с Израилем. Я израильский гражданин, офицер израильской армии, израильский патриот. И как израильтянин, я считаю, что при нынешнем состоянии мира существование особого еврейского государства является абсолютной необходимостью. В нынешней ситуации у евреев нет иного выхода, иного решения "еврейского вопроса". Но что я понимаю под "еврейским государством"? Страну с преобладанием еврейской культуры, языка, традиций, — но никак не арафатовскую "светскую, демократическую Палестину со смешанным арабо-еврейским населением".

Сегодня такого еврейского государства, которое я хотел бы видеть, еще нет. Сегодня, в переходный период, внутри Израиля живет около двух миллионов палестинцев, которые начали ощущать себя отдельным народом. Они ощущали это и раньше, но сегодня подъем национального самосознания захватил весь район —

Западный берег, сектор Газы, даже некоторые области Галилеи, где живут израильские арабы.

Поэтому сегодня израильско-палестинский конфликт — уже не военный, не политический, а — национальный. Это конфликт двух народов из-за одной и той же земли — Палестины, она же — Эрец-Исраэль.

Как израильтянин, как израильский араб, как израильский друг, я предпочел бы, чтобы этот конфликт был не национальным, — тогда его легче было бы разрешить. Но сейчас идея "особого палестинского народа" стала такой же реальностью для палестинских арабов, как идея "особого еврейского народа" — для евреев, и я не вижу легких путей решения такого конфликта. Будучи израильтянином, израильским офицером и патриотом, я естественно борюсь за свою страну. Но я понимаю, что будь я палестинским арабом, я так же сражался бы за **свою** страну, за **свои** права, права **своего** народа. И что могло бы посулить мне в такой ситуации израильское правительство, Бегин или Шарон?

— В прошлом году арабские студенты на территориях провели опрос по заданию журнала "Тайм". Данные опроса показали, что чуть ли не 80 процентов населения территорий высказываются в поддержку идеи собственного, "палестинского" государства. Как вы относитесь к этим данным?

— Меня и моих коллег-журналистов, занимающихся проблемами территорий, эти данные нисколько не удивили. Для нас в них не было ничего сенсационного.

— Иными словами, вы доверяете результатам этого опроса, считаете, что они подтверждают ваши слова о повсеместности "палестинской идеи" на территориях, так? Дело в том, что в Израиле опрос критиковали, как проведенный непрофессионально и тенденциозно...

— Вполне возможно, что студенты, проводившие опрос, действительно не были профессионалами. Возможно также, что их данные не вполне точны. Но они близки к истине. И это свидетельствует о нашем главном просчете — затянувшемся пренебрежении к процессу становления палестинского национального самосознания.

Я готовлю сейчас книгу о Шестидневной войне. Я встречался с Хаимом Герцогом, который был тогда военным губернатором территорий, с Узи Наркисом, который командовал войсками, взявшими Иерусалим, со многими другими. Все они вспоминают,

что были потрясены результатами войны. Наркис припоминает, как Даян сказал ему, что если удастся захватить хотя бы Латрун, это будет огромная победа. Евреи были потрясены тогда собственными достижениями и в результате просмотрели важную деталь — рост палестинского самосознания, начавшийся еще до Шестидневной войны. Рост палестинского самосознания начался в Хевроне, в Шхеме, в Иерусалиме, когда солдаты Хуссейна расстреливали палестинских студентов, молодежь, подростков, протестовавших против иорданского правления. При Хуссейне наметились две тенденции: растущая проиорданская ориентация палестинской верхушки в городах и деревнях Западного берега — и растущее ощущение себя “палестинцами” в массах.

После 1967 года на территориях возник политический вакуум. Многие палестинские лидеры просили тогда разрешить им создать собственные политические партии. Но Даян сказал, что при израильском управлении этого никогда не будет. В результате этот вакуум заполнила ООП. В 1968 году израильские военные власти изгнали всех открытых ООПовцев с территорий. Но остался Национальный Консультативный Совет, который постепенно перешел на ООПовские, националистические позиции. Сегодня, как я уже сказал, рост национализма можно заметить повсеместно. Вот только один пример: в 1967 году на территориях был только один колледж, сегодня их там четыре, и чему в них учат? Не просто арабскому национализму, но именно палестинскому. Все образование пронизано идеей существования особой палестинской нации — как части арабской, верно, но отдельной, судьба которой должна решаться самими палестинцами, а не Египтом, Саудовской Аравией или Ираком. Другой пример — культура палестинцев. Сегодня эта культура, и на территориях, и в изгнании, переживает подлинный ренессанс, и вся она: палестинский театр, палестинская литература — проникнута тем же духом. Идее “палестинского национализма” подчинены школьные программы, лозунги женского движения, декларации профсоюзных организаций. Поэтому я и могу с полным основанием утверждать, что рост национального палестинского самосознания стал сегодня если не всеобщей, то главной тенденцией на территориях.

— Иными словами, вы утверждаете, что подавляющее большинство палестинских арабов выступает сегодня за независимость и собственную государственность. Но вот профессор Мильсон предложил так называемую

“новую политику” опоры на деревенские лиги на территориях, исходя из предположения, что крестьяне — эта самая значительная часть палестинцев, — напротив, согласны на автономию, а лозунги независимости и государственности поддерживают лишь потому, что запуганы ООП. Одно утверждение — против другого утверждения. А каковы доказательства?

— Хорошо, я дам вам доказательства. Самая сильная деревенская лига сложилась в районе Хеврона. Ею руководил Мустафа Дудин, на которого профессор Мильсон делал главную ставку и который, по его утверждению, является выразителем позиции палестинских крестьян. Так вот, за те месяцы, когда стал ясен план замены националистически настроенных мэров главами деревенских лиг, самые большие и яростные демонстрации состоялись именно в хевронских деревнях. Демонстрации против увольнения мэров прошли в Дуре — родной деревне Дудина. Даже члены его собственного клана были арестованы за участие в них. То же самое произошло в деревнях вокруг Рамаллы — другом “оплоте” деревенских лиг. Впервые за многие годы на демонстрации вышли жители деревень вокруг Дженина, где также была создана деревенская лига.

По официальным данным в демонстрациях участвовало не больше шести тысяч человек. Но если проанализировать, кто эти люди, то окажется, что большинство их — из деревень. Те крестьяне, которые приходят на заработки в Израиль, те молодые деревенские ребята, которые подхватили идеи палестинского национализма в городах — в школах, в колледжах. Большинство демонстрантов в Бир-Зейте составляли юноши из деревень.

Конечно, не деревенская молодежь задает тон в антиизраильских демонстрациях — она не так хорошо организована, как молодежь в городах. Мильсон был отчасти прав, когда утверждал, что палестинская деревня отличается от города по уровню националистических настроений. Национализм феллаха, действительно, отличается от национализма мэра Рамаллы. Но это не значит, вопреки Мильсону, что феллахи не чувствуют себя палестинцами.

Я даже готов согласиться с Мильсоном в его утверждении, что значительная часть населения территорий — может быть, даже половина — против демонстраций, насилия, кровопролития, активной борьбы и так далее. Возможно, феллахи и готовы удовлетвориться меньшим, чем собственное государство, я готов согласиться. Но что мы вообще можем им дать? Какова наша

цель? И тут таится суровая правда, которую профессор Мильсон не мог не знать.

Большинство палестинцев — феллахи. Они работают на земле. Земля для них важнее политики, важнее всего. И если мы забираем у них землю, даже часть ее, мы делаем их своими непримиримыми врагами. Мы не можем компенсировать это строительством дорог, электрификацией и прочими благами современности — их интересует прежде всего земля, они феллахи. И тут возникает противоречие: мы хотим опереться на умеренные элементы деревни — и одновременно забираем у крестьян землю, которой они владеют уже сотни лет. Чего можно достичь на этом пути?

— *Вы говорите о земле. Тогда разрешите вам напомнить, что ООП угрожает нам гораздо большим — уничтожением еврейского государства вообще, а может — и самих евреев. Разве это одинаковая справедливость: с одной стороны, угроза уничтожения, с другой — даже если согласиться с вами — угроза лишения земли? Не оправдана ли этим израильская политика на территориях?*

— Я отвечу, но начну издаleка. Недавно руководитель израильского телевидения заявил, что хочет сделать его "сионистским". Я не понимаю этого. Какой сионизм он имеет в виду — сионизм Амоса Оза или Менахема Бегина? Он сказал далее, что наше телевидение должно стать "еврейским". Какое еврейство он имеет в виду: как у Агудат Исраэль или как у Шели?

Я хочу этим подчеркнуть: в Израиле существует множество различных точек зрения, и в этом его сила. В нем есть экстремисты и есть умеренные. Когда в 1948 году решался вопрос, какой быть стране, победили умеренные. Они отвергли идеи теократии, экспансии, империализма и создали Израиль как свободное, демократическое, эгалитарное государство. И это кажется мне основной причиной того, что Израиль, вопреки невероятным трудностям, продержался столько лет.

В палестинском движении сегодня тон задают экстремисты, вы правы. Они не представляют всех, они не представляют даже большинство, но именно они задают тон. Однако я с тревогой вижу, что и в Израиле становится все больше людей, жаждущих "сильной руки". Сегодня уже 40 процентов населения Израиля говорят, что если идея демократии вступит в противоречие с идеей неделимой Эрец-Исраэль, то они готовы предпочесть Эрец-Исраэль. Я слышу, как Ликуд говорит о "двух берегах Иордана" и — как

минимум — обо "всей Эрец-Исраэль". А это уже означает, что мы намерены отнять не только землю, но и свободу другого народа. Так что это вопрос не только о земле.

Но поставим вопрос резче. Допустим, что ООП признает резолюцию 242, признает Израиль, — разве мы согласимся отдать ей территории? Допустим, что Иордания станет, как того хочет Шарон, "палестинским государством", — разве мы готовы вступить с ней в переговоры о мире? Мне могут возразить, что мы готовы, — но я хотел бы услышать это от правительства. Я хотел бы услышать, где проходит черта, на что оно готово.

Большинство палестинцев, да и прочих арабов прекрасно понимает сегодня, что они уже не в состоянии уничтожить Израиль. Это не значит, конечно, что Арафат и его соратники отказались от такой надежды. Но мы знаем реальность нашего региона и понимаем, что их надежды утопичны. Нам не грозит уничтожение. И потому мы можем и должны пойти на компромисс.

К сожалению, сегодня с обеих сторон тон задают экстремисты. ООП требует себе всю Палестину, от Иордана до моря, и Ликуд требует себе всю Эрец-Исраэль, от моря до Иордана. Каждая из сторон хочет отрезать кусок живого тела другой стороны, каждая допускает только "одно из двух". Я не верю в разговоры об "исторических правах" палестинцев или евреев. Меня не интересуют оба вида экстремизма. Я израильтянин, и меня беспокоит сохранение демократии в Израиле и его безопасность. Мне говорят: сторонники ООП хотят нас уничтожить, поэтому мы должны держать их под контролем; это понятно, хотя я могу с этим и не соглашаться: на мой взгляд, угроза уничтожения не так уж реальна. Но пытаться под этим предлогом удержать под контролем целый народ — это безнадежная попытка. Можно преуспеть в ней сегодня, но обязательно проиграешь завтра. Она неминуемо приведет к увековечиванию конфликта.

— Вы упомянули о деревенских лигах, развитие которых начал поощрять Мильсон. Позже их лидеры переименовали эти лиги в "палестинские" и даже выступили с предложением, объединив их, создать нечто вроде совета самоуправления на территориях. Недавно лиги провели большой митинг, на котором поддержали план Рейгана и призвали Иорданию признать Израиль и вступить с ним в прямые переговоры. Каково реальное значение лиг? Действительно ли это — те умеренные элементы, с которыми Израиль мог бы вступить в диалог?

— На мой взгляд, значение лиг сильно преувеличено. Видите ли,

на территориях чуть не все хотят прикупить клочок земли, пригласить в гости родственников из Иордании, получить финансовую помощь и так далее. Гражданская администрация потребовала, чтобы все эти дела оформлялись только через лиги и тем самым искусственно повысила их роль. В сущности же, лиги играют ту же нечистую роль, которую деревенские старосты играли при мандатных властях — служат посредником между властями и населением. Популярны ли они? Насколько я представляю, палестинцы принимают их, как неизбежность, и — ненавидят.

— В прошлом году в израильских газетах было опубликовано открытое письмо анонимного "палестинского интеллектуала" профессору Мильсону, в котором автор утверждал, что главы деревенских лиг — просто маленькие местные деспоты, главарь местных кланов и банд. Так ли это?

— Я не буду клеить ярлыки вроде "деспотов", "гангстеров" или "феодалных баронов". Но главы деревенских лиг действительно опираются на силу — их сопровождают телохранители, у них есть оружие, они разъезжают на джипах. В этом они недалеко ушли от Арафата. И Арафат, и Дудин имеют влияние лишь потому, что у них сила, у них оружие, они наводят страх. Да, арабский мир — все еще жестокий мир, он управляется жестокими традициями, а в палестинском обществе на это накладывается еще отсутствие государства и правительства, навыков демократии. Я не хочу приукрашать и городских мэров. Но они, по крайней мере, играли символическую роль политических лидеров, и никакое их устранение неспособно лишить их этой роли.

В то же время сегодня в палестинском обществе происходят ободряющие сдвиги. Все громче раздаются протесты против насилия и экстремизма. Все меньше роль религиозных кругов. Конечно, крестьяне еще молятся, как того требует традиция, но во многом другом они так же мало считаются с религиозными предписаниями, как израильтяне, даже едят и пьют в рамадан. Палестинское общество находится на пути к модернизации, и с этим нельзя не считаться.

— Сейчас военные власти на территориях молчаливо поощряют проиорданские элементы, продолжая политику подавления элементов проопповских. Приносит ли эта политика какие-либо плоды? Удалось ли, как того хотел Мильсон, "выкорчевать" влияние ООП на территориях и поднять влияние умеренных?

— Это была пустая затея. Когда меня спрашивают, в чем со-

стояла главная ошибка Мильсона, я отвечаю — в том, что он думал, будто ему удастся выкорчевать палестинское национальное самосознание, палестинский национализм.

— Означает ли это, по-вашему, что выход только один: дать палестинцам независимость и притом как можно скорей?

— Я против этого. Независимость сейчас была бы плохим подарком — прежде всего, для самих палестинцев. Они не готовы к ней. Нет, нужно сделать все, чтобы не дать им независимость сейчас. Прежде следует подготовить их к этому, создать больше доверия с обеих сторон. Но в конечном счете перед нами действительно только два решения: аннексия — или независимость. Оба очень плохи. Но абсолютно хороших решений вообще не существует. Перед нами выбор между плохим и худшим. Аннексия принесет нам самим — и палестинцам — больше вреда, чем независимость, — хотя независимость тоже принесет вред. Аннексия — решение экстремистов. Но экстремисты всегда навлекали на еврейский народ самые тяжкие трагедии. Сегодняшние экстремисты хотели бы подчинить два миллиона палестинцев и править ими, как подчиненным народом. Я утверждаю, что это не просто опасно, — это невозможно.

Профессор Менахем Мильсон, бывший руководитель израильской гражданской администрации на Западном берегу

НЕ ТОРОПИТЬСЯ С ВЫБОРОМ

— Что представляет собой палестинская проблема? Что стоит за ней — политический конфликт, национальный или религиозный?

— В основном, это конфликт двух национальных движений. Разумеется, чем дольше длится любой конфликт, тем сильнее тенденция толковать его все шире и глубже. Начинают толковать его как столкновение двух религий, двух разных цивилизаций, даже Запада и Востока вообще. Но историческая честность обязывает нас видеть тут конфликт между двумя национальными движениями и, как следствие, между двумя политическими устремлениями.

— Значит, вы не видите здесь столкновения несовместимых культур?

— Это не конфликт разных цивилизаций. В том же смысле, в каком евреи являются сегодня членами современной цивилизации, верхи арабских стран также стремятся к модернизации своих стран. Они отнюдь не хотят возвращения к обществу хомейнистского типа.

— Тем не менее многие израильтяне говорят о непреодолимости этого конфликта...

— У евреев вообще существует тенденция искусственно углублять свои конфликты, приписывать им чуть ли не глобальные измерения, тем самым превращая их в вечные и непреодолимые. Внешний мир слишком долго навязывал нам статус народа-изгоя. Некоторые евреи внутренне приняли для себя этот статус, они говорят: ну, что ж, мир таков, нам суждено вечное одиночество, борьба со всем миром. Но это не тот сионизм, под которым я готов поставить свое имя.

— Что же явилось причиной нынешнего конфликта?

— Он возник просто потому, что первые сионисты пришли в Палестину, когда здесь уже было собственное арабское население. Не важно, что оно было арабское, важно, что оно **уже было**. В то время оно находилось на ином уровне национального самосознания, но по мере роста национализма в третьем мире рос и арабский национализм. Постепенно сложилось противоречие между двумя национализмами — еврейским и арабским, и конфликт приобрел характер политического спора об одной и той же земле.

— И какую же позицию в этом споре занимаете вы?

— Как и большинство израильтян, я всегда принимал принцип раздела Палестины, как способ возможного решения конфликта. Не потому, что у меня нет сантиментов ко всей Эрец-Исраэль. Сантименты у меня есть, но следует понимать, что существуют границы — не только в смысле соотношения сил, но и в моральном смысле. Если мы хотим справедливой реализации наших политических устремлений, мы не можем полностью игнорировать устремления других. Но со стороны арабов нет эквивалентного отношения к проблеме. Их требования были и остаются значительно более радикальными.

— Вы говорите о политически активной их части?

— Я говорю о политически активных, которые в арабском об-

шестве составляют меньшую часть, чем в израильском. Идеология, которую они провозглашают, страдает тем недостатком, что не признает евреев народом. Они считают евреев религиозной группой, которая не нуждается в своем национальном государстве.

— *Простите, но разве это не означает как раз, что они видят конфликт, как религиозный, видят в евреях нечто культурно-чуждое?*

— Это верно, но с оговорками. Видите ли, ООП считает себя одним из отрядов арабского национального движения. Каждый такой "отряд" призван освободить свою часть "арабского отечества" и ею управлять. Те палестинские лидеры, которые хотят, чтобы вся Палестина стала частью арабского мира, конечно настаивают на расширении и углублении масштабов конфликта. Но это только одна сторона дела. Другая состоит в том, что они ищут обоснования своих претензий. Если признать евреев народом, то придется признать за ними право на собственное национальное государство, а если это не народ, то он может жить, как религиозная группа, среди других народов, даже среди арабов, в конечном счете.

— *Вы утверждаете, что конфликт имеет национальный характер. Я знаю, что стоит за еврейским национализмом: Библия, многовековая история, культура, традиции. Я могу понять, что стоит за арабским национализмом. Но сейчас многие говорят о "палестинском национализме", как о чем-то отличном от арабского, говорят, что палестинцы все более начинают смотреть на себя, как на таких "евреев арабского мира", видеть в себе отдельный от прочих арабов народ. Существует такой "палестинский национализм"? Или это пустое слово?*

— Нет, палестинский национализм, конечно, не пустое слово.

— *Что же за ним стоит?*

— Прежде всего — общий арабский национализм. Арабский национализм основан прежде всего на общности языка и культуры. Ислам тоже играет в нем важную роль, хотя среди арабских националистов есть много христиан, некоторые даже были его глашатаями, как Мишель Афлак, идеолог партии Баас. Но даже для них, в той мере, в какой они принимают общую рамку арабского национализма, Мухаммад — герой и Саладин (хотя он был курдом) — тоже герой, потому что боролся с крестоносцами. Арабский национализм интерпретирует всю арабскую историю, как историю становления единой арабской нации.

— Я не вижу тут места для палестинского национализма.

— Верно, вы не найдете в заявлениях палестинских лидеров сочетания “каумыя фаластыныя” (“палестинский национализм”). Его нет. Есть только “арабский национализм”. В “Палестинской хартии” восемнадцать раз говорится о “палестинском народе” и семнадцать раз это упоминание сопровождается эпитетом “арабский”. Только один раз этот эпитет отсутствует — во фразе, где говорится, что этот народ является “интегральной частью арабской нации”.

— Значит, особое “палестинское” самосознание — все-таки пустое слово?

— Нет, это не означает, что нет палестинской самоидентификации, осознания себя палестинцами, или, пользуясь современным словарем, палестинского национализма. Палестинцы рассматривают себя как часть и слагаемое некоего большего национального единства. Однако внутри этого единства у них есть чувство личности. Оно развилось, преимущественно, благодаря конфликту с евреями. Но это не значит, что оно пустое.

— Выходит, основа этого чувства “палестинизма” — чисто политическая? За ней нет особой палестинской истории, культуры, традиций?

— Нет, в основном, это политическое ощущение. Когда политический конфликт длится много поколений, он неизбежно порождает и обостряет ощущение личности. Но в то же время палестинцы не определяют себя, как отдельный народ. Они считают себя культурно и исторически частью арабской нации, и свою борьбу за Палестину объясняют стремлением вернуть ее назад в великое арабское отечество.

— При том, что у них есть и политический конфликт с другими арабскими странами?

— У них есть горечь, есть претензии к арабскому миру, но они считают себя его частью и определяют эти конфликты, как конфликты внутри одной семьи. Когда в 1964 году Арафат основал “Эль-Фатх”, Западный берег был под властью Хуссейна, однако действия “Эль-Фатха” были направлены не на свержение власти Хуссейна, они были направлены против Израиля.

— Тут мы подходим к ключевому пункту. Вы сказали, что раньше палестинцы находились на более низком уровне национального самосознания,

сегодня этот уровень возрос. Но охватывает ли он в одинаковой мере всех палестинцев — город и деревню, крестьян и интеллектуалов, разные слои?

— Нет, конечно. Но сегодня они имеют политическую элиту, которая формулирует идеи и устремления. К несчастью для них — и для нас тоже, — доминирующая идея этой элиты, та, которую выражает ООП, состоит в том, что Израиль — это изгой. И эта идея стала своего рода догмой. Те арабы, которые отклоняются от нее — как, например, Садат — объявляются еретиками. И пока эта догма не изменится, конфликт будет продолжаться.

— Предположим, мы провели бы сегодня среди палестинцев референдум по вопросу о палестинском государстве, — как реагировали бы разные слои?

— Есть ситуации, когда референдум ничего не говорит. Три четверти еврейского народа "проголосовали" против сионизма, не приехав в Израиль. Но я не принимаю этот референдум, потому что для меня сионизм — это мой выбор. После возвращения из Иерусалима Садат провел референдум, и египтяне на 99 процентов одобрили его визит. Но если бы референдум был проведен до визита, сомневаюсь, поддержало ли бы его даже 20 процентов. Означает ли это, что мы не должны были идти на мир с Садатом? Что мы должны отклонить мирную инициативу Фахда или Хуссейна, если они вдруг надумают прибыть в Иерусалим? Разумеется, нет. Как видите, есть условия, когда референдумы малопоказательны. Я предпочел бы говорить о позициях тех групп, которые являются политически активными, политически значимыми, потому что, как показал референдум Садата, политический шаг лидера может изменить настроения масс. Конечно, я могу описать и позиции других групп, но каково их политическое значение, если у них нет инструмента для выражения своих позиций или возможности для создания таких инструментов?

— И все же — каковы эти позиции других групп?

— В интеллектуальных кругах традиционная политическая догма все еще очень сильна. Некоторое время от времени высказывают мысль, что, быть может, пришло время признать Израиль, но едва на них нажимают, тут же идут на попятный и говорят, что это их личное мнение, а на деле они целиком за "церковь", то есть за ООП. Они трусливы, они лицемерны. Но я не думаю, что простые люди в такой же мере разделяют традиционные позиции. Если

бы они имели другое руководство, они могли бы поддержать другие идеи. Нынешняя догма — это всего лишь **одно из возможных** политических выражений национальных устремлений палестинцев.

— *И тут мы подходим к движению “деревенских лиг”?*

— Вот именно. Движение лиг — это тоже арабское, палестинское национальное движение. Но оно готово признать Израиль как реальность. И именно поэтому сторонники ООП называют их предателями — как Садата. Они не обладают силой и возможностями Садата, это, в основном, крестьяне, которых богатые городские слои десятилетиями эксплуатировали и не допускали к участию в политической жизни. Теперь среди них появились свои образованные лидеры, и они хотят сами говорить за себя. История показывает, что отклонения от догмы очень часто зарождаются либо на верхах общества, либо в его низах. Именно на периферии политического истеблишмента можно найти идеи, которые способны вытеснить догму, не отвечающую новым обстоятельствам. Такие люди, как мэр Бейтлехема Фрейдж, понимают, что доктрина ООП не выдержала проверки реальностью, что она неприемлема для политического мышления Запада (в поддержке которого они заинтересованы), но у них не хватает смелости выступить против ООП. Люди из деревень тоже понимают несоответствие между догмой и жизнью, но нашли смелость заявить: мы хотим мира с Израилем. Они тоже ощущают свою арабскую и палестинскую принадлежность, они вовсе не за то, чтобы примириться с израильским присутствием, с аннексией территорий. Но под давлением обстоятельств они поняли, что единственный способ, каким они могут добиться хотя бы некоторых из своих целей, — это переговоры. И теперь их успех или поражение зависят от того, какую поддержку они получают в Израиле.

— *Но израильское общество их не поддерживает, не так ли?*

— Трагедия состоит в том, что их атакуют, причем сразу с двух сторон. Израильские “левые” нападают на лиги, потому что лиги разрушают их стройную концепцию, будто единственный способ демонстраций симпатий к палестинцам состоит в “диалоге” с ООП. Израильские “правые” тоже боятся лиг: ведь неуступчивость ООП оправдывает позиции наших ястребов. В сущности, и левым, и правым даже удобно, что им не с кем разговаривать, — это укрепляет их в традиционном еврейском ощущении своего одиночества.

— Но многие левые говорят, что лиги никого не представляют, что нет разницы между Дудином и Арафатом, потому что влияние обоих одинаково зиждется на запугивании масс...

— С той разницей, что "ставят" они все-таки на Арафата.

— Это вы сказали. Я хотел спросить: может быть, влияние лиг мнимое, может быть, вы искусственно создали его, дав им деньги, оружие, власть?

— Дело совсем не в этом. Конечно, арабское общество не похоже на израильское, влияние вооруженных кланов и мафий в нем велико, но проблема лиг не имеет к этому отношения. Влияние лиг связано с тем, что люди деревень поддерживают их программу. Это можно было увидеть совсем недавно, на митинге, созванном лигами в Хевроне.

— Простите, но человеку из России не так уж трудно представить себе такой "митинг солидарности", в особенности если его организаторы пользуются поддержкой властей.

— Ха! Полиция их привела? Понятно. А когда проходит митинг в поддержку ООП — он, конечно, "настоящий", да? Разумеется, всегда есть активисты. Но этого недостаточно. Десяток активистов не может принудить 2000 человек собраться на митинг. У лиг нет таких средств принуждения. Это у ООП есть такая сила. Сегодня уже не секрет, что только в политический "патронаж" на Западном берегу ООП вложила за последние шесть лет полмиллиарда долларов.

— Но вы тоже поддерживали лиги деньгами!

— Я мог бы доказать вам, что это неправда. Я бы хотел иметь хоть десятую часть тех средств, которые вложила ООП. Истина состоит в том, что лиги, будучи первоначально организациями развития деревень, имели некоторые скромные суммы на строительство дорог, электрификацию, водоснабжение. Но знаете, это все неинтересно. Куда интереснее эта вот еврейская черта: евреи просто органически не могут поверить, что есть такие палестинцы, которые искренне хотят мира с ними. Если кто-то хочет мира — значит, тут что-то не в порядке! Если кто-то хочет их убить, "сбросить в море" — это естественно, это они понимают. Но если кто-то говорит: я добиваюсь своих прав путем переговоров с вами — о, тут какой-то подвох, этот человек либо хитрит, либо подкуплен! Мы не подкупали крестьян. Но вот ООП дей-

ствительно пыталась их подкупить, а когда это не удалось — запугать. Некоторые деревенские лидеры были убиты, некоторые ранены, сын одного активиста лиги из Бейт-Ауа целый год подвергался пыткам в Бейруте — хотели, чтобы его отец вышел из лиги, его спасло только вхождение израильских войск в Бейрут. Но нет — израильские интеллектуалы не могут этому поверить!

— Почему?

— Почему? Потому что тогда им пришлось бы пересмотреть все свои позиции. Но нет, наши интеллектуалы продолжают твердить, что ООП вот-вот станет “умеренной”, примет резолюцию 242, изменит свою хартию и так далее. ООП продолжает демонстрировать, что ее цель — полное уничтожение Израиля, но наши интеллектуалы не хотят этого слышать. И вот вместо того, чтобы приветствовать появление лиг, воскликнуть: о, это именно те люди, которых мы ищем! — они говорят: э, нет, это — квислинги! Ха! Почему они квислинги? Потому что не Шуламит Алони их открыла? Что же, каждый араб, который не считает Израиль изгоем, — квислинг? Садат — тоже квислинг? ООП именно так его называла...

— Это верно. Я говорил с одним из таких интеллектуалов. Он был в глубоком унынии. Он говорил: совершенно не с кем разговаривать по ту сторону. ООП не хочет диалога, а других нет...

— Вот именно. Потому что в других он не верит. Почему? Может быть, если бы он их увидел, он понял бы, что есть с кем говорить? Верно, их мало, они не доминируют в арабском мире, но они есть...

— Видите ли, он объяснял свое утверждение тем, что арабский мир — совершенно чуждое нам общество...

— Ну, и что! Верно, это другое общество — но ведь мы только и делаем, что разговариваем с другими обществами. Разве мы не разговариваем с Египтом? Почему же нельзя разговаривать с лигами? Левые твердят: “Дудин никого не представляет! Он не был демократически избран!” Интересно, Арафат был демократически избран? Может, король Хуссейн был демократически избран? В лигах больше демократии, чем в ООП. Их лидеры испытали влияние израильского общества, они поняли,

что нельзя добиться своих целей силой, что должно быть соглашение. И людей, собравшихся на митинг в Хевроне, никто не принуждал аплодировать. Они говорили, что хотели, пусть это и не очень по душе нынешнему израильскому правительству — ведь они требовали своих прав, национального самоопределения, объединения с Иорданией и так далее. Но при этом они отвергали ООП. И вот странная вещь, которая должна была бы заставить нас присмотреться к самим себе: почему такое движение, как "Мир сегодня", вместо того, чтобы признать в них союзников, упорно старается заигрывать с той организацией, которая убивает их лидеров? А им отказывает в признании — потому что они, видите ли, привлекали крестьян не одними только "интеллектуальными аргументами", но и реальными проектами развития. С каких это пор политическое влияние основывается исключительно на интеллектуальном убеждении? Даже в таком демократическом обществе, как Израиль, политические партии и движения добиваются поддержки не одними лишь интеллектуальными доводами. Использование других средств (разумеется не диктаторских или принудительных, но в рамках закона) — это часть политической игры во всем мире. Но странно, — когда ООП вкладывает полмиллиарда долларов, чтобы купить себе влияние на Западном берегу, наши интеллектуалы считают, что это "кошер". А когда израильское правительство — наконец, после четырнадцати лет бездействия! — дает немного денег не ооповским мэрам, как оно делало в прошлом, но стоящим за мир лидерам деревенских лиг, для развития деревень, — сразу поднимается крик: это некошерно! Поразительное лицемерие!

— Итак, выход из тупика вы видите в переговорах. И насколько я понимаю ход ваших мыслей, вы стоите за переговоры без заранее определенной, жесткой "формулы мира": нужно ввязаться в процесс, а он сам откроет какие-то новые, сейчас еще невидимые, может быть — даже еще не существующие пути решения, не так ли?

— Не совсем так. Разумеется, я уже сейчас мог бы сказать, какой конечный результат я предпочел бы сам. Но у меня есть реалистичное понимание того, что мои предпочтения — не обязательно то, что получится "на выходе". Процесс сам влияет на свои результаты. Именно поэтому я поддержал Кемп-Дэвид. Не потому, что это было идеальное решение, которое я бы выбрал сам,

но потому, что там была найдена мудрая рамка: она признавала трудность проблемы и потому предусмотрела процесс из двух этапов. Но мы, евреи, нетерпеливый народ, мы тут же начинаем кричать: да, но каков будет окончательный статус территорий? вы за такой статус или за такой? А ведь вся идея состояла в том, чтобы эти вопросы отложить!

— *Пока не появятся новые решения, которых не было раньше?*

— Вот именно! Но наши левые говорят, — и в этом смысл пресловутой “карты Бенвенисти”, которую вы опубликовали, — что тем временем, де, на Западном берегу происходят “необратимые изменения”! Это верно. Если еще десять лет не начинать переговоры, карта, возможно, изменится настолько, что вообще уже не о чем будет разговаривать. Вот почему важно, чтобы палестинцы как можно скорее включились в мирный процесс.

— *Я вижу противоречие в словах Бенвенисти: если он прав, и наши поселения делают будущие переговоры бесплодными, выходит, он признает, что аннексия осуществима?*

— Совершенно верно. Я тоже вижу это противоречие. Если он прав и то, что сделано нами на Западном берегу, уже необратимо, какой тогда смысл в его “сообщении”? Просто лишний раз подчеркнуть, как мы злы, несправедливы, ужасны? Евреи всегда были сильны в таких самобичеваниях...

— *Но теперь я спрашиваю вас: эта цель достижима? Можем мы навязать свою власть Западному берегу?*

— Мы уже сейчас в военном смысле контролируем его.

— *И будем контролировать еще сто лет?*

— Я не знаю, что будет через сто лет. Политические предсказания можно делать на 5–6 лет вперед, да и то это рискованно.

— *Можем ли мы навязать свою власть на 5–6 лет?*

— Если все остальное останется неизменным, — а это весьма сомнительное “если”, — то можем. При условии, что создание поселений будет идти со скоростью, раз в десять большей, чем сейчас. Потому что сейчас проблема поселений сильно раздута. Сторонники “неделимого Израиля” раздувают ее, выдавая желаемое за действительное, противники, — чтобы иметь повод поносить Бегина. Нельзя утверждать всерьез, будто 25 тысяч поселен-

цев являются реальным препятствием к миру. Их проблему, несомненно, можно решить, если Иордания присоединится к переговорам и согласится, чтобы окончательный статус территорий включал открытые границы с Израилем. Тогда израильтяне смогут жить на Западном берегу, как сегодня иорданские граждане живут в восточном Иерусалиме. Не является препятствием к миру и проблема земли, которую так раздувают наши левые. Когда они говорят, что мы отнимаем у феллахов землю, а с ней свободу, это искажение истины. Земля, на которой мы строим поселения, — это пустынная, каменистая, непригодная для обработки земля. За исключением считанных случаев обрабатываемая земля не изымалась никогда. Более того, — арабы сами широко продают землю. Но не потому, что их принуждают. Они продают те излишки, которые не могут обрабатывать. При этом они расширяют свои площади. Сейчас они обрабатывают больше земли и производят в пять-шесть раз больше, чем в 1967 году. С экономической точки зрения они не ущемлены. Все эти разговоры о лишении арабов земли — своего рода пропаганда, усиливающая и без того присущее евреям чувство вины. Люди, говорящие о нашем “несправедливом” отношении к палестинцам, очень хотят выглядеть “хорошими” в глазах джентльменов из Оксфорда или Бостона. И знаете — это очень удобная позиция: человек не только удовлетворяет свое чувство “справедливости”, но вдруг обнаруживает, что его охотно цитирует журнал “Тайм”, его приглашают в лекционное турне по американским университетам. Становится модно быть левым “диссидентом” в Израиле...

— *Еще раз: принимая во внимание все эти большие и маленькие “если” — осуществимо ли включение территорий в состав Израиля?*

— Осуществимо ли? Да. Но даже если такая возможность есть, остается еще вопрос цены. Каждая политика имеет свою цену. И эта цена — продолжение конфликта вместо смягчения его, углубление пропасти вместо ее преодоления. Я же хочу покончить с конфликтом, потому что я хочу жить “здесь и сейчас”. Разрешите мне спросить: какая у нас есть альтернатива? Переехать в Аляску? В Новую Зеландию? С другой стороны, — что значит “захватить и не отдать”? Вы полагаете, что мы можем бесконечно жить во враждебном окружении? Альтернатива моей “утопии” — просто послать всех к черту и окружить себя железной стеной. Это возможно?

— Ну, что ж, для тех, кто убежден, что Израиль стал ведущей военной силой в регионе, — пожалуй, возможно.

— Но это нереалистично, полностью нереалистично. А кроме того — это против моих ценностей. Видите ли, есть определенные позиции, которые коренятся в ценностях. Есть позиции, о которых я даже не хочу спорить: например, мое желание быть членом суверенной нации, чья культура — еврейская, язык — иврит. Это желание не имеет ничего общего с логикой. Это неотъемлемая часть моей личности. И такую же часть моей личности составляет нежелание принадлежать к милитаристской, угнетающей силе в регионе. Я готов использовать нашу военную силу лишь в той степени, в какой это необходимо, чтобы достичь тех политических целей, которые я считаю необходимыми. Все это — убеждения, которые коренятся, в конечном счете, в моей системе ценностей.

— Отлично, мы договорились: вы хотите мира, вы хотите переговоров, на первых порах вы хотите реализовать автономию. А арабы — они к этому готовы?

— В каком смысле?

— Ну, скажем, если палестинское общество не готово к демократическим выборам, — как оно может управлять собой?

— Ага, вы вот о чем? Ну, что же, они будут иметь такую автономию, на какую способны. В конце концов, — разве в некоторых арабских странах нет выборов? Согласен, это не свободные выборы в нашем понимании, — но ведь мы не можем предписывать им свои методы! Мы можем потребовать, чтобы не было терроризма, — это очень важно, но в остальном — это будет то общество, на которое они способны. Разве не управляют своими деревнями израильские арабы? По-вашему, на большее они не способны? Им не хватает мозгов?

— Дело не в этом. Существует убеждение, что было бы трагедией немедленно дать палестинцам независимость, они к ней еще не готовы...

— Э, нет, эту идею я не принимаю. Это лицемерный довод. Так можно утверждать, что и саудовцы не готовы управлять своим государством, — потому что, видите ли, они управляют им иначе, чем швейцарцы или израильтяне. Мы возражаем против палестинского государства просто потому, что не хотим ООП на своих границах. Точка. А вовсе не потому, что палестинцы не способны

управлять таким государством. Человек, сказавший это, вероятно, просто хочет оправдать аннексию. Я прав?

— Нет, он за то, чтобы поскорее дать автономию.

— Ага! Значит, он против того, чтобы дать государство, потому, что они неспособны управлять государством, но он за то, чтобы дать автономию, потому что автономией они почему-то могут управлять! Замечательная логика! Я тоже за автономию, — но не потому, что считаю палестинцев неспособными управлять государством, а потому, что убежден, что третье государство между Израилем и Иорданией — это нестабильность, это осложнения для всех, включая самих палестинцев.

— Вы упомянули израильских арабов. Как они относятся к палестинской проблеме?

— Я могу вам сказать на основании сотен встреч и бесед, что подавляющее большинство израильских арабов уже освоилось с мыслью, что они являются гражданами Израиля. Слово "израильский" входит в их самоидентификацию. Конечно, в последние годы их национальные чувства усилились, но это не означает, что они хотят бороться за палестинское государство или принять у себя собратьев с территорий. Есть радикалы, говорящие о "едином палестинском государстве", но это незначительная часть. Разумеется, это не означает, что они всем довольны, но в общем они свыклись. Человек вообще свыкается с реальностью...

— Тогда еще раз: если свыклись эти, то, быть может, через пятнадцать лет после аннексии свыкнутся и арабы территорий?

— Я в эти гипотетические игры не играю. Что было бы, если... никто не знает. Но я думаю, что сегодня уже поздно. Я думаю даже, что если бы мы аннексировали территории пятнадцать лет назад, это было бы не то же самое, что с израильскими арабами. Но уж сегодня из этого наверняка ничего не выйдет. Конечно, силой можно навязать что угодно, но опять же — какой ценой? Я уже сказал — я против вечного конфликта.

— Последний вопрос: что изменила в проблеме прошедшая война?

— Я не хочу обсуждать справедливость или несправедливость этой войны. Я вижу в ней другое: она открыла новые политические возможности. К сожалению, мне кажется, что нынешнее

правительство не обнаруживает способности воспользоваться этими возможностями, не проявляет гибкости, не стремится к компромиссу. И это наводит на печальные мысли: в Израиле нет тех сил, которые способны на компромисс. Есть левые фанатики, есть правые фанатики, есть партии, препирающиеся из-за того, что сделать послезавтра: аннексировать территории или отдать их Иордании, — но никто не думает о том, что надо сделать сегодня...

— Вы один понимаете, что нужно сделать?

— Ну, что ж — значит, я в меньшинстве...

Вел интервью Р. Нудельман

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ

МАРК ГИРШИН. БРАЙТОН-БИЧ

Широкое сатирическое полотно, запечатлевшее жизнь и судьбы "новых американцев" из Одессы, Киева, Москвы, собравшихся в грязном нью-йоркском квартале Брайтон-Бич, где жулики преуспевают, а честные люди поневоле становятся жуликами.

Цена книги (при заказе в издательстве) — 5 долларов, за рубежом — 10 долларов.

Предварительные заказы принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим" п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВУЮ КНИГУ

ЯКОВ ЦИГЕЛЬМАН. УБИЙСТВО НА БУЛЬВАРЕ БЕН-МАЙМОН

В первую книгу бывшего ленинградского, ныне иерусалимского журналиста вошли повести "Похороны Мойше Дорфера", впервые рассказывающая правду о Биробиджане, и "Письма из розовой папки, или убийство на бульваре Бен-Маймон", насмешливо и весело изображающая жизнь советских евреев в Израиле.

Цена книги (при заказе в издательстве) — 5 долларов, за рубежом 10 долларов. Чеки и заказы принимаются по адресу:

"Foundation Moscow—Jerusalem", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Прошедший год начался для меня с понимания одного очень простого и фундаментального факта: то, что произошло на выборах 1977 года, не было случайным эпизодом. У нас действительно сменилось правительство. К власти пришли новые силы. Во время последних выборов я активно — хотя и не от всего сердца — действовал в пользу Маараха. Я лелеял надежду, что все произошедшее в 1977 году будет исправлено сейчас. После выборов я внезапно прозрел. Я увидел, насколько неверно я оценивал реальную политическую ситуацию в стране.

Раньше я полагал, что сдвиг в сторону Ликуда был следствием разочарования в Маарахе, реальной усталости и пустых фантазий. Теперь мне стало ясно, что причины лежали намного глубже. Маарах сам проложил дорогу Ликуду, верно. Но дело было не только в этом.

Большинство людей голосуют отнюдь не по идеологическим соображениям. Идеология важна лишь для кучки идеалистов, которые ею живут. Не случайно многие искренние "ястребы" и сегодня еще голосуют за Маарах, — они чувствуют в нем что-то издавна знакомое, какой-то родной запах. Большинство людей вообще голосуют не по убеждениям, а по ощущениям.

А.-Б. Иошуа

ГОЛОС ПИСАТЕЛЯ

Так вот, реальная причина падения Маараха — то ощущение бесилия, которое он излучал все последние годы, ощущение какого-то паралича воли.

Эта традиция ничегонеделания началась уже в конце правления Голды Меир: не нужно ничего предпринимать, не нужно ничего говорить, не нужно ничего менять. О нынешнем правительстве можно сказать много плохого, но о нем никак не скажешь, что оно лишено творческой активности. Верно, порой это опасная активность, которая может привести нас к катастрофе, но уж, во всяком случае, нынешнюю власть не обвинишь в том, что она игнорирует проблемы или вязнет в них как в болоте. Эта власть демонстрирует непрерывную активность, она создает динамичную ситуацию, и в этой ситуации могут возникнуть — порой даже вопреки желанию самой власти — многие положительные тенденции.

Я не собираюсь утверждать, будто отсутствие активности в последние годы правления Маараха было только негативным. Но видно было, что это отсутствие динамизма и решительности происходит не из продуманной тактики, а просто из неспособности принять вообще какое-либо решение. И массы тотчас это почуяли.

Некоторые говорят, что Маарах, мол, не способен был увлечь новыми перспективами. Я думаю, что массы в действительности жаждут не перспектив, а действий. Они хотели, чтобы правительство решало проблемы, а не обходило их, утверждая, что тут, мол, ничего нельзя поделать. Любопытно, что Бегин и его правительство говорят совершенно иным языком. Либо они вообще отрицают, что проблема существует; либо говорят: да, проблема есть, и мы ее немедленно решим.

Утверждают, что Ликуд проявляет эту активность только в отношении политических вопросов, что он ничего не делает для неимущих, запустил экономику и так далее. Что касается экономики, то нам что ни день твердят, будто она разрушена и вот-вот рухнет. Но вокруг себя я вижу, что уровень жизни растет, люди чувствуют себя хорошо и безработицы не существует. Накануне выборов множество профессоров твердило, что после выборов наша экономика немедленно развалится... — и ничего не развалилось! Можно ли еще после этого говорить о какой-то "экономической науке"?

Что же касается неимущих, а проще говоря — евреев из восточ-

ных общин, то тут наверняка можно сказать одно: Бегин дал им желанное чувство принадлежности и наличия руководства.

Дело совсем не в том, что сейчас в кабинете есть министры-выходцы из восточных общин. Так объясняют дело ашкеназийские политики; но в действительности министерские кресла важны только для тех, кто на них зарится — для кучки партийных функционеров. Неимущие ощущали себя прежде всего слабыми и хотели они только одного — ощущения собственной силы. Им нужны были сильные вожди и сильное чувство собственной принадлежности, участия и значимости в жизни страны. О количестве "своих" министров они думали меньше всего. В 50-е годы восточные иммигранты из тогдашних бараков шли за Бен-Гурионом — потому что он излучал силу, позволял массам отождествляться с ней и чем-то еще большим, то есть давал им сильное чувство принадлежности.

Бегин — чистейшей воды ашкеназийский еврей. Он этого и не отрицает. Он и не хочет быть ничем иным. Никогда в жизни он не сядет по восточному обычаю на пол и не станет есть руками "кус-кус".

Но восточные общины будут поддерживать его, потому что они ощущают в нем сильную личность. Он излучает силу и уверенность в себе и этими же чувствами заражает их. Динамика этого процесса столь проста и столько раз повторялась в истории многих народов, что я не вижу нужды объяснять ее еще раз.

Война в Ливане — превосходный образчик этой "творческой активности" нынешнего правительства. Опять же, нужно подчеркнуть, что говоря о "творчестве", я имею в виду неуспокоенность, стремление атаковать проблемы, а не уходить от них, убежденность, что возможно все, если это позволяет решить проблему, — даже если такая убежденность возникает просто из внутренней неспособности бесконечно мириться с двусмысленностью ситуации.

Маарах, как известно, придерживается принципа "территориального компромисса" в палестинском вопросе. В действительности, однако, это не просто политический принцип, а некий образ мышления и решения проблем вообще. Между тем среди израильских "правых" и "левых" растет ощущение, что нужны иные — радикальные решения. История учит, что территориальные компромиссы не всегда являются решениями вообще, что существуют поистине "о к о н ч а т е л ь н ы е" решения проблем. Война в

Алжире завершилась таким окончательным решением. Война во Вьетнаме завершилась радикальным решением, и война в Родезии тоже. Оказывается, есть такие сферы жизни (и политики), где решения должны быть однозначными — вопреки нашему ощущению, что жизнь сложна и многозначна.

Война в Ливане началась по инициативе израильского правительства. Оно пыталось реализовать свое решение громадной палестинской проблемы — проблемы, существование которой мы пытались игнорировать долгие годы. Сегодня я вижу план Рейгана как прямое следствие ливанской войны, да и всю эту войну начинаю видеть в ином свете. Бегин сказал, что день, когда он получил послание Рейгана, был для него самым черным днем его жизни. Для меня он был одним из самых лучших дней. Оказалось, что, несмотря на всю негативность своих действий, всю их разрушительную динамику, Бегин не властен над ее последствиями. И если история толкает в определенном направлении, то кризис только помогает ей достичь правильного решения.

Все это не означает, что война, на мой взгляд, была справедливой или необходимой. Это не была война за выживание, даже не война на прекращение террора. Уже существовало соглашение о прекращении огня с ООП, и его можно было расширить и поставить на более надежную основу. Если бы к проблеме подошли с позиций согласия на палестинское самоопределение, возможно было бы, я полагаю, найти политическое решение.

Война преследовала определенные политические цели, но, кажется, она принесла результаты, противоположные намеченным. Бегин разрушил мини-государство палестинцев в Ливане — и взамен может получить его за Западном берегу. Он несомненно помог Ливану и возможно — Израилю, но не так, как того хотел. Некогда в Кемп-Дэвиде, а теперь в Ливане он оказался одним из самых полезных орудий истории.

История неумолимо толкает нас к принятию палестинского самоопределения (в рамках Иордании или без нее) и палестинского государства на Западном берегу. Последние 15 лет и мы, и палестинцы пытались уйти от этого решения, которое является в действительности единственно возможным. Мы изобретали всевозможные искусственные и надуманные формулировки, лишь бы уйти от этой единственной, — и не преуспели ни в чем. Европейские страны уже поняли это; и даже американцы, которые обычно туго понимают то, что происходит вдали от них, тоже на-

конец начали понимать. Мы — не первый в истории народ, который отказывается увидеть лежащее у него под носом простое и неизбежное решение его проблем. Куда большие страны тоже делали ошибки. Все дело в том, как упорно вы цепляетесь за свои ошибки. Вполне возможно, что ливанская война в конечном счете приведет к решению палестинской проблемы — точно так же, как Война Судного дня привела к инициативе Садата. Но это не снимет ответственности за войну с тех, кто ее развязал, как визит Садата не снял с Голды Меир и Моше Даяна вины за просчеты Войны Судного дня.

Эта война во многом обнажила для меня наши национальные особенности. Я никогда не обманывал себя мыслью, будто мы, евреи, лучше норвежцев, французов или англичан. Может быть, в историческом плане мы и лучше, чище других, но это случилось лишь потому, что мы сидели над своими книгами и нам никогда не приходилось отвечать за всю полноту жизни. Имея дело только с книгами, можно позволить себе самые высокие принципы, поскольку их не приходится проверять на практике.

Я не принадлежу и к тем, кто восклицает: "Боже, что стало с галутным евреем в Израиле, откуда в нем такая жестокость?!" Галутный еврей всегда казался мне похожим на человека в тюрьме. Он не убивает, не грабит и не насилует только потому, что решетка ему мешает. Поэтому я не шокирован тем, что мы оказались более жестокими, чем евреи в галуте. Меня волнует не галут, а эта страна и ее войны, то, что мы позволили — и не позволили — себе сейчас и в прошлом.

Даже если итогом этой войны явится что-то позитивное, она все равно не станет от этого хорошей войной. Когда она началась, мне казалось, что наступил конец света. Я ждал, что вся страна содрогнется. И что же? Оппозиция пришла в замешательство, потом вытащила метр и стала мерить километры, словно не понимала, куда это все ведет; мир не обрушился — и я, подобно многим другим, испытал странное чувство, в возможность которого никогда бы не поверил: чувство отчуждения — не от правительства, а от собственного народа. Всего ужаснее было то, что это отчуждение и равнодушие распространялись даже на проблему наших потерь в этой войне. Всю жизнь, до сих пор, каждый погибший израильтянин был для меня частицей меня самого, каждая гибель — раной в сердце, а тут... я ощущал, что смотрю на эту войну словно бы со стороны, как чужой. Сам способ сообщения о потерях уси-

ливал это ощущение. Нам сообщали о них словно бы сконфуженно, нехотя и в замешательстве. Нам говорили: ранены 36 человек, — а потом, спустя несколько дней, называли имена погибших, и это было обусловлено совсем не технической необходимостью уведомить сначала семьи покойных, нет — это была правительственная политика. Словно они сами хотели скрыть истинную цену, словно они сами не были уверены в оправданности своих действий. Когда-то, когда мы были еще крохотной общиной, мы извещали о каждой жертве, потому что всегда знали, что ее кровь пролита не напрасно. Так росло мое отчуждение, а с ним рос и мой гнев. Я знаю, что я говорю от имени меньшинства народа, но это — разгневанное меньшинство. Наш гнев не имеет выхода, особенно сейчас, когда война окончена и террористы изгнаны из Бейрута. Это успех, это победа, и это вынуждает молчать. А что можно сказать? Нужно быть слепым, чтобы не видеть, как облегченно вздохнули многие ливанцы... А ведь все можно было сделать иначе. Ведь можно было действительно достичь мира, решить палестинскую проблему, буквально все сделать по-иному...

Говорят, что дела еще могут повернуться. Я в это не верю. До тех пор, пока Бегин у власти, ничего измениться не может. Он лидер, он фокус всего, он вершина пирамиды. Он имеет сегодня ту же силу, какую имел Бен-Гурион в 50-е годы. Верно, он говорит, что намерен уйти в отставку через пару лет, но к тому времени наверняка назреет какой-нибудь очередной кризис, который вынудит его остаться на своем посту, чтобы "защищать Израиль" — ведь он уверен, что лучше его никто этого не может сделать.

Кое-кто обманывает себя иллюзией, что вот теперь он заключит мир с палестинцами, как когда-то с Садатом. Я первый бросился бы покупать его портрет, если бы он это сделал. Но ведь это нереально. Бегин — подлинный идеалист, в этом источник всей его силы. Свой идеал "Неделимого Израиля" он обрел не вчера и не позавчера. Я помню его фотографию с Хаимом Ландау, еще в 50-е годы, где они — оба еще молодые, худые, в белых ботинках — стоят перед картой Эрец-Исраэль, показывающей о б а берега Иордана, через которые идет надпись: "Отечество". Это было после Войны за Независимость. Израиль только что родился, совсем крохотный, еще должен был сражаться за то, чтобы выжить, а эти двое уже говорили о "Великом Израиле" по обе стороны Иордана. Для Бегина это религия, и он не отречется от нее. Да

я и не собираюсь его об этом просить. Даже если бы на Западном берегу жили одни пастухи с овцами, он не отдал бы им эти земли, — что уж говорить о полутора миллионах палестинцев во главе с ООП и Советами за их спиной?!

Мы живем и в обозримом будущем будем жить под властью Ликуда. Ибо у этой власти, в сущности, нет оппозиции. Проблема оппозиции — это ведь всегда проблема руководства. И в этом плане конфликт между Пересом и Рабином, разъедающий Маарах, подрывает самую идею оппозиции, ибо отталкивает людей от нее. Им следовало бы потихоньку уйти, обоим. Уход не всегда — признание поражения. Лично я поддерживал Переса. Мне жаль, что люди не знают его по-настоящему, его культуру, его гуманизм. Он был бы неплохим премьером, но в нем есть что-то такое, что автоматически вызывает негативные чувства. Почти физическое "нечто". Социологи и психологи знают подобные явления. Поэтому, я думаю, он тоже должен уйти. Это не страшно, лидер найдет-ся. Рабочее движение — не просто механический конгломерат групп, это исторически сложившееся движение, имеющее глубокие корни. Но ему следовало бы отделиться от крайностей левых социалистов из МАПАМ и искать свой собственный новый курс.

Однако все эти сугубо партийные проблемы в действительности меньше интересуют меня сегодня (да и всегда), чем проблемы общеизраильские и — шире — еврейские. В этом плане мы много потеряли за времена Бегина. Мы, например, в течение каких-нибудь четырех часов провели закон об аннексии Голанских высот. И никто не встал и не сказал: "Послушайте, а что, если через год-другой мы сумеем сговориться с Сирией и Советами и станет возможным отдать Голаны в обмен за мир, разоружение и открытие советских ворот для евреев? Что, если мы сможем таким образом заполучить сотню-другую тысяч евреев? Разве это не стоит больше, чем крохотный кусочек земли, который мы сейчас аннексируем?" Я не знаю, сколько евреев хотят в действительности покинуть Советский Союз, но почему мы должны постоянно размахивать непримиримо антисоветским знаменем? Почему не попытаться вытащить из СССР как можно больше евреев?

Странно, что Бегин, которому нужно как можно больше евреев для его Великого Израиля, почти не говорит об алии, ничего не делает для борьбы с йеридой и в каком-то смысле даже легитимизировал ее. Он называет "йордим" израильскими гражданами за рубежом. В действительности проблема йериды куда глубже.

Не следует забывать, что исторически мы — “народ галута” и что годы рассеяния сыграли важнейшую роль в нашем формировании. Отношение мирового еврейства к Земле Израиля до сих пор остается амбивалентным. Оно было таким с самого начала: Авраам, первый еврей, был одновременно и первым “оле”, и первым “йоредом”. Его внук эмигрировал из страны и умер на чужбине. Народ, получивший Закон, не хотел возвращаться в свою страну. Здесь есть что-то глубинное, чего мы еще не осознали до конца. Куда проще болтать о еврейских ценностях и сохранении еврейства, чем объяснить подлинные причины столь долгого существования галута.

Галут кажется мне порождением еврейства, иудаизма. Что происходит в Израиле? Чем более человек ощущает себя “просто евреем”, тем легче ему покинуть эту страну; чем сильнее он ощущает себя израильтянином, тем труднее ему сделать это. Если я ощущаю себя “просто евреем”, я могу взвалить на спину рюкзак, изготовленный еще 2000 лет назад рабби Иохананом Бен-Заккай, и двинуться в путь куда глаза глядят. Этот рюкзак с портативным иудаизмом — превосходная дорожная сумка в любой конец света. Можно покинуть Израиль, не теряя ни частицы своего “еврейства”. Но если я ощущаю себя израильтянином, ощущаю свою связь с этой страной, ее языком, ее образом жизни, то покинуть Израиль, не лишившись при этом какой-то существенной части своей личности, я не могу.

Сегодня больше евреев покидает страну, чем приезжает в нее. Но это не означает, что сионизм потерпел поражение. Поражение потерпел еврейский народ. Сионизм как раз во всем оказался прав — история жесточайшим образом подтвердила все его предсказания. А вот евреи не выдержали испытания. Они по-прежнему не хотят возвращаться на родину. Они предпочитают сидеть в галуте и жаловаться на антисемитизм всякий раз, как кто-то их критикует.

Я видел фотографии французских евреев. Они пробудили во мне гнев. Какого черта им надо? Чего они хотят? Жить во Франции и наслаждаться всем, что Франция может им предоставить, сохраняя при этом Израиль “на всякий случай”?! И чтоб никто слова плохого об Израиле не смел сказать, ибо критика Израиля — это “антисемитизм”? Если они так болеют за Израиль, чего же они не приезжают сюда и не живут здесь? Но нет, как раз этого-то они не хотят! И сознавая свою вину, они опасаются даже словечком

покрытиковать Израиль. Эти люди требуют для себя статуса, какого не имеет ни один народ в мире, — чтобы им разрешено было иметь две родины: одну, в которой они живут, и другую, в которой “живет их сердце”. И после этого они еще удивляются, что их ненавидят!

Галутный еврей — безнравственное существо. Он пользуется всеми благами приютившей его страны, в то же время не отождествляясь с ней полностью. Он пользуется наличием Израиля, в то же время избегая взять на себя ответственность за все, что здесь происходит. Он хотел бы жить в вакууме, услаждая свою чувствительную душу и упиваясь своими “страданиями”, но при этом ни за что на свете не неся ответственности.

Кое-кто говорит, что наличие многих “домов” повышает шансы евреев на выживание. На мой взгляд, народ, гостящий во многих чужих домах и не заботящийся о своем собственном, не может рассчитывать на безопасность. Наличие многих доступных домов развращает: стоит ли класть жизнь на кропотливый, грязный труд по устройству собственного дома? Пройдет еще несколько десятков лет, и эти евреи “обживутся” на каком-нибудь Марсе или Луне, но в Израиль они не вернуться. Между тем я уверен, что существование Государства Израиль куда важнее, чем существование всех еврейских общин вместе взятых.

Утверждают, будто в галуте они “сохраняют еврейские ценности”, будто еврейский народ в Израиле эти ценности растерял. Этот разговор о “еврейских ценностях” нелеп. Наш народ сложен. У него есть высокие ценности, есть Библия, есть мощный творческий дух. Но в нем есть и жестокость, и многие другие отрицательные черты, присущие всяким народам. “Сохранять ценности” — значит отказываться от целостности своего народа, пользоваться только тем, что в нем лучшее, не принимая на себя ответственности за все остальное. Я предпочитаю разделять всю полноту ответственности здесь, чем быть теоретизирующим еврейским интеллектуалом в галуте, полностью оторванным от исторической реальности, не участвующим в истории вообще. Величайшим еврейским достижением последнего полувека были не ценности, созданные в галуте, а применение еврейских принципов к живому материалу истории и реальным ситуациям жизни. Именно это создает основу для развития еврейских ценностей, культуры и реальности. То, что создается в галуте, создается в нееврейском контексте. Не евреи создали этот контекст, не они поддерживают его функци-

онирование. Его создали и поддерживают другие народы. Это их крестьяне и рабочие пахут землю и стоят у станков в то время, как чувствительные и деликатные еврейские юноши идут в Гарвард и порой возвращаются оттуда с некоторыми "успехами". Отлично, но эти "успехи" ничего не вносят в еврейскую культуру, не имеют ничего общего с еврейской реальностью. Если видеть в мировом еврействе не более чем количество научных публикаций или блестящих скрипачей, то, конечно, Иерусалим не идет в сравнение с галутом. Но Израиль — не просто еще одна еврейская община, и его реальность не может оцениваться только количеством ученых и скрипачей, как не оценивается подобным образом ни одна страна в мире. Ибо страна — это весь образ жизни, это материальное созидание, это участие в политике и истории, это — целый мир. И точно так же, как французский мир, то есть Франция, насквозь пропитан "французскостью", а британский — "британскостью", так все в Израиле — израильское.

Оно может нравиться или не нравиться, но оно — наше, свое. Мне тоже многое не нравится в современном Израиле. И больше всего — исподволь растущее ощущение несвободы.

Еще недавно я мог вполне искренне заявить, что я пользуюсь полной свободой выражения. Я мог подписать самую агрессивную антиправительственную петицию и на следующий день читать лекцию в Академии обороны. Это и было доказательством нашей демократичности, нашей свободы. Символом ее мог бы служить профессор Лейбович — один из самых резких критиков правительства и одновременно — постоянный гость армейских форумов.

Сегодня мне кажется, что истеблишмент сознательно сохраняет несколько таких Лейбовичей — напоказ и что это не имеет ничего общего с действительной свободой мнений и высказываний в стране. Более чем когда-либо, я начинаю ощущать, что идет скрытое настоящее преследование свободных мнений и люди, у которых от этого зависит их заработок, начинают бояться, становятся более осмотрительными. Это еще не приобрело официальную форму, но такие вещи всегда начинаются неофициально. "Внутренний цензор" всегда причиняет больше вреда, чем цензор официальный. Если это действительно происходит, то дела очень плохи. Наша сила всегда состояла в том, что, будучи окружены врагами, мы оставались свободным, открытым, думающим обществом, которое способно было критиковать себя и ставить под сомнение многие свои действия. Это было нашим ценнейшим качеством. Ведь

критика и сомнение так же неделимы, как свобода. Стоит привыкнуть критически мыслить, скажем, в области политики, как эта привычка невольно переносится и в другие сферы жизни. И тогда открывается дорога творчеству и прорыву.

Сегодня что-то изменилось. Приведу в пример самого себя. Накануне войны я опубликовал свою последнюю книгу. За всю войну я не выступил ни с одной статьей. Я убедил себя, что мне нечего сказать и тому подобное. Но я подозреваю, что я молчал из-за книги. Я не хотел — инстинктивно боялся, — чтобы возможных покупателей книги оттолкнула моя реакция на войну. Если мои подозрения верны, то это очень плохо. Нужно каждый день смотреться в зеркало — не выросли ли у тебя рога.

Ограничение свободы высказываний опасно еще и потому, что ограничивает и нарушает контакты между различными группами и лагерями общества. А поскольку я очень страшусь возможности вспышки у нас в ближайшие несколько лет небольшой гражданской войны, я очень хотел бы, чтобы эти контакты сохранялись открытыми, дабы уменьшить возможные потери с обеих сторон.

Я вижу растущую поляризацию общества. Я вижу растущую религиозность. Возвращение к религии, я бы даже сказал: бегство в религию — это симптом нашего времени. В сущности, это бегство от реальности, от "здесь" и "сейчас", это усиление галутных черт еврейства. Верно, возвращающиеся к религии начинают с любви к Израилю, с повышенного национального чувства. Но затем они уходят еще дальше, к мистике и кабале, — а это они могут практиковать в любом месте. Самая большая угроза сегодня — это ешивы партии Агудат Исраэль, этот резервуар антисионизма.

Я испытывал огромное уважение к юношам из Бней-Акива. Их путь был мне чужд, но меня впечатляло их стремление связать свои убеждения с жизненной реальностью. Мне чудилось нечто высокодуховное и важное в таких вопросах, как "можно ли доить корову в субботу?" В последние 10—20 лет они отказались от борьбы за "тотальный реализм" и сосредоточились на единственном вопросе — неделимая Эрец-Исраэль. Они стали судить всех остальных людей, весь мир, только по их отношению к этому вопросу. Еще несколько лет — и они окажутся в пустой лодке: без "неделимой Эрец-Исраэль" и без всякой иной опоры в реальности. Их растущее обособление может быть одним из источников

гражданского конфликта. Есть и многие другие источники. Но я верю — в конечном счете мы сумеем преодолеть этот конфликт. В противном случае мы были бы недостойны называться народом. Если мы не способны держаться воедино в собственном доме, как бы мал он ни был, если нам всегда нужен будет "гой", чтобы доказать наше отличие, то пора нам отказаться от претензий на звание народа. Но я верю, что в Израиле есть достаточно евреев, которые хотят жить вместе в своем собственном государстве и готовы к диалогу друг с другом.

Книготоварищество "Москва—Иерусалим"

предлагает следующие книги

ДЖОЗЛЬ КАРМАЙКЛ. "ТРОЦКИЙ" (300 стр.) — впервые на русском языке объективный рассказ о человеке, который был главной движущей силой октябрьского переворота в России. Книга читается как острый психологический детектив. цена 14 долларов

ЗДУАРД КУЗНЕЦОВ. "МОРДОВСКИЙ МАРАФОН" (256 стр.) — дневники всемирно известного автора, вынесенные из-за колючей проволоки каторжных лагерей Мордовии, наблюдения и мысли человека, пережившего 16 лет лагерей, разделенных смертным приговором, и не утратившего вкус к жизни и трезвость взгляда. цена 10 долларов

НИНА ВОРОНЕЛЬ. "ПРАХ И ПЕПЕЛ" (192 стр.) — пьесы о жути советского бытия, его абсурдной свирепости и ошеломляющей нищете, две из вошедших в сборник пьес были с успехом поставлены в Нью-Йорке, две в Иерусалиме и по одной снят художественный фильм в ФРГ. цена 4 доллара

"КНИГА МАККАВЕЕВ" (128 стр.) — русский перевод с греческого античного оригинала, книга-хроника первой в истории человечества религиозной войны с ее героизмом и жестокостью. цена 6 долларов

ИЛЬЯ РУБИН. "ОГЛЯНИСЬ В СЛЕЗАХ" (300 стр.) — посмертное издание творческого наследия безвременно скончавшегося поэта и эссеиста, одного из лучших в эмигрантской литературе, чьи блестящие и острые статьи вызывали яростную полемику в печати. цена 7 долларов

Цены в Израиле — 50 процентов объявленных здесь.

ЗАКАЗ НА КНИГИ И ЧЕК, ВЫПИСАННЫЙ НА ИМЯ "FOUNDATION MOSCOW-JERUSALIM", СЛЕДУЕТ ВЫСЛАТЬ ПО АДРЕСУ КНИГОВОТОВАРИЩЕСТВА "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ": "MOSCOW-JERUSALIM", P.O.B. 7045, RAMAT-GAN, ISRAEL.

Если бы меня спросили, каким я вижу будущее Израиля, я бы сказал, что вижу его в соответствии с идеалами сионизма. Это означает, во-первых, что все евреи мира будут жить в Израиле, — а те, которые не будут жить в нем, не будут, боюсь, евреями. Это означает, во-вторых, что евреи будут жить на всей земле Эрец-Исраэль, то есть в неделимом, целостном Израиле. Конечно, я надеюсь, что и внешние рамки этой жизни будут мирными и надежными, иными словами — что у нас будут мирные, нормальные отношения с нашими соседями. Но это — не обязательное условие. Важнее — осуществление сионизма, то есть возвращение всех евреев на родину, где они могут жить как особый еврейский народ — в соответствии с его историей, традициями, идеалом.

Я сказал — "в соответствии с идеалом". Но в чем наш национальный идеал? В чем наша национальная программа? Это жизненно важный вопрос, и не случайно он так оживленно обсуждается сегодня. Некоторые полагают, что таким идеалом является социалистический сионизм. Бесспорно, был период, когда социалистический идеал был движущей силой сионистского движения, а люди, следовавшие марксизму, комму-

Моше Шамир

СТО ЛЕТ ВОЙНЫ

низму, даже ленинизму, были одними из деятельнейших создателей нашего государства. Я, однако, убежден, что этот период миновал. Миновал не бесследно, но — как при взрослении человека или при росте дерева — стал одним из пройденных этапов, вошел в нашу историю. На мой взгляд, эта история — история еврейского народа на земле — столь длительна, а ее идеалы столь всеобъемлющи, что социалистический период и идеал составляли лишь переходящий ее этап. Не еврейская история стала частью истории социализма, но напротив — социализм составил часть нашей истории. Точно так же были в ней и другие значительные, оказавшие свое влияние периоды — эллинистический, арабский, рационалистический, и все они в той или иной мере повлияли на складывание нашего национального идеала.

Другие говорят, что сегодня мы переживаем "ближневосточный" этап нашей истории, что происходит переориентация всей нашей жизни (не только политики) с "европейского" на "ближневосточный" путь. Утверждают, что это началось с приходом к власти нынешнего правительства Ликуда.

С моей точки зрения, нет особой разницы между националистическим Ликудом и социалистическим Маарахом. И в этом, по-моему, трагедия, переживаемая сейчас нашей страной. И Маарах, и Ликуд смирились, как с уже свершившимся несчастьем, с мыслью о том, что сионизм — кончился. Оба эти блока строят свою политику на предположении, что Израиль — это государство трех с половиной миллионов евреев, и все. Задача утверждения центральности Израиля в жизни галута, задача возрождения алии для них попросту не существует, имеет десятистепенное значение. В результате израильское общество во всех отношениях — экономическом, социальном, духовном — превратилось в общество, настроенное против алии. Оно как бы провозгласило себя самодостаточным, замкнулось в себе и своих проблемах. Но тем самым оно подрубает сук, на котором сидит. Недавний спор между правительством и оппозицией по вопросу об американской помощи отчетливо это показал. Правительство обвиняло оппозицию в том, что она будто бы просила американцев сократить свою помощь Израилю, оппозиция отвергала эти обвинения. Спор этот вскрыл центральный комплекс нашей жизни: судорожный страх перед прекращением американской помощи. Он вскрыл всю несамостоятельность нашего государства, во всех областях — экономической, политической, военной и даже моральной. Пре-

одолеть эту зависимость можно лишь возрождением массовой алии. Не поощряя ее, мы действительно подрываем основы собственного существования.

Именно потому, что в этом плане ничего не изменилось, я не вижу никакой "переориентации". Вся политика Бегина продолжает традицию европейской политической жизни с ее мелкой торговлей, уступками, компромиссами, лавированием и маневрами. Это традиция, сложившаяся еще в тридцатые годы в Центральной Европе. Я не думаю, что Ликуд более динамичен, чем Маарах, я совсем не уверен в этом. Есть, правда, одно бросающееся в глаза различие, но это весьма поверхностное различие. Маарах много лет был у власти и потому приобрел привычку к "статус-кво". Ликуд много лет находился в оппозиции и потому выбрал в себя всех недовольных, всех, кто хотел и требовал изменений. Он стал средоточием всякого рода критики и всякого нетерпения. И поэтому иногда возникает ощущение, будто он является также источником всех новшеств и изменений. Взять, например, вхождение евреев — выходцев с Востока в политическую жизнь страны. Это положительный процесс, это не заслуга Ликуда, — он начался уже при Маарахе. Маарах попросту не сумел использовать этот процесс, а Ликуд взял его на вооружение. Но вовсе не потому, будто Ликуд более динамичен или революционен, а скорее, потому, что Маарах — хотя и возглавляется "Рабочей" партией — превратился в движение, по сути своей, буржуазное, аристократическое и снобистское, тогда как Ликуд, начинавшийся как блок буржуазных и националистических партий, сдвинулся в сторону простых масс. Это, однако, уже другая проблема.

Есть только один вопрос, в котором политика Ликуда (раньше на словах, а теперь и на деле) отличается от политики Маараха, — вопрос о территориях. Но я не думаю, что это устойчивое различие. Мне представляется, что Ликуд в Кемп-Дэвиде необратимо связал себя с политикой компромисса и тем самым втянул нас в процесс постепенного отступления со всех территорий, не только из Синая.

Вот почему я не вижу в Ликуде подлинного динамизма, подлинного новаторства.

Подлинно новым в нашей общественной жизни могла бы быть сегодня только большая, высокая идея, ради которой люди согласились бы отказаться от погони за чисто материальными благами. Но таких идей нет сегодня в демократических обществах вообще.

После Второй мировой войны Запад вступил в период погони за процветанием и изобилием, он растерял все динамичные идеи, кроме стремления добиваться все лучшего уровня жизни и — по возможности — защищать этот образ жизни. Все динамичные идеи сегодня — по другую сторону баррикад, на стороне коммунистов Латинской Америки, народов Африки и Азии, Китая. Израиль имел свою динамичную идею до 1948 года, он стремился достичь государственности, независимости, массовой алии. Он утратил эти идеи уже через несколько лет после образования государства. Динамизм исчез, и главным стимулом для многих стало то же, что и на Западе: квартира, машина, холодильник, телевизор. И сегодня наше государство — это “просто страна” — без ведущих идеалов, без общенациональной идеи, которая стояла бы выше личных интересов. Кроме, разве что, “идеи” выживания.

Самое опасное в сегодняшнем Израиле, на мой взгляд, — поляризация общественных групп, распад общества на замкнутые, враждебные друг другу ячейки. Начало этому положили кибуцы, которые превратились за последние 10–15 лет в закрытое, элитарное общество, в группу процветающих акционерных предприятий, в общество израильских аристократов. Люди из городов развития, вынужденные работать на кибуцников, ощущают их высокомерие и отчужденность. Да и лозунги этой элиты: демократия, социализм — ничего им не говорят. Так нарастают взаимная враждебность и отчуждение.

И в целом, рабочее движение выражает идеал такого общества, которое мало приемлемо для выходцев из восточных общин. У выходцев из этих общин семья и религия до сих пор сохраняют значительную социальную роль, и они не готовы отозваться на лозунги слишком, на их вкус, либерального общества “вседозволенности”, которые предлагает им Маарах. Это создает дополнительную отчужденность и поляризацию.

Поскольку я уже затронул вопрос о религии, следует на нем остановиться. Я вырос в секуляризованном Израиле. Но, как и в социализме, вижу в секуляризме лишь главу в истории еврейского народа. Иудаизм — вот что всегда составляло объединяющий стержень еврейского существования. Религия — вот что сохранило и сохраняет наше единство. Религиозное еврейство — наш национальный эталон, — подобный эталону метра, хранящемуся в Париже. Нынешнее обострение отношений между религиозным и нерелигиозным Израилем — еще одна угроза единству нашего обще-

ства. Именно поэтому партия, к которой я принадлежу, Тхия, выступает за объединение религиозных и нерелигиозных евреев под общими знаменами.

Я не могу согласиться с теми, кто, как А.-Б. Иошуа, видит в религиозном еврее первого кандидата на эмиграцию из Израиля на том основании, что ему-де, все равно, где молиться — в Иерусалиме или в Бруклине. Неверно, будто религия узаконивает возможность жить где угодно. Еврей, живущий вне Израиля, не может жить полной еврейской (и религиозной) жизнью, — и он это сознает. Иное дело, как он живет вообще, какими идеалами он руководствуется не на словах, а на деле. Очень легко быть прагматичным реалистом: всегда можно найти “житейские оправдания” своим метаниям по свету. Кто-то из отцов — основателей сионизма не случайно с горечью говорил о нашем народе: “А кляйне фолк, абер грейсе паскудство”. В нашем народе, да и в религиозном еврействе много людей, пытающихся зацепиться за галут и оправдывающих это всевозможными “соображениями”. Я думаю, однако, что это безнадёжная затея.

Существует сила выталкивания из галута. Еврейский народ не приживается нигде, даже если проходит несколько поколений. Я думаю, это происходит потому, что он представляет собой одновременно и особый народ, и особую религиозную группу. Он — как молекула из двух атомов: их расщепление лишает молекулу ее специфичности, она просто перестает существовать. Еврей принадлежит к своему народу одновременно как к семье и как к общине. На свете нет другого такого народа с универсальной религией, которая в то же время была бы признаком национальной принадлежности. И поэтому мир не принимает этот народ. Мир не принимает еврея. Он выталкивает его всеми возможными способами, включая даже покровительственное к нему отношение.

С другой стороны, я верю, что большинство евреев, где бы они ни жили, хотят оставаться евреями — хотя бы просто из чувства личного достоинства, из стремления сохранить хоть какую-то самоидентификацию. Я верю также в особое притяжение Эрец-Исраэль, которое испытывает каждый еврей. И потому я верю в существование потенциала для массовой алии.

Но Израиль, как я уже сказал, превратился в общество, настроенное против алии, в лучшем случае — равнодушное к ней. Более того, он во многом утратил свою привлекательность для алии, потому что утратил халуцианский дух, растерял свою оригиналь-

ность, стал страной, живущей только для себя, для своих сиюминутных интересов, без заглядывания в будущее. Посмотрите на сегодняшний Тель-Авив — он превратился в суррогат Америки: кафе, театры, магазины, реклама, фильмы! И многие говорят себе: зачем ограничиваться суррогатом? Если уж жить в Америке, то лучше в настоящей!

В своем выступлении Иошуа выражает надежду, что все может перемениться в результате войны. Он говорит, что Бегин — даже против собственной воли — может стать орудием мира, который — по мнению Иошуа — способен принести решение всех наших проблем.

Я думаю, что Иошуа проявляет здесь большую наивность, принимая желаемое за действительное. Он, например, всерьез верит, будто у нас есть мир с Египтом. На самом деле у нас нет никакого мира — мы просто отдали египтянам Синай и в придачу обещали еще ввести автономию на территориях, тогда как египтяне остановили нормализацию отношений с нами, отозвали своего посла и медленно, но неуклонно возвращаются к своей прежней, общearабской, враждебной нам политике.

То же самое происходит в Ливане. Ливанская война, по моему убеждению, была необходимой и справедливой, и наша армия добилась в ней всех своих целей. Но в политическом плане война была проведена самым глупым и незадачливым образом. Это произошло потому, что Бегин находится в плену навязчивой идеи, будто ему суждено принести Израилю мир. И точно так же, как он обманывал нас, утверждая, что принес мир с Египтом, он пытался обмануть и нас, и себя, утверждая, что вот-вот добьется мира с Ливаном.

Это была большая ошибка. Мир не достигается с такой легкостью. Арабские страны огромны, они управляются диктаторскими, порой — фашистскими или прокоммунистическими режимами, и их правители вовсе не хотят мира. Напротив, они стремятся увековечить конфликт с Израилем, потому что это помогает им сохранять свою власть. И большая ошибка бегинской политики состояла в том, что это не принималось в расчет. Казалось бы, в лице Бегина мы могли рассчитывать на смелого руководителя, который способен был откровенно сказать народу всю правду: мы в длительной осаде, нужно быть готовыми к многолетней борьбе! Вместо этого мы увидели лидера, который пытается сыграть роль фокусника — достать "мир" то из шляпы, то из рукава, то из

кармана. И ради этой иллюзии "мира" мы пожертвовали значительной частью нашей независимости, наших людских и экономических ресурсов, попали в унижительную, опасную и все растущую зависимость от США.

Я не верю в мир с Ливаном. Я не верю в скорый мир с арабами. Я не верю, что существует скорое решение таких проблем вообще, точка! В жизни, в истории такие проблемы никогда не имеют окончательных решений. В жизни и в истории есть только непрестанная борьба — за право самим распоряжаться своей судьбой и делать ее все лучше, осмысленней от года к году, от поколения к поколению. Мы — еврейское государство, еврейский народ — получили шанс на такую возможность. Не саму возможность, а только шанс на нее. Если бы не возникновение государства Израиль, еврейский народ вообще исчез бы с лица земли. Но государство — это лишь шанс на жизнь. И жизнь не в раю, не на облаках, а — здесь и сейчас.

"Здесь и сейчас" означает борьбу. На много лет. На все время существования еврейского народа — будь то миллион или десять тысяч лет. Нужно быть готовыми к войне на сто, на тысячу, на десять тысяч лет. Я не вижу мира за ближайшим поворотом. Борьба вечна, и тому, кто не готов к ней, лучше было бы не родиться совсем.

Конечно, в этой борьбе могут быть периоды затишья, относительного спокойствия, — но не более того. Ибо еврейский идеал мира — не просто политический "мир", но тот мир, который наступит лишь с приходом Мессии, когда все народы сядут у ног еврейского народа, чтобы внимать его учению. Такой идеал достигим лишь в результате долгой борьбы. Увы, до сих пор мы ведем себя вопреки этому идеалу. Мы ведем себя в духе Исая, не Моисея: всегда готовы отступить, уступить, отдать четверть страны, половину страны, почти всю страну — ради достижения "мира", ради сохранения "демократии". Нашим государственным идеалом всегда остается идеал оборонительный. Покойная Голда Меир никак не могла — даже в канун Войны Судного дня — решить призвать резервистов: а что подумает Запад?

Мы всегда стремились быть "хорошими". Может быть, пора перестать? Может быть, после двух тысяч лет, что мы были "хорошими", можно хотя бы на сто лет позволить себе быть "плохими"?!

Конечно, это не означает, что мы должны действовать только

кулаком, силой, стрельбой. Но нам это и не грозит. Наша армия не стремится к убийству ради убийства, — в этом ее огромная сила, ее превосходство над всеми арабскими армиями. В этом — превосходство еврейской культуры над арабской, еврейской цивилизации над мусульманской. В Израиле даже тот десантник, который считается “профессиональным солдатом”, в глубине души и по сути остается все тем же евреем, каким он был на протяжении всей своей истории, — человеком, который не хотел ни убивать, ни разрушать, человеком, способным на сочувствие и сострадание.

Но даже с такой армией у нашего государства нет будущего, если не будет массовой алии. Иосуа видит в войне парадоксальный шанс на решение мучительного палестинского вопроса. Я вижу шанс на решение этого вопроса — как и многих других, стоящих перед нашим обществом, — только в алии. В конце концов, если в Израиле будут жить 10 миллионов евреев, он уцелеет, даже если в нем будут жить еще и 3 миллиона арабов. Мы можем предоставить им автономию в отдельных районах, мы обязаны предоставить им гражданские права, мы должны будем помочь тем из них, кто захочет жить не в израильском, а в арабском обществе. Но без массовой алии все это — пустая фантазия. Даже если мы отступим к границам 67-го года — у нас нет будущего, если не будет алии.

Говорят: нам нечем привлечь эту алию. Я не согласен с таким утверждением. Несмотря на кризис, явно переживаемый сегодня нашим обществом, в этом обществе все еще ощутима некая уникальность. Это все еще уголок Запада, который быстро развивается, находясь в отсталом и враждебном окружении, развивается в области науки, техники, культуры, общественных отношений. Израиль все еще сохраняет свою привлекательность как лаборатория духовного эксперимента целой нации. Целый народ решил здесь начать все сначала! В Европе, на Западе такое сегодня невозможно.

И мы только на старте этого эксперимента, по существу. Что такое тридцать с лишним лет по сравнению с тысячелетиями?! Наша главная беда сегодня состоит в том, что мы можем утратить эту уникальность, эту привлекательность, стать простыми подражателями и эпигонами Запада. Мы должны вернуться к нашей уникальности, снова стать самой интересной страной в мире, страной эксперимента, страной-лабораторией.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

*Ночи, они как птицы
алчные, любят плоть
Милая, у божницы
пальцы сведи в щепоть.*

*Перья черны и сизы.
Как задубел — спаси!
край у небесной ризы
со стороны Руси.*

Юрий Кублановский

1

Четырнадцатого по новому стилю апреля 1682 года протопопа Аввакума, попа Лазаря, диакона Федора и инока Епифания вывели из-за тюремного тына городка Пустозерск — и загнали в огромный дровяной сруб. Стрельцы под командованием специально присланного из Москвы капитана Ивана Сергеевича Лешукова оцепили строение, дабы обезопасить проводимое мероприятие от присутствующих... Но присутствующие никакой опасности не представляли: помалкивали себе в оцепенении, только шапки сняли с лохматых голов. Аввакум казал народу двуперстно сложенное крестное знамение, пугал: "Будете этим крестом молиться — вовек не погибнете, а оставите его — городок ваш погибнет, песком занесет! А погибнет городок, настанет и свету конец!..

Юрий Милославский

О БЫВШЕМ ЮРЬЕВЕЦКОМ ПРОТОПОПЕ АВВАКУМЕ ПЕТРОВИЧЕ

(к 300-летию со дня смерти)

© by Yuri Miloslavsky

К четырем углам сруба привалили вязанки хворосту и подожгли. То была огненная казнь: "за великие на царский дом хулы".

Сожжение предусматривало дальнейшую невозможность культа преступных останков. Но вскорости на месте казни появился крест. Его прозвали "Аввакумовым". Власти не вмешивались...

В 1861 году Н. Тихонравов впервые издал "Житие протопопа Аввакума". В следующем году появилось и более качественное издание — Д. Кожанчикова.

Историк литературы В. Ф. Лазурский пометил в своем дневнике, что Л. Н. Толстой очень удивился, когда узнал о невключении написанного Аввакумом в учебные пособия. Удивление произошло в декабре 1895 года.

Но прогрессивная общественность уже довольно давно восхищалась творениями протопопа. Было чем восхищаться.

Прогрессивная общественность восхищалась таким образом: Аввакум был окончательно лишен сана и "секуляризирован". Он, Аввакум, был отличный стилист и писал на прекрасном московском языке. Но прогрессивная общественность хвалила за одно, а подразумевала другое, главное: непримиримо-критический пафос по отношению к духовным и светским властителям. Аввакум быстро и верно катился в направлении Н. Г. Чернышевского (оное духовного звания) и М. Е. Салтыкова (оное обижены по службе, оное народные речения любили и использовали).

Интересно, читал ли сочинения Аввакума В. Г. Белинский — тот самый, что называл Иисуса Христа "этот подлец". Если б читал, то непременно восхитился бы.

Но и без него список восхищенных довольно длинен: от Тургенева до Горького.

Вместе со всем лучшим, что накопило человечество, писания Аввакума были переданы в распоряжение авангарда прогрессивной общественности. Аввакум стал как бы посмертно-почетным членом редколлегии журнала "Безбожник", заместителем Емельяна Ярославского. Обгорелые мослы весело запели, обращая свое пение по преимуществу в сторону Соловецких лагерей особого значения: "Долой, долой, монахов, раввинов и попов!" И далее — почти без паузы: "Мудрены вы со дьяволом! Да нечева у вас и послушать доброму человеку: все говорите, как продавать, как покупать, как есть, как пить, как баб блудить, как робят в алтаре за афедрон хватать. Знаю все ваше злохитрство, собаки, бляди, митрополиты, архиепископы..."

Это был, как говаривал Алексей Максимович, "образец пламенной, страстной речи бойца"!

К десятой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции вышел в свет 38-й том "Русской исторической библиотеки": "Памятники истории старообрядчества семнадцатого века", кн. 1, в. 1. Сочинения протопопа Аввакума.

Интерес советского народа к старообрядчеству в этот юбилейный год был, по всей видимости, не абсолютно случайным или там научным.

В марте 1927 года был неожиданно освобожден из заключения митрополит Сергей (Страгородский — будущий "сталинский патриарх"). Оказался он в ГПУ по вполне серьезному поводу: группа православных иерархов решила тайно "по подписке" избрать нового патриарха на место почившего в 1925 году Святейшего Тихона.

А. Дейбнер в своей работе "Русские иерархи под игом безбожников" (Париж, 1931) пишет о реакции церковных кругов:

"... Факт освобождения митр. Сергея (Страгородского) в тот момент, когда репрессии против церкви по всей России все возрастали, ... сразу же возбудил тревогу... Стало несомненным, что между митр. Сергием (Страгородским) во время его тюремного заключения и советским правительством, т. е. ГПУ, состоялось какое-то соглашение, которое поставило и его самого, и близких ему епископов в совершенно исключительное положение по сравнению с другими. Митрополит Сергей (Страгородский) получил право жить в Москве, каковым правом он не пользовался даже до ареста.

Когда же стали известны имена епископов, призванных в Синод, то в капитуляции митр. Сергея (Страгородского) перед советской властью не оставалось больше сомнений".

Так ли, иначе, но 20 по н. ст. мая 1927 года "гр-ну Страгородскому Ивану Николаевичу" была выдана соответствующая справка, что со стороны НКВД "препятствий к деятельности этого органа (имеется в виду сергианский Синод.— Ю. М.) не встречается".

В сергианский Синод, в частности, входили: митр. Серафим (Александров) Тверской, о связях которого с ГПУ знали все и которому, по словам того же А. Дейбнера, "никто не верил", арх. Алексей (Симанский), будущий патриарх и кавалер ордена Трудового Красного Знамени, и бывший обновленец, назначенный на Петроградскую кафедру после казни в 1922 г. митр. Венямина (Казанского).

По мнению многих историков, это событие было, быть может, главным в "мероприятиях по ликвидации" Церкви Русской и созданию на ее месте "церкви советской" — требоисполнительницы и пламенного борца за мир во всем мире.

А в мае 1927 года верующая Россия читала Соловецкое послание: письмо-сообщение православных епископов, заключенных на Соловках.

"Церковь внушает верующим возвышающее человека смирение, коммунизм унижает его твердостью. ... Церковь хочет процветания религии, ком-

мунизм — ее уничтожения. При таком глубоком расхождении в самих основах мирозерцания между Церковью и государством не может быть никакого внутреннего сближения или примирения,... потому что душою Церкви, условием ее бытия и смыслом ее существования является то самое, что категорически отрицает коммунизм.

Никакими компромиссами и уступками, никакими частичными изменениями в своем вероучении или перетолковывании его в духе коммунизма Церковь не могла бы достигнуть такого сближения”.

Приблизительно через полтора месяца словчанам ответили “Декларацией Заместителя патриаршего Местоблюстителя, Митрополита Нижегородского Сергия (Страгородского) и временного при нем Патриаршего Священного Синода”:

“... мы, церковные деятели, не с врагами нашего Советского Государства и не с безумными орудиями их интриг, а с нашим народом и с нашим Правительством.

Выразим всенародно нашу благодарность и Советскому Правительству (строкой выше благодарили Господа.— Ю. М.) за такое внимание к духовным нуждам нашего Православного населения, а вместе с тем заверим Правительство, что мы не употребим во зло оказанного нам доверия”.

(Поскольку началось массовое возвращение “Декларации” православными приходами, а в последующие два года сопротивление сергианскому Синоду среди епископов, оставшихся на воле, опасно возросло, советское правительство, верное взятым на себя обязательствам, продемонстрировало всю силу ответного доверия к митр. Сергию и его Синоду. В 1929 году были арестованы пятнадцать отделившихся от митр. Сергия епископов. Предварительно митр. Сергий объявил всю эту оппозицию — контрреволюционной.

По словам Дейбнера, операция проводилась так.

“Агент ГПУ являлся к епископу и ставил ему следующий вопрос: “Как вы относитесь к декларации митр. Сергия (Страгородского)?” Если епископ отвечал, что он ее не признает, то агент заключал: “Значит, вы контрреволюционер”. И епископ арестовывался”.)

В годы войны об Аввакуме, кажется, не вспоминали — вполне хватало труда митр. Сергия (Страгородского) “Правда о религии в России”.

Затем Аввакум малость помог борьбе с космополитизмом, как писатель демократический.

И опять лет десять советский народ занимался делами, далекими от старообрядчества.

Зато в шестидесятые, когда покойный Н. С. Хрущев начал новые гонения на Церковь, появились новые издания сочинений и исследования творчества так наз. *мятежного протопопа*. Издания были действительно хороши; мы пользуемся ими и по сей день.

Исследования же давали возможность окончательно убедиться в демократичности воззрений протопопы. Рассматривая соображения Аввакума о догмате Св. Троицы, известный советский специалист А. Н. Робинсон указывает: "Эти" цари (так Аввакум именовал Лиц Святой Троицы, — Ю. М.) представлялись Аввакуму равными по "власти" и управляющими своей "державою" (вселенной) как бы коллегиально — "образом совета". Подобные утверждения Аввакума подвергали сомнению всеобщий феодальный принцип монархического мироустройства".

Другой главный специалист в той же области — В. Е. Гусев — неопровержимо утверждал, что старообрядцы под видом чисто-догматических споров и начетнического педантизма на самом деле вели классовую борьбу против зажавшейся верхушки черного и белого духовенства.

Последним по времени капитальным трудом о протопопе Аввакуме стала книга популярного борца против сионизма и сатанизма в СССР Д. А. Жукова, вышедшая десять лет назад в серии "Жизнь замечательных людей".

Дмитрий Анатольевич проделал большую работу, отчего текст его напоминает чрезмерно растянутый анекдот о В. И. Чапаеве. (Это — скелет Василия Ивановича... А это скелет Василия Ивановича в детстве.) Обращает на себя внимание несколько порнографическая восторженность Д. А. Жукова телосложением протопопы Аввакума. Но главное открытие состоит в разоблачении роли еврейства как основной причины раскола. Так, например, выясняется, что справщик церковных книг, от которого весь сыр-бор загорелся, был "лукавым выкрестом".

Имеется в виду Арсений Грек.

Это своеобразное заключение Дмитрия Анатольевича объясняется либо юдофобским параноидом в острой форме, либо указаниями представителей заказчика, либо — недоразумением. Автор этих заметок склонен предположить последнее.

Вот что пишет об Арсении церковный историк А. В. Карташев, профессор Духовной академии в Париже.

"Среди греков таких было не мало. А для пуританской Москвы это была мерзость. Арсений из турецких греков, из богатой семьи, учился в греческой гимназии в Венеции, а затем в Риме, в униатской коллегии св. Афанасия. После 5-и лет римской коллегии, конечно купленных ценой измены в вере, Арсений проходил Падунский университет по философии и медицине. Вернувшись на родину, он опять стал православным и стал продвигаться к епископству. Но турецкие власти придрались к нему как к венецианскому шпиону. Арсения посадили в тюрьму. Тут под пытками, ради спасения головы, он вынужден был принять ислам и обрезать" (Очерки по истории Русской Церкви).

Д. А. Жуков, недостаточно знакомый с второстепенными обрядовыми вопросами различных монотеистических религий, узнав, что Грека обрезали, — назвал беднягу евреем, причем евреем — по крови. Это, как видим, преувеличено. Справедливости ради следует отметить, что в какой-то старообрядческой челобитной Арсений Грек действительно обзывается "жидовским обрезанцем".

Помимо облыжных обвинений Грека Д. А. Жуков несколько раз возвращается к роли антихриста (какие-то странные выкладки о нем, зачатом от "еврейской женщины"), но это уж и вовсе какие-то протоколы сиамских близнецов.

.....

Словами Аввакума позорили, бесчестили и разрушали Русскую Церковь. И, отталкивая от себя вечный иовский вопрос "за что ему так?..", видишь, ежась и ужасаясь: это — воистину *возмездие*. Причем возмездие такого рода, что сущность его ясна всем — и церковным людям, и нецерковным.

Это — урок.

"Несмотря на все человеческое величие его (Аввакума.— Ю. М.) жертвы, не следует видеть в ней ничего, кроме характерного для Восточной Церкви сопротивления эволюции — сопротивления, характерного и в хорошем и в плохом..." (Отец Всеволод Рожко. "Был ли Аввакум мучеником?"*)

Был ли Аввакум мучеником — в церковном понимании?

Не был.

Но был он — *страдальцем*.

И чтобы облегчить его страдания, хорошо бы разговаривать с ним без посредства Горького и Жукова. Лучше всего — один на один.

Вот и все, что мы можем для него сделать.

II

Скорее всего, без патриарха Никона — никакого Аввакума-писателя не было бы.

Никон — седьмой патриарх Русской Церкви — был чем-то вроде "демона" Аввакума. На нем, Никоне, сосредоточилось все "идейно-полемическое внимание" писателя, от Никона — "овчеобразного волка" шли все беды; стоило — по мнению Аввакума — уничтожить "никонианство", как все стало бы на свои места... Сила этого сосредоточения была такова, что хочется сказать: без Аввакума — никакого Никона не было бы.

* Поскольку работа о. Всеволода издана на французском языке и незнакома большинству читателей, стоит указать, что никаких намеков на "преимущества" Западной Церкви перед Восточной в статье — нет.

А патриаршество Никона было непродолжительным: всего-то шесть лет — с 1652-го по 1658 год.

Патриарх Никон (в миру — Никита Минич) по убеждениям своим был теократ.

Но сказать так — словно бы ничего не сказать, или, напротив, сказать слишком много.

Тот, кто пытается включить государство в Церковь, практически ничем не отличается от того, кто вожделеет — включить Церковь в государство. Таким образом, речь идет о “чистой политике”, как бы эта политика ни самоназывалась. Именно политикой была мучительная и жестокая “тяжба” патр. Никона с царем Алексеем Михайловичем. Протопоп же Аввакум вопреки его собственному впечатлению к этой политике отношения не имел. В “амбивалентной двойце” Никон — Аввакум неявно столкнулись два *неверных и для церкви губительных* убеждения: “Париж стоит мессы” — “месса стоит Парижа”.

Так и раскололи Никон с Аввакумом Русскую Церковь: каждый тянул на себя, а там — и Петр I появился.

Ни один из сражающихся — и сраженных — этого не понял.

Вот, жалуется Аввакум на государственное засилье: “В коих правилах писано царю Церковью владеть, и догматы изменять, и святая кадить? Только ему подобает смотреть и оберегать от волк, губящих ея, а не учить, как вера держать и как персты слагать. Се бо не царево дело, но православных архиреов и истинных пастырей...”

Но как же царю “подобает смотреть и оберегать”?

“Перестань-ко ты нас мучить тово! Возьми еретиков тех, погубивших душу твою, и пережги их, скверных собак...”.

Не тех жжет...

Автор — не церковный писатель. Но, не пытаясь разрешить вопросы, которые, можно сказать, не ему заданы, — позволяет себе высказаться.

Наиболее страшные, длительные и труднопоправимые беды Церквей — Ветхозаветной и Новозаветной, Западной и Восточной — шли и идут от различных вариантов “симфоний”. Государство, защищающее церковь своими, государственными, методами, в полном своем государственном праве требовать от церкви поддержки своих “светских” устремлений. Церковь, настаивающая на государственной поддержке, волей-неволей становится государственным учреждением. Реформируется или уничтожается

данное государство — та же судьба постигает и церковь. Но главный соблазн заключается в попытках "построить" или "найти" такое государство, которое бы "совпадало" с церковными представлениями, которое было бы не "засорно" поддерживать и укреплять. Вот здесь-то и видим мы непонимание смысла второго искушения Христова, как рассказано о нем в Евангелии от Луки.

"И возвед Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми и славу их, *ибо она передана мне, и я, кому хочу, даю ее* (разрядка моя, — Ю. М.); итак, если Ты поклонисься мне, то все будет Твое. Иисус сказал ему в ответ: Отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи" (Лука, 4; 5-8).

Легко согласятся с тем, что "церковь не должна подчиняться плохому государству". И тем более его поддерживать. С несколько большей трудностью возможно убедить слушателя, что и "хорошее" государство церкви не пара... Но самое сложное — догадаться, что церковь *не должна говорить государству ни "за", ни "против", — никакому государству: демократическому ли, монархическому, тоталитарному, либеральному, — никакому.*

Более того: церковь не имеет нужды выступать с критикой тех или иных государственных "уродств", поскольку такая критика как бы предполагает возможность похвалы государственным "красотам". Только при такой абсолютной разделенности, государство не в состоянии нанести ущерб церквям; и, соответственно, не имеет возможности "помочь", поскольку помощь эта оборачивается непоправимым вредом. Учение, которое предлагают своей пастве Ветхозаветная и Новозаветная Церкви, не может быть "оспорено" государством, не может быть государством "подтверждено". Но оно может быть *искажено* в сердцах верующих прежде всего "государственной поддержкой". *

.....

*

"... всякая попытка построить государство на законе Христовом роковым образом обречена на неудачу. Нам не дано соединить несоединимое. Опыт прошлого и познание истинной природы государства не позволяет нам мечтать о христианской державе на земле. Но путь христианского делания в государстве открыт и нам, даже больше: он нам указан, как наш долг" (еп. Кассиан /Безобразов/. "Царство Кесаря пред судом Нового завета", "Возрождение", Париж, 1949, стр. 49-50).

А. В. Карташев, кстати, придерживается идеи "симфонии".

В переписке царь величал Никона так "Избранный и крепкостоятельный пастырь, наставник души и телес, возлюбленный любимец и содружебник, солнце, светящее во всей вселенной, собинный (особенный) друг душевный и телесный".

...В 1659-м году ушедший с патриаршества Никон тосковал по этой "душевной и телесной" дружбе, жалуясь по-детски в своих письмах к царю: "Бе иногда во всяком богатстве и единотрапезен бе с тобою. Не стыжуся о сих похвалиться. Питан яко телец на закаление толстыми многими пищаами по обычаю вашему государеву, его же аз много насладив, вскоре не могу забыть..."

Но до этого грустного письма было еще далеко.

В 1652 году — после долгих уговоров — Никон принял Патриаршество.

А В. Карташев пишет в своей "Истории Русской Церкви":

"Никон развивал к себе любовь царя не только по личным мотивам, но и в целях своей церковной идеологии, в целях достижения действительной покорности светской власти власти духовной..."

(Никон) решительно примыкал к большой государственной мысли царя Алексея о превращении русского царства во вселенское, нео-"цареградское", и решительно был занят своей программой-максимум о возвышении церкви над царством".

Короче говоря, Никон и Алексей Михайлович хотели одного и того же — каждый для себя...

Но не стяжатель он, Никон, был, не циничный жулик, а — *гипоманьяк*: большой, шумный, грохочущий человек. С одной стороны, у него — уклончивый, "семипятничный" Алексей, прозванный Тишайшим, с другой — шизоид бешеный: Аввакум.

Здесь не место пересказывать в подробностях сущность и содержание Никоновой реформы. Заинтересованные могут обратиться все к той же "Истории" Карташева и к статье одного из крупнейших русских литургистов доктора Церковной истории проф. Н. Д. Успенского "Коллизия двух богословий в исправлении русских богослужебных книг в семнадцатом веке" (Богословские труды, вып. 13, М., 1975).

"Когда какое-либо грандиозное по замыслу мероприятие приводит к результатам, противоположным намеченным целям, — пишет проф. Успенский, — такое положение можно назвать трагическим".

Ничего иного и быть не могло.

Реформа телесных и душевных друзей практически мгновенно перестала быть реформой церковной, — а возможно, и никогда ею не была... По сути, проводилась "широкая идеологическая подготовка" для создания "канонической надстройки" будущего неопатриаршего царства (III Рима). Требовалось унифицировать церковную службу и, соответственно, богослужебные книги так, чтобы все это совпадало с греческим эталоном: для политики требовалось. Реформа и проводилась по-государственному: с инструктивными письмами, "всеобщей коллективизацией" и ликвидацией несогласных.

Получилось именно то, что и должно было получиться.

Жуть и бешенство, которые охватили ревнителей благочестия при виде того, во что вылилась эта реформа, их челобитные и доносы, их смерти и

отречения, — ничего изменить не могли. Дело было государственное, а не персонально-никоновское...

По рекомендации Никона, присоединили Украину к России.

Никон не советовал воевать с поляками — в 1654-м — и со шведами — в 1656-м. После неудачи шведской кампании царь на друга несколько надулся. Этим воспользовались многочисленные Никоновы враги и завистники.

Табачок (государство) — врозь...

Началось с пустяков.

6 июля 1658 года на встрече грузинского царевича Теймуроза окольный Алексей Михайловича — Хитрово — двинул палкой по лбу представителя Великого Государя (так велено было звать патр. Никона) — кн. Дмитрия Мещерского — время такое пришло... Царь не отреагировал.

10 июля — в день Положения ризы Господней — царь отсутствовал на утрене. Через посланника он велел передать Никону, что — "гневен". Повелел также, чтобы Никон не писался больше "Великим Государем" и что почитать Никона он "впредь не будет".

Патриарх был сражен. Все планы его строились не на тонких политических выкладках и ходах, а на этой самой собинной дружбе и на глубочайшей уверенности в своей правоте. Ведь ссылки, казни, соблазны от декретированной отмены многовековых церковных традиций, — они не просто так, а для осуществления будто бы христианской концепции: великого православного теократического государства от моря и до моря!..

Последующие действия патриарха были, возможно, чересчур театральными, но вполне последовательными. Как и все сверхуверенные в себе люди, Никон абсолютно не понимал, что движет теми, с кем ему приходится сотрудничать. Психологическая слепота. И Никон решил "одолеть" царя по-своему...

К литургии в Успенском соборе патриарх распорядился принести в алтарь его простую монашескую ряску, клобук, раздобыть где-нибудь поповскую клюшку.

Отлитургисал, причастился. Не открывая царских врат, сел перед престолом, написал письмо "другу"...

Затем взошел на амвон — и со слезами обратился к оторопевшему народу:

— Ленив я был учить вас... От лени я окоростовел, и вы, видя мое неучение, окоростовели от меня... От сего времени не буду вам патриархом...

Через трое суток Никон уехал в "вотчину": в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь.

Де-факто отречение было принято. Остальное было вопросом времени и политики.

А пока что Никон, сидя в Новом Иерусалиме, томился, скучал и обстреливал Алексея Михайловича посланиями — просительными, хулительными и прочими. Близким человеком к нему стал иподиакон Воскресенского монастыря, бывший Никонов келейник — Герман: один из крупнейших русских силлабических поэтов. А из мирских — боярин Никита Зюзин.

Этот-то Зюзин и доконал Никона.

Самоотставленный не находил себе места. А Никита — горячий приверже-

нец и поклонник Никона — внушал своему несчастливому патрону, что надо, мол, ему *вернуться*: сам ушел, сам и пришел¹

В ночь на 16 декабря 1654 года, забрав малое облачение патриаршее, Никон прибыл в Кремль к южным воротам Успенского собора.

Шла утренья.

Вся эта "наполеоника" была подготовлена Никитой Зюзиным — при посредстве мельчайшей служилой церковной братии. Верхние люди ничего не знали.

Тогдашний Местоблюститель — митр. Ростовский Иона — при общем смятении подошел к Никону благословиться. Его Никон и отправил с письмом к царю — все те же методы...

Царь срочно созвал совещание, в котором приняли участие все находящиеся на Москве архиереи и ближние бояре. Решение было отрицательным. Специальная делегация сообщила об этом Никону, который стоял в соборе на "своем" патриаршем месте. Но Никон заупрямился: заявил, что, покамест не получит царев ответ на свое письмо, "до тех мест из соборных церкви не пойдет". Царь письмо прочел. Там говорилось, что он, Никон, решил вернуться на Патриаршество, так как было ему видение: ангел явился. А царь видение это истолковал по-своему: явился Никону не ангел Божий, но посланник сатаны...

Никону был предъявлен ультиматум: "Из соборной церкви поезжай в Воскресенский монастырь по-прежнему, да поспеши до захода солнца, чтобы не случилось потом чего неприятного".

Это был конец.

Долгий конец.

В 1666 году патриарха Никона судили. Присутствовали на этом соборесуде и греческие "вселенские" патриархи (пройдет двести пятьдесят лет — и греки поддержат советских "обновленцев", еще немного — и поддержат митр. Сергия /Страгородского/). "Грекофила" Никона они засудили жестоко.*

"Мы — патриархи учинили его (Никона.— Ю. М.) всякого священнодействия чужда... Именоваться ему простым монахом Никоном, а не патриархом Московским... Место же его до кончины жизни назначили в монастыре, чтобы ему беспрепятственно и безмолвно плакаться о грехах своих".

Патриарх Александрийский собственноручно снял с Никона клобук и панагию. Никон не сопротивлялся, но и язык на привязи не держал. Протокольная запись несколько смягчена, но силу иронии Никона почувствовать можно: "Знаю-де и без Вас, как жить, а что-де клобук и панагию с него сняли, и они бы с клобука жемчуг и панагию разделили по себе, и достанется-де жемчугу золотников по пять и шесть и больше..."

Патриархам было все равно: они выполняли государственный заказ — ведь главным источником их доходов была Россия, и если русский царь по своим соображениям решил сменить патриарха, то следует ему помочь...

В декабре 1666 года Никона привезли в Ферапонтово, в тамошний монастырь. Режим содержания — тюремный, со строгой изоляцией.

* Существует пять православных патриархов: Константинопольский, Александрийский, Иерусалимский, Антиохийский и Московский.

Поскольку Алексей Михайлович не был "политиком нового типа" и мучила его совесть из-за последствий *им же* организованного суда, то велено было режим смягчить. Это не устраивало врагов поверженного патриарха Московского. Поскольку царь на уговоры не поддавался, принялись собирать на Никона материал политический. К тому времени загулял по Дону Стенька Разин. В соответствующие инстанции представили доклад, будто бы Никон намеревался бежать на Дон. И Никона вновь заперли на семь замков.

"Теперь я болен, наг и бос, — пишет узник к царю в 1672 году. — Со всякой нужды келейной и недостатков оцынжал, руки больны, левая не подымается, из зубов кровь идет смердящая... Ноги пухнут".

Умиравший царь "проявил либерализм". Перед смертью просил у бывшего друга прощения. Узнав о смерти Алексея Михайловича, Никон прослезился, но прощения на письме не дал...

Царь Федор Алексеевич своей волей, вопреки тогдашнему патр. Иоакиму, распорядился вернуть Никона домой — в любимый Никонов Воскресенский монастырь. Но было поздно. Обоз Никона был уже на Волге, против Толгского монастыря под Ярославлем. Там, 17 по старому стилю августа 1681 года Никон скончался.

Аввакум пережил его меньше чем на год.

А в год Аввакумовой смерти прислана была в Москву разрешительная грамота от всех патриархов. Повелевалось в ней причислить Никона к патриаршему лику и поминать его в таком звании по церквам открыто.

На Поместном Соборе Русской Православной Церкви (Московская Патриархия) 1971 года была признана законность "старых обрядов".

Если кто-нибудь спросит, почему здесь так много о Никоне — и так мало об Аввакуме, вспомним, что Аввакум и сам о себе написал, а вот Никон — нет. Писателям всегда легче.

III

"Личность самоопределяется в борьбе, в утверждении своего благополучия, а потом в утверждении своих взглядов, своих идей, против идей господствующих, гнетущих свободу личности с помощью государства, церкви... И с этой точки зрения борьба Аввакума с государством и церковью, с людьми благополучными и косными — это только новый этап борьбы за освобождение человеческой индивидуальности. Освободившись, сама эта личность грозит начать угнетать других. Но здесь "Житие" протопопа Аввакума стоит на грани новой трагедии — трагедии индивидуализма.

Как бы то ни было, Аввакум ведет индивидуальную борьбу. Он вызвал против себя на единоборство все современное ему общество и государство. Он ведет титаническую борьбу один на один. Борьба Аввакума не только духовная — за духовную, умственную свободу личности, но и борьба физическая" (Д. С. Лихачев. Развитие русской литературы десятого-семнадцатого веков. Эпохи и стили. "НАУКА", Л., 1973).

Это вялое косноязычие (в точности по "Сказке о тройке" братьев Стругацких: "Бороться за то, чтобы борьба стала главной в борьбе...") есть тем не менее вершина всех безрелигиозных штудий — как цензурованных, так и неподцензурных — на тему "неистового протопopa". А забить баки цензору сравнительно нетрудно — особенно в благоприятной ситуации: статья апробированного академика на апробированную тему. Нетрудно и выскрести скудноватую крамолу: Аввакум — диссидент; опасность такого диссидентства заключается в том, что сам диссидент недостаточно свободен внутренне и т. д. Бороться за то, чтобы борьба...

Специфический "страшный суд" (кавычки В. В. Розанова) всех "атеистов" (кавычки мои.— Ю. М.), занимающихся религиозной, церковной словесностью и искусством, состоит в неизменном решительном поглупении.

Все попытки "изучать особенности языка и стиля" Аввакума, абстрагируясь от "религиозного содержания", обречены на провал. Причины этого провала... Чтобы не попасть впросак, скажу лишь: "Религиозные воззрения Аввакума являются несущим элементом структуры его текстов".

А теперь пускай кто-нибудь скажет — нет, не являются.

Но все не просто.

Ни девятнадцатому, ни первой половине двадцатого века русской литературы писатель Аввакум — не дал ничего. Восхищения Тургенева и "передеры", скажем, А. Н. Толстого в счет не идут. И лишь в последние полтора-два десятилетия возникло — возникает? — некое... Этакое.

"Жесткая" автобиография, составленная в присутствии Бога.

Отсюда эти головокружительные лексические перепады — от самого верха до самого низа и обратно, — аж дух екает, истерические всхлипы и черная кривая усмешечка, физиология и фразеология, жанровая неопределенность и "несобственно-прямая речь", хитро открытые цитаты, обличающие крепко начитанного интеллигента, и криминальные взвизги: "А дело было на бану, да под Ростовом-на Дону, — кошмары, бя, кошмары, бя, кошмары..."

Понятный нам человек — протопop Аввакум.

Грядущий изучатель современной нам прозы о нем еще вспомнит.

Автор выражает благодарность отцу Илье и его домашним за помощь в подборе необходимых материалов, а также — отцу Всеволоду за предоставленную возможность ознакомиться с его статьями о протопope Аввакуме.

ОЧЕРКИ И ВОСПОМИНАНИЯ

Указывая на то место на карте, где в двух шагах от советской Средней Азии вьется, почти на одинаковом расстоянии от Кабула и Исламабада, афгано-пакистанская граница, мой западногерманский друг сказал:

“Вот тут — один из двух крупнейших в мире районов производства опиума и гашиша. Здесь, по недавним сведениям, производилось более 55 тысяч тонн героина в год. Даже трудно себе представить, что это означает в смысле искаленных человеческих жизней. Не для печати, разумеется (а то меня засмеют), но, по моему глубокому убеждению, Москва захватила Афганистан вовсе не для того, чтобы приблизиться к нефтеносным полям Персидского залива. Советское появление там было бы слишком рискованным — оно могло вызвать мировую войну. Нет, надо было прибрать к рукам этот источник наркотиков! Наркотики — это атомная бомба мирного времени. А какие барыши! Еще три года назад конгрессмен Уольф говорил, что “этот бизнес стоит 57 миллиардов долларов в год”. Думаю, что на самом деле речь идет о гораздо более крупных суммах. Вот вам несколько примеров. Пакистанский крестьянин продает килограмм опиума за 70 долларов. Переработанный в героин,

Кирилл Хенкин

РУССКИЕ ПРИШЛИ

(главы из книги)

этот опиум стоит уже от 9 до 21 тысячи долларов. В Европе он будет продан за 35 тысяч, а в Нью-Йорке оптовик заплатит за него 150—200 тысяч. Продаст же он его за 2 миллиона”.

Есть и другая сторона дела — дополню я от себя.

В 1978 году специальная группа американских конгрессменов изучала проблему злоупотребления наркотиками в американской армии. Оказалось, что в некоторых частях, расквартированных в Западной Германии, от 20 до 30% личного состава регулярно пользуются героином, от 80 до 90% курят гашиш.

Еще бы! В Европе героин и гашиш несравненно лучшего качества, чем в Штатах, и стоит не 300 долларов доза, а всего 10.

Пентагон оспорил цифры комиссии, но не отрицал наличия проблемы: американскую армию в Европе пытаются разложить, снижая ее боеспособность волной дешевых наркотиков.

Западногерманская полиция считает, что весь героин, потребляемый американскими солдатами в Западном Берлине (и более 65% героина, потребляемого ими в ФРГ вообще), приходит из ГДР. А 85% этого героина поступает в ГДР из Афганистана или Пакистана. Это явление сравнительно новое. Еще недавно наркотики поступали на Запад в основном через Амстердам.

Но откуда у ГДР гашиш и героин? Неужели восточные немцы затеяли такую операцию без санкции и помощи старшего советского брата?

Нет, это не восточногерманская затея и даже не локальная операция. Это операция глобальная. Ведь уже примерно три года назад специалисты предсказывали, что в начале 80-х годов новая волна наркотиков, идущая из Афганистана через СССР и ГДР в ФРГ, достигнет Соединенных Штатов.

Достигла! Докатилась!

“В среду, — сообщало 1 июля 1982 года агентство Ассошиэйтед пресс из Нью-Йорка, — полиция и сотрудники федеральных служб задержали восемь иммигрантов из СССР, подозреваемых в принадлежности к группе, занимающейся контрабандой наркотиков и оружия. Два участника группы были арестованы на причале в Бруклине, на улицах которого полиция в тот же день конфисковала на 150 тысяч долларов чистого кокаина. “По правде говоря, — сказал капитан Гендерсон, — они ввозили все, от высококачественного кокаина и героина до запрещенного оружия: пистолеты и даже снабженный глушителем автомат”.

Один из задержанных утверждал, что он гражданин США, двое

сказали, что они граждане Израиля. На бруклинском причале был арестован Евгений Фромер, 22 лет, обвиненный в продаже кокаина, и Владимир Штейн, 28 лет, обвиняемый в хранении и продаже кокаина. На своей бруклинской квартире был арестован 22-летний Давид Купер, выходец из СССР. Его сводный брат, Алекс Фитерсон, 21 года, также арестован. Оба обвиняются в хранении и продаже оружия.

У себя дома были арестованы. Ханох Бен-Моше, 29 лет, и Алекс Гранпольский, 30 лет. Оба — выходцы из СССР, утверждающие, что они граждане Израиля. Их обвиняют в продаже героина. Якубов Симантов, 32 лет, был арестован в принадлежащей ему фруктовой лавке и обвинен в хранении и продаже героина, кокаина и оружия. Георгий Шаповалов был арестован у себя на квартире в Бруклине и обвинен в торговле героином”.

Засылку уголовников с нынешней волной эмиграции нельзя назвать массовой, но трудно отрицать ее целенаправленный характер. Возможная цель этой операции — пронизать своими людьми (а они “свои люди”) уголовный мир Запада. Еще вероятнее — создать свое, параллельное, уголовное подполье по той же примерно схеме, по которой строятся отношения СССР с международным терроризмом. Вряд ли найдется много вожаков “Красных бригад” или ИРА, напрямую связанных с Москвой, непосредственно от нее получающих оружие, указания, деньги. Но, держа в руках источники снабжения оружием и деньгами, наблюдая за отбором людей в учебные лагеря ООП, регулируя дипломатическую и иную помощь, Москва может исподволь, не ввязываясь в авантюры и не рискуя попасться с поличным, направлять террористическую деятельность.

Полагаю, что деятели уголовного мира пользуются даже большей степенью доверия. Многие знают, ибо не могут не знать, откуда поступает товар, откуда идут иконы, антиквариат, фальшивые доллары, иногда оружие и алмазы, а главное — наркотики. Им доверяют, потому что знают — они никогда не рискнут обмануть своего сурового хозяина, советскую разведку. И советская разведка с их помощью успешно осуществляет план обмена контрбанды на западную валюту.

Тут требуются пояснения.

Об экономической немощи Советского Союза, о царящей в стране бесхозяйственности, о несусветном бардаке и нехватке

самых необходимых продуктов, о неумолимых неурожаях сказано уже, кажется, все.

С западной точки зрения рост советской экономики равен нулю. Отсюда рождаются на Западе конструктивные и многообещающие "концепции". Так, считается, что экономические неполадки в СССР неизбежно ведут к краху с и с т е м ы, ибо, во-первых, порождаемые всяческими нехватками черный рынок и неофициальные связи между предприятиями создают в сумме "вторую экономику", которая расшатывает аппарат власти и призвана постепенно его подменить, а во-вторых, все больше прибегая к помощи развитых стран некоммунистического мира, Москва попадает по отношению к ним в зависимость, которая в каком-то (еще не вполне определенном) будущем должна стать полной.

Такие концепции представляются мне спорными. Хотя бы потому, что экономическая помощь Советского Союза сочетается с огромной военной мощью и совершенно уникальной стабильностью государственного (или партийного, это все равно) аппарата, способного извлекать пользу даже из своей слабости.

Мне кажется, что сегодня Советский Союз в своих отношениях с некоммунистическим миром играет, если можно так выразиться, к а р т у своей экономической слабости. Поясню.

Экономическая помощь Запада, помогая латать тришкин кафтан советской экономики, укрепляет СССР, не давая помогающим странам никаких военных или политических преимуществ уже потому, что Запад попросту к этому не стремится. И помощь оказывает совсем по другим причинам — в надежде набить кошелек, обойти конкурента, выгоднее продать Москве "удавочку Ильича". Что не снимает всей актуальности гуманных соображений: торгуя с СССР, мы хотим помочь не правительству, а простым советским людям. Санкции никак не отразятся на кремлевских пайках.

Итак, чтобы действовали все нужные Советскому Союзу рычаги, надо обеспечить барыш западным торговцам.

Часть сделок можно проводить на основе обмена: товар на товар. С советской стороны природные ресурсы. Список, однако, куций: нефть, природный газ, лес, пушнина... И всякая мелочь: водка, икра, матрешки...

А другие сделки требуют оплаты наличными. Где взять валюту?

Вот тут и не обойтись без контрабандной, то есть беспошлин-

ной и неподконтрольной, торговли антиквариатом, иконами, алмазами, наркотиками.

Об иконах и антиквариате мы еще поговорим. Но и то, и другое имеет ограниченный спрос и, с перенасыщением рынка, падает в цене. Кроме того, если налаживают производство поддельных старинных икон в Москве, то трудно помешать шустрым посредникам наладить такое же производство на Западе. К примеру, с тех пор, как "старинные" русские изделия с цветной перегородчатой эмалью начали изготавливать прямо в Нью-Йорке, цены на эти красивые подстаканники, табакерки, солоночки и ложечки быстро поползли вниз. Не очень, конечно, красиво со стороны недавних эмигрантов из СССР, подрывающих таким образом государственную торговлю фальшивой стариной!

С алмазами в этом отношении дело обстоит лучше. Милая дама, которая возит их в Тель-Авив на шлифовку, пряча камушки в самую интимную часть своего тела, не может, как другие ее коллеги, махнуть рукой на первоначального поставщика и начать действовать самостоятельно. Ни у нее, ни у ее друзей нет ни естественных алмазов Якутии, ни советских искусственных алмазов. Кустарным способом их не сделаешь. Это вам не перегородчатая эмаль!

Слабости алмазной аферы иные: сравнительно ограниченный рынок и бдительность концерна де Бээрс, с которым у СССР подписано соглашение, запрещающее Москве непосредственно вывозить свои алмазы на мировой рынок.

Зато наркотики открывают безграничный простор. Никто ни в чем и никогда Москву не уличит. Даже если соберут все доказательства — не посмеют!

Советская Средняя Азия и соседний с ней Афганистан (а там, совсем рядом, Пакистан) обеспечивают бесперебойное поступление опиума, гашиша, героина. Очищать, перерабатывать все это можно, не хоронясь в подвалах загородных вилл, а на государственных фармацевтических заводах Советского Союза и ГДР. Доставка до самого Западного Берлина — не проблема! А там пошло, поехало.

Рынок сбыта не сокращается, не насыщается, а растет. Более того, регулируется. Стоит исподволь организовать даровую раздачу гашиша и героина возле школ и университетов — вот и будущая клиентура.

И собирай беспощинно, бесследно, неподотчетно валюту, ко-

торая будет использована тут же, на Западе, никогда не побывав и на территории СССР, ни на одном из официальных советских счетов на Западе.

Разумеется, мировой рынок наркотиков обширен, и на нем действуют разные, подчас грубые люди. Они не уступят свои позиции без боя. И для боя у них есть соответствующий народ.

Поэтому и появились в некоммунистическом мире плечистые мальчишки из Ленинграда, Одессы, Кишинева и Риги, умеющие действовать и огнестрельным, и холодным оружием, и кулаками.

Но почему, скажут мне, эти рыцари вольного предпринимательства, стонавшие под игом социализма и дорвавшиеся наконец до просторов свободного мира, не пошлют своих вчерашних хозяев из ОБХСС куда подальше, не вольтуются в местный преступный мир?

А с какой стати они станут это делать? Сохраняя верность своим нынешним хозяевам, они обеспечивают себе бесперебойное поступление высококачественного товара (к западным источникам наркотиков их никто не подпустит) и всякую косвенную помощь. А при любом самостоятельном шаге — в лучшем случае выдача местной полиции и долгие годы тюрьмы, а в худшем... Лучше не думать!

Отсюда вывод: ничтожная в абсолютных цифрах уголовная часть третьей эмигрантской волны имеет, возможно, весьма серьезное назначение.

* * *

“Уже год живем в этой говенной стране, истратили больше двухсот тысяч марок, а сволочи-немцы до сих пор не дают политического азия!”

Муж и жена, скромные труженики, недавно выехали из СССР. Он инженер, она эстрадная администраторша. В одном из провинциальных городов, а потом в Москве они сумели из своей мизерной зарплаты отложить два миллиона рублей. Вложили деньги в иконы и другой антиквариат. Ценности из СССР поступают к ним регулярно.

До недавнего времени для них в Западном Берлине “держал вокзал” — то есть принимал товар у приезжающих — их доверенный человек, бывший одессит. Назовем его Левка Баскин. Его дело было следить, чтобы африканские дипломаты скромного ранга

и темнокожие студенты из университета Патриса Лумумбы вели себя честно и сдавали вещи по назначению. Для поддержания профессиональной этики и отпугивания конкурентов Левка почти никогда не пользовался оружием. Один раз все-таки пришлось. Тогда Левка бежал в Израиль, где до этого был мимолетно после выезда из СССР. Но собеседник по "воспитательному разговору" чудом выжил, и Баскин вернулся в Европу, где у него было много важных дел.

Не доехав до Германии, он попался на итальянской границе с партией оружия, которое вез западногерманским террористам. Сидел, однако, недолго.

На своем "Мерседесе-450" с телефоном ("Что я им, мальчик, звонить из автомата?") Баскин приехал в Мюнхен. Вскоре его здесь взяли в одной из шикарных гостиниц с партией в восемь миллионов фальшивых долларов, доставленных из ГДР. Профессионально сработанные деньги предназначались для закупки оружия в Бельгии.

По его рассказам, Левка сидел в родной Одессе в тюрьме, когда следователь сказал ему: "Или ты мотаешь в Израиль, или мы мотаем тебе новый срок!"

Хотя и в СССР Левка неплохо жил — держал подпольные игорные притоны, — но бывают ситуации, когда колебания неуместны. Вызов от мифических родственников нашелся у следователя в сейфе.

Не задерживаясь в Израиле, он перекочевал в Германию. Стал ездить по Европе. Начинал скромно, трудясь с друзьями в поте лица. Грабили "бутики" с дамским платьем, мехами и всякими там крокодиловыми сумочками.

Ничего в этом особенного как будто нет. Кроме одного. Сбывали все, как ни странно, в Польше. Казалось бы, железный занавес и всякое такое — ан ничего!

Из Польши, в обход таможни, приходили обратным рейсом вещи, имеющие спрос на Западе. Антиквариат, ковры, икра. И транзитом — русские иконы.

И еще одна любопытная деталь. Если в обществе Левы и его приятелей рассказать, что вот у такого-то в Москве имеются ценные картины, иконы и всякие там фаберже, то буквально через несколько дней вашего московского знакомого грабят. А еще через некоторое время кое-что из его вещей появляется на западных аукционах.

В "Литературной газете" от 14 января 1981 года я наткнулся на заметку "Грязная рука в белой перчатке", где описывалась такая история: в Москве при ограблении квартиры супругов Кудрявцевых была похищена редкая двусторонняя икона Богородицы и Николая Чудотворца, датированная 1531 годом. Затем икона вынырнула в каталоге лондонского аукциона. Супруги Кудрявцевы отправили в Лондон телеграмму: "Нас очень удивляет объявление о продаже нашей иконы..."

Напрасно удивляет.

Та же "Литературка" приводит другой случай: "В октябре 1972 года из квартиры московского коллекционера В. К. Зенкова похитили два уникальных памятника древнерусской живописи — иконы Покрова Богородицы и Св. Сергия Радонежского. Недавно Зенков наткнулся на свое сокровище. Где? В каталоге частной лондонской "Темпл-галери".

"Литературная газета", разумеется, клеймит, возмущается, гвоздит к позорному столбу. Напрасно гвоздит.

Ведь проходили же эти иконы между Москвой и Лондоном через какие-то инстанции? Но об этом в "Литературке" — ни слова.

Под заголовком "Русские иконы в дипломатической вализе" западногерманская газета "Зюддейче Цайтунг" от 25 июня 1981 года сообщала, что в одной только земле Северный Рейн-Вестфалия таможня изъяла за несколько месяцев 887 старинных икон общей стоимостью в миллион шестьсот тысяч марок. Иконы ввозились в дипломатическом багаже. О том, как они в этот багаж попали, газета не пишет, но напоминает, что если ввоз икон в ФРГ облагается пошлиной, то их вывоз из СССР и вовсе запрещен.

Кто же на советской стороне границы покрывает все это дело? Тут двумя-тремя подкупленными таможенниками не обойтись. И одними жуликами тоже. Ведь из СССР ценности идут потоком. Чего только не вывозят. Но, пожалуй, больше всего икон.

Сейчас в любой западной стране даже антикварные лавочки провинциальных городков завалены иконами. Так как же все это сюда попадает?

Можно было бы спросить Левку Баскина, да он, во-первых, сел надолго, а во-вторых, все равно не скажет.

А теперь давайте встанем на государственную точку зрения. Висят в московской квартире или на даче у советского гражда-

нина уникальные, старинные, необычайно ценные иконы. Разве это нормально? Разве есть советскому государству от этого толк? А очутившись на Западе, они обогатят кассу советской резидентуры необходимой твердой валютой.

Так выстраивается крепкая цепочка: от Левы Баскина и старых осведомителей ОБХСС через границу к домушникам и компетентным органам — и обратно сквозь таможеню на Запад, через дипломатическую мелюзгу к мелким и крупным Баскиным, а затем на просторы свободного рынка.

Ну и что? — скажут мне. Задавленное советской системой частное предпринимательство нашло наконец себе применение!

Нашло, не спору.

Но положи руку на сердце: неужели вы думаете, что в СССР можно долго и безнаказанно заниматься подпольным предпринимательством и серьезно фарцевать без глубокого взаимопонимания с ОБХСС? Для того же, чтобы грабить в промышленных масштабах, а награбленное сбывать за границу, нужно не ОБХСС, а кое-что покрупнее.

И еще — согласитесь, что человек, зарабатывающий деньги, и немалые, на контрабанде между Западом и странами Восточного блока и СССР, будет такой возможностью дорожить. Советские же власти, располагая безотказными методами таможенного и паспортного контроля и зная об этих звездах Молдаванки и Подола всю подноготную, будут держать их мертвой хваткой.

* * *

То, что в третьей волне эмиграции процент уголовников высок, признают все. Толкуют это по-разному.

Некоторые старые эмигранты объясняют обилие жуликов тем, что новая эмиграция в большинстве своем еврейская — так чего же вы, мол, хотите? Другие полагают, что уголовники вкраплены в общую массу, чтобы дискредитировать в глазах свободного мира всех эмигрантов вообще — бывших, настоящих и будущих. Согласно третьей точке зрения, если кто и оказывается дискредитированным, то это советская власть, которая этих предпримчивых, энергичных людей третировала как преступников.

Говорят еще, что уголовников мало, они нетипичны, в семье не без урода, сама же семья прекрасна. Эмиграция — сливки инакомыслия, совесть нации, представительный срез мыслящей части

советского общества, свидетельство победы лучшей части еврейского народа над ассимилянтами, ценнейший источник информации для Запада.

Есть еще сторонники теории больших чисел. Но о них не стоит и говорить.

Сдается мне, что назначение этой части "третьей волны" куда более серьезное, чем дискредитация многочисленного и достойного эмигрантского коллектива.

Подумайте сами, разве человек, разъезжающий на "Мерседесе-450" с телефоном, тем более на "Роллс-Ройсе", может кого-то дискредитировать? Наоборот. Перед ним распахиваются все двери, другим эмигрантам надлежит купаться в лучах его славы. За несколько лет жизни на Западе такой оборотистый специалист достигнет общественного положения, которого никогда не достигнут подавляющее большинство добропорядочных выходцев из СССР.

А очень богатый человек — это уже и человек доверенный. Ворочая миллионами, он будет с почетом принят в кругах, к которым других эмигрантов никогда не подпустят из элементарных соображений безопасности.

Пока простого смертного будут перепроверять и выяснять, не скрыл ли он в анкете посещение университета марксизма—ленинизма по месту работы в городе Крыжополе, Левка Баскин, выйдя в очередной раз из тюрьмы, уедет на Средиземное море отдыхать на собственной яхте — в обществе международных тузов. Частично мафиози, но частично и нет.

Через этих людей, быть может, осуществится наконец голубая мечта Москвы проникнуть в высшие круги организованной преступности Запада. Зачем? Да затем, что на определенном уровне успеха стирается грань между преступным миром и очень уважаемыми столпами общества.

Возьмем хотя бы такую область, как торговля оружием. На провозе небольшой партии наш друг Лева погорел. Но допустим, что ему удалось провернуть крупную операцию. После этого он может уже руководить делами издалека, не прикасаясь ни к фальшивым долларам, ни к незаконным перевозкам оружия. Он становится уважаемым дельцом.

... Бывший работник французской разведки Ле Руа-Фэнвиль по долгу службы занимался миром торговцев оружием. Он вспоминает, как крупный делец, польский князь, женатый на кино-

звезде, пригласил его с женой на прием в свой замок под Парижем.

Бедный полковник Фэнвиль чувствовал себя очень неудобно. У подъезда стояли роскошные машины, лакеи в ливреях и белых перчатках разносили шампанское, дух захватывало от сногшибательных туалетов и фраков. Тут собрался цвет делового мира, высшие чиновники, министры. А ведь польский князь просто торг овал оружием. Только очень крупно.

Я уже говорил — напомним снова, — что советские уголовники бывшие или не бывшие в Союзе агентами Угрозыска и ОБХСС, будут сотрудничать с Москвой не из идейной преданности, а потому, что это им выгодно. Без сотрудничества с Советами они лишатся тех фантастических возможностей, которые оно им обеспечивает.

Делясь барышами с Москвой, бывший король Молдаванки не знает забот. В то время как его конкуренты будут с немалым риском и большими расходами везти свой гашиш из Турции через всю Европу, боясь завалиться где-нибудь у самой цели, например, на австрийско-германской границе, наш отечественный урка спокойно примет в Западном Берлине товар, доставленный из Афганистана или Ташкента через Москву и Восточный Берлин.

Могут ли не знать об этом западные разведчики? Вряд ли. Но что стоит Левке Баскину, работая на себя и на Москву, брать при этом поручения от немцев или американцев?..

В феврале 1981 года, как известно, на радио "Свободная Европа"—радио "Свобода" в Мюнхене взорвалась бомба. Полиция долго вела дознание, опрашивали всех сотрудников. Пришли и ко мне. О самом взрыве я ничего, кроме догадок, сказать не мог. Но между прочим заметил, что было бы, возможно, полезно порасспросить орудующих на станции торговцев наркотиками. Инспектор уголовной полиции отмахнулся: что вы, это будет противозаконно! Мы имеем право заниматься только тем, что непосредственно относится к взрыву. Видели ли вы, как закладывали взрывчатку? Нет? Очень жаль, что побеспокоили. А если вы в тот же вечер наблюдали, как кто-то в коридоре станции зарубил топором, то это нам ни к чему.

Кстати — через несколько месяцев после взрыва в профсоюзный комитет радио "Свобода"—радио "Свободная Европа" пришло сообщение прокуратуры: одна из сотрудниц арестована по обви-

нению в шпионаже и, кажется, соучастии во взрыве. (Она проработала на станции 29 лет!)

* * *

Пока писалась эта книга, а отрывки печатались в разных журналах, накопились и кое-какие критические замечания, на которые хочется ответить.

Некоторые еврейские друзья считают, что, ставя под сомнение сионистский характер нынешней эмиграции, я бросаю на нее тень и принижаю ее героический характер. Но я действительно не считаю эту эмиграцию сионистской, а героизм не измеряется ужасом, пережитым в момент подачи документов в ОВИР.

Другие говорят, что характер этой эмиграции определяет не серая бездушная масса, а выехавшие с ней диссиденты. Критикуя эмиграцию, я посягаю на советское инакомыслие.

Согласен, что роль выехавших диссидентов велика, хотя процент их и не высок. Но тут не следует забывать, что, отпуская диссидентов и предоставляя таким образом той или иной группе из них рупор за границей, советские власти обеспечили себе богатые возможности влияния одновременно и на внутреннее инакомыслие, и на западное общественное мнение.

Теперь уже от властей зависит, кто какую группу возглавляет, кто ее представляет, чей голос звучит во внешнем мире громче, чей — тише, а чей и вовсе не слышен.

И наконец: "Ваша концепция, говорят мне, чисто негативная. Мы охотно верим, что вы противник советской системы. Но, даже развеивая иллюзии, надо же предложить что-то взамен. Где альтернатива? От вашей книги остается впечатление, что с советской системой нельзя бороться, да же находясь в эмиграции!"

При всей нелюбви к советской системе и глубокой убежденности в том, что бороться с ней необходимо, я не имею готового ответа, конкретного предложения, особенно для эмиграции. Я хочу лишь указать на ошибки прошлого и на некоторые странности настоящего.

Недавно я прочитал книгу Михаила Демина "Блатной". Меня поразила эта писанина, которую автор выдает за "правдивый рассказ" о жизни воров России и их законах.

Я стал вором в 13 лет. Семь лет я жил воровской жизнью. Еще десять кочевал по сибирским лагерям. Неписанные правила воровского мира мне хорошо знакомы.

В книге Демина нелепости бросаются в глаза буквально на каждой странице. Он пишет, например, о том, как "пацанов" на сходках производят в "законных воров". Так может писать лишь совершенно некомпетентный человек. У воров нет никаких "пацанов" и "авторитетов", и "вор-законник" формируется не "постановлением" сходки, а всей своей жизнью, признанием других воров, которые знают его жизнь и его дела. Демин описывает игру воров в карты, воровские "дуэли" и прочее, не понимая, о чем он пишет. Когда, садясь играть, объявляют, что игра будет "воровская", это означает — "честная"; чаще же всего ничего не объявляют, а играют на выигрыш — кто кого обманет. Нет среди воров и никаких дуэлей, да еще с "секундантами": без сходки никто не возьмется решать судьбу вора один; если же вор виновен, то его тут же, на сходке, убивает тот, перед которым он провинился, без всякой дуэли.

Только смех может вызвать рассказ Демина о "международной конференции" воров. Я побывал в Сибири, от Верхоянска до Нижнего Янска, от бухты Тикси до Керенска, что по Лене-реке, был в Крыму и во Львове, объездил весь Кавказ, Среднюю Азию, Урал, почти всю Россию, встречался со многими ворами, в

Иерухам Абрамов

**ПРОКЛЯТОЙ
ВОРОВСКОЙ ДОРОГОЙ**

том числе сидевшими еще при царе, — но никогда и нигде не слышал о такой "конференции".

Всю эту чушь Демин приписал вора́м потому, что сам был среди них чужаком, и это видно из его же рассказа о столкновении с воров Лениным. Как бывший вор, я понимаю, что Ленин разгадал в Демине чужака и пытался отогнать его от воровского общества. Но Демин, видно, принадлежал к числу тех вьедливых и мстительных чужаков, которые после разоблачения затаивают злобу в душе. Только страхом разоблачения могу я объяснить то, что Демин подкараулил отгонявшего его Ленина и убил его ночью в туалете. Мои подозрения подтверждает и признание Демина о его последующих контактах с "кумом" (следователем лагеря): настоящие воры не помогают расследованию убийства и на тех, кто встречается с "кумом" без нужды, смотрят с недоверием.

Книга Демина может иметь успех среди западных читателей, незнакомых с советским воровским миром. Она может понравиться и читателю советскому, далекому от этого мира. Но она не правдива. Мир воров — жестокий и сложный мир — еще ждет своих бытописателей.

... Меня поймали 15 августа 1948 года, в Ташкенте. Попался я один. Меня привели в четвертое отделение ташкентской милиции. Спрашивали о сообщниках. Я все брал на себя. Избив до потери сознания, меня швырнули в камеру. Оттуда на третий день перевели в тюрьму.

На суде мне даже говорить не дали. Спросили, как обычно, фамилию, имя, отчество, год рождения и прочее и через 20 минут зачитали приговор: шесть лет трудовых лагерей.

После суда я неделю провел в тюрьме, дожидаясь этапа. Тюрьма была переполнена: поток шел за потоком. Надо было набрать как можно больше рабов для "великих строек коммунизма". Здесь сидели рабочие, арестованные за кражу... катушки ниток или лоскутка (в приговорах это называлось "расхищением государственного имущества"), сидели крестьяне, которые "присвоили" початок кукурузы или несколько яблок. За все это давали семь-восемь лет каторги. Один из заключенных рассказал, что прошел всю войну, а жена его в это время работала в колхозе, "давала урожай для победы". Вернувшись, он узнал, что один его ребенок умер от голода. Он пошел работать, чтобы прокормить оставшихся. Однажды он взял с плантации три кисти винограда.

Его осудили за "кражу колхозного добра" (в приговоре не уточнялось, какого именно) . Семь лет...

Через неделю меня по этапу направили в лагерь около Ташкента, в город Чирчик. Город этот был целиком и полностью построен каторжниками, еще до войны, затем его задним числом приписали к "комсомольским стройкам".

По прибытии нас построили колонной и начали перекличку. Потом повели в баню, а после бани распределили по бригадам. Мы должны были рыть канал для орошения Голодной степи. Работенка на первый взгляд показалась мне не слишком тяжелой. Народу копошилось множество. Поднимали наполненные землей тачки по деревянным настилам, долбили кетменями землю.

Завтрак состоял из 150 граммов хлеба, овсяной каши с песком, который отвратительно скрипел на зубах, и кипятка. Работа в страшный среднеазиатский зной вызывала сильную жажду, но воды не давали. Только в полдень раздался звон чугунного колокола — обед!

На обед давали суп-баланду. В содержимом этого варева разобраться было невозможно. Попадалось несколько крупинок, какие-то зеленые листики. На второе — перловка, опять пополам с камешками. И снова работа. Теперь я понял, что такое жажда. В котловане валялись трупы со страшными пересохшими ртами. В жилую зону нас приводили едва волочащими ноги. За каких-нибудь несколько дней я смертельно устал. А впереди было шесть долгих лет. Выдержу ли я?

Наступила зима. Дождь превратил дорогу в болото, ноги погружались по щиколотку, направляющие все прибавляли шаг, чтобы быстрее миновать трудное место.

Конвоировал нас старшина, отличавшийся особой жестокостью. Ему тоже трудно было шлепать по грязи. Он крикнул: "Направляющий, короче шаг", — но колонна продолжала идти с прежней скоростью. Видно, впереди не расслышали слов команды. Тогда конвоиры стали прикладами останавливать нас, а старшина с пистолетом в руках побежал к голове колонны. Послышались три выстрела и громкая ругань: "Всех перестреляю, сволота!" Скомандовали: "Ложись!" Нас колотили прикладами, сапогами; стоило кому-нибудь поднять голову, как он немедленно получал прикладом по затылку. Одни визжали и выли от боли, другие лишь обессиленно стонали. По рядам прошел слух, что впереди трое убиты.

Мы пролежали в грязи больше часа. Затем нас подняли и повели обратно в лагерь. С нас струями стекали грязная вода и кровь. В таком виде нас заставили "поразматься" — бегать по двору полчаса. Потом загнали в бараки. Бараки не отапливались. Мы разделись, отжали мокрое насквозь белье и одежду. Нас тут же снова вызвали во двор. Три трупа лежали в углу. У одного был пробит лоб, другой лежал с раскрытым окровавленным ртом: видно, что-то хотел сказать в свою защиту, но его остановила пуля. Третий был убит выстрелом в грудь.

Трупы лежали во дворе двое суток, потом их убрали.

Старшину мы некоторое время не встречали. Но вскоре он появился вновь: теперь на его плечах красовались новенькие погоны младшего лейтенанта МВД.

Комендант лагеря здесь был из заключенных. Все ужасы, творившиеся в лагере, голод, жажда, смерть были полностью на его совести. Однажды утром этому коменданту прямо на вахте, во время развода, заключенные отрубили голову... К ужину назначили другого, но и его царство длилось недолго — во время того же ужина его закололи, как кабана.

В один знаменательный день произошло событие, которое изменило весь ход моей лагерной жизни.

Двое из бригады Базара не смогли втащить тачку на крутой уклон. Они остановились, один из них достал кисет и принялся скручивать сигарку. Мгновенно к нему подскочил один из базаровых телохранителей и с криком: "Кто тебе перекур позволил?!" — со всего маху ударил бедолагу дубинкой по голове... Я много видел страшного, но подобного мне встречать не приходилось — кисет выпал из пальцев каторжника, а сам он застыл неподвижно, как будто вбитый в землю...

Я крикнул рабочим:

— Бери кирки и лопаты! Пошли к Базару, пора судить его!

Люди Базара окружили его со всех сторон. Наша группа подошла почти вплотную. Базар коротко предупредил:

— Ближе не подходите — начнется резня!

Наше столкновение увидел конвой, охранники стали стрелять в воздух, раздалось грозное: "Разойдись!.." Мы вынуждены были подчиниться. Ясно было, что охрана и начальство будут на стороне Базара: ведь такие мерзавцы помогали им "выжимать норму".

Охрана отделила нашу бригаду от общей колонны и повела

обратно в лагерь. Мы видели, как напарник умирающего бригадника с трудом оторвал от земли его негнущееся тело, взял на плечи и вошел с ним в строй... Через минуту началась агония: судороги, кровавая пена. В тот же вечер его списали, как скотину, а на его место в бригаду Базара послали нового каторжника.

Начальник лагеря вызвал меня как зачинщика и сказал:

— Я тебя загоню, куда Макар телят не гонял!

На другой день на работу меня не вывели, а велели собираться на этап: начальник сдержал свое слово, и я отправлялся "пасти телят" в далекую Сибирь...

На воротах лагеря, который я покидал, было написано: "Труд облагораживает человека". Эта надпись врезалась мне в память.

Если попытаться вернуться памятью назад, найти тот крохотный стерженек, за который как бы зацепилась моя судьба — зацепилась, чтобы начать разматываться длинной, извилистой и пестрой лентой, — следует, вероятно, вспомнить об одном раннем вечере. Махач-Кала, Северный Кавказ. Я, совсем мальчишка, вышел прогуляться по нашей улице. Меня подозвали ребята постарше — и дали увлекательное, нетрудное для пацана поручение: проследить за неким человеком, вышедшим из ювелирного магазина. Нечего и говорить, — я с удовольствием выполнил доверенную мне "большими" работу. Награда, здесь же врученная, составляла пять рублей. По тем временам это было немало. Деньги я потратил на какую-то лакомую еду.

Шел 1941 год. К тому времени мне исполнилось тринадцать лет. Однажды мать послала меня в магазин.

— Гляди, сынок, чтобы деньги не вытащили!

— Не беспокойся! — ответил я.

В магазине я стал в очередь. У прилавка толкалась группа молодых ребят. Подойдя к прилавку, я попросил взвесить мне два кило сахару, полез в карман за деньгами. Денег не оказалось! Покупатели стали орать, чтобы я не задерживал. Не помню, как меня вытолкнули, как я оказался на улице. С пустой кошелкой и без гроша. Что делать? "Красть!! — ответил глухой рык из самого нутра души. — Красть, как украли у самого тебя!"

С этой страшной мыслью я, сам того не замечая, брел по улицам, проходил мимо магазинов. Как бы с уже определившейся целью, присматривался к очередям.

К одной из них подбежал человек с корзиной и начал протискиваться вперед, говоря:

— Я впереди стоял, я только на минутку вышел...

На ходу он вытащил из кармана кошелек, приготовил деньги, а кошелек снова сунул в карман. Я подошел к нему, встал сзади в самой гуще разбушевавшейся толпы. Все толкались, я тоже. Руки я вытянул вперед — и они оказались у бедер мужчины. Я помнил, куда он сунул кошелек. Рука моя начала подниматься все выше, два пальца нырнули в карман, нащупали кошелек — и меня охватил страх. Я был весь мокрый, пот катил с меня градом. Но пальцы уже цепко держали добычу. Теперь оставалось только извлечь ее из кармана.

Мне не терпелось заглянуть в кошелек, но на улице я не решался это сделать. Я направился к морю — не на пляж, а на пустынный каменистый берег, возле железной дороги.

В первом отделении оказались какие-то бумаги — видно, документы. А во втором — четыре тридцатирублевки и семь красиво сложенных "красненьких", десятирублевок. Одиннадцать трешек. Всего — 223 рубля бумажками и два рубля семь копеек мелочью.

Было приблизительно четыре часа пополудни, когда я вернулся домой. Во дворе раздавались громкие встревоженные голоса: "Война! Немцы напали! Война!"

Так началась для меня Вторая мировая война.

... После долгих дней пути наш обмотанный колючей проволокой состав остановился на станции Китой, под Иркутском. Тут, в Китойлаге, я воочию узнал воровской мир и его законы. До тех пор я был "просто вором" — так сказать, "стихийным"; здесь я стал "вором в законе".

Воровской мир на воле и в лагере — мир закрытый. Он подчиняется особым правилам и неписаным законам. Вор-законник должен быть абсолютно честным по отношению к товарищу, ни в коем случае не выдавать его; во время любой игры обязан честно расплачиваться и требовать того же от товарищей по игре (о "заигранных" скажу отдельно); он не имеет права заниматься мужеложством. Страшное презрение вызывает тот, кто во время "дела" припрятал часть добытого для себя. Такой нарушитель подлежит практически любому наказанию по выбору товарищей,

вплоть до смертной казни. Вор-законник не должен служить в армии или работать.

В лагере законы более суровы. Вору запрещается выдавать товарищей начальству; подличать по отношению к кому-либо, в том числе и к "фраеру"; занимать должности бригадира, коменданта, завбаней, повара, хлебореза и т. п., то есть выполнять те работы, которые повели бы к облегчению его участи по сравнению с другими заключенными. Он может быть бригадиром, но лишь в том случае, если это не ведет к необходимости заставлять работать других.

До 30-х годов законы лагерной жизни для воров были несколько легче: я слышал это от старых воров. Но после 1930 года положение в лагерях резко изменилось: появилось множество воров и воровских групп, которые ничего друг о друге не знали. Поэтому если в зону попадал вор, о похождениях или хотя бы кличке которого никто из находящихся в данном лагере не знал, его "законником" не признавали и отталкивали. Воровской мир пытался таким образом спасти себя от самозванцев и провокаторов. В результате возникло множество враждующих группировок, которые жили по собственным законам. Произошел раздел, продолжавшийся до 1946 года. А затем начальство начало последовательно уничтожать остатки воровской солидарности: воров стали гн у т ь, вынуждать их становиться с у к а м и, идти на службу к начальству, предавать товарищей.

История воровского мира сохранила имя первого "суки" — это был бывший вор Борис по кличке "Рваный". Он первым приступил к выполнению государственного задания — гнуть воров. Было это, как утверждают, в 1946 году на Воркутинском лагпункте.

... Я попал в Китойлаг в мае 1949 года. Мы, новички, ничего не знали о законах в этих отдаленных лагерях. Нас вывели из вагонов, построили. И тогда впервые прозвучало знаменитое: "Здесь закон — тайга, прокурор — медведь..."

Атака началась с первой же минуты, как наша колонна вошла на территорию лагеря. Мы слышали странную команду: "Воры в законе, отойти в сторону!" Мы переглянулись в недоумении. Из строя, разумеется, никто не вышел. Команду повторили — опять не вышел никто. Тогда из кучки начальства вышел человек в гражданском, вплотную подошел к нашему строю и, уставясь в

упор на моего соседа, спросил: "Что ж это ты, Старуха, приказа не слышал?"

Саша-Старуха вышел из строя. Его увели. Некоторое время спустя снова вернули в строй — полуживого. Он едва стоял на ногах. Что случилось?! Саша ответил, с трудом ворочая языком: "Суки гуляют..."

Позже я узнал, что человек в гражданском, некто Коля по кличке "Бессмертный", опознал Сашу среди полутора тысяч человек. Он увел его в фанзу, где Сашу раздели догола и начали избивать, заставляя повторять: "Я не вор, я не вор!" Подводили к нему других воров из этого лагеря, заставляли бить, пинать по ребрам, хлестать по лицу. Когда Саша терял сознание, побои прекращали. Потом начинали снова...

В Китойлаге нас встретила сплошная "с у ч ь я о р а в а", которая рьяно выполняла указания начальника лагеря знаменитого Бурдакова. Когда нас, воров, отделили от остальных, то строем отвели в сторону и начали выводить группами по пять человек во внутреннюю часть зоны. Там находились фанзы — домики китайского типа. Меня завели в одну из них.

— Ты кто?

— Человек, конечно, не зверь, — ответил я.

Договорить мне не дали: двое подхватили меня, третий свел мне руки за спиной и подвесил за веревку, прикрепленную к потолку, затем веревка натянулась, и я повис в воздухе на вытянутых руках. Один из палачей взял в руки валенок, набитый песком, и принялся наносить мне размеренные удары по бокам. После нескольких минут я превратился в сплошную боль. Он бил меня, приговаривая: "Хочешь жить? Хочешь? Говори: я не вор, я буду во всем помогать начальству..." Я молчал. Несколько секунд передышки, затем за меня взялись другие. Потом я почувствовал страшный удар по позвоночнику — и потерял сознание...

Уже на следующий день меня погнали на работу. Товарищи, держа меня под руки, шли со мною. Среди них был один из новоприбывших — Паша-Японец из Иркутска.

В полдень на объект явилась группа сук. Увидев их, Паша схватил столярный топор и направился к ним. Те ничего не подозревали. Паша подошел вплотную к некоему Юре-Шраму, бывшему вору из Омска, и одним ударом разрубил ему голову: она рассеклась, как арбуз. В тот же миг суки бросились на нас с ножами. Пашу они зарезали на месте. Ко мне рванулся один из сук,

держа в руке нож. Я едва успел схватить его за руку. По сей день на ладони видны глубокие порезы...

Нас убили бы всех, если бы не раздалась выстрелы охраны, заметившей резню.

Нас построили и погнали назад в зону. Измученных и полумертвых пинками загнали в изолятор. Ночью я проснулся от дикой боли в голове: тот самый, с ножом, зубами впился мне в темя. Его насилу оторвали, товарищи перевязали мне рану каким-то тряпьем.

Наутро нас разбросали по баракам по двое. Разделив воров, суки начали их добивать. В десять вечера их шаги слышались и перед нашей камерой. Мы втиснулись в стену, готовясь дорого продать свою жизнь. Но тут раздался властный голос Коли Бесмертного:

— Вон отсюда! Вам гнуть велено, а не убивать, понятно?

На следующее утро меня повели к начрежима. Снова начались уговоры и угрозы.

— Гражданин начальник, — отвечал я, — я предпочитаю смерть...

Меня схватили, заложили левую руку в дверной косяк, стали закрывать дверь. Я лишь кричал: "Убейте сразу, суки, все равно с вами не пойду!"

Руку освободили. Словно труп, я рухнул на пол. Начрежима, сопя от ярости, стал топтать меня ногами.

Через двое суток я очнулся в незнакомой камере. Сидевшие там рассказали, что, когда меня к ним швырнули, они приняли меня за мертвеца...

Я лежал и думал: как избежать бессмысленной и неминуемой смерти? И решил...

То, что я решил, на воровском жаргоне называется "раскрыться" — признаться в неизвестном властям преступлении. Такое преступление было и за мной. 2 мая 1948 года я убил человека...

В начале 42-го года я бросил школу — и стал всамделишным ворм: лазил по карманам, играл в карты, выигрывал, проигрывал. Жизнь моя проходила бурно. В свои тринадцать я делал такие дела, которые и 20-летние творить не решались. Однажды я предложил двум моим "коллегам" проехаться по соседним городам, поскольку в Махач-Кале нас — особенно меня — уже слишком хорошо знали.

Мы разъезжали из города в город, по всему Закавказью. Страха я не знал, и воровская удача сопутствовала мне.

С начала войны прошел год. В августе 42-го мы возвращались домой. Махач-Кала встретила нас жуткой вонью. На подходе к городу я увидел толпы людей. Дети плакали, старики и старухи сидели скорчившись на асфальте. Все цепко держались за свои жалкие пожитки.

Вот оно что такое — война! Только теперь я воочию увидел ее второе лицо.

Дома меня встретил отец. За то время, что я не видел его, он осунулся и похудел.

— Ну, как дела, сынок? — наконец спросил он.

Я молчал, ибо чувствовал: мать боится, что отец ударит меня — и тогда я окончательно уйду из дома. Но отец не ударил. Он только спросил:

— Когда же ты бросишь свои черные дела? Ведь война идет... Бросил школу — так учись какому-нибудь делу, работай! Если хочешь, я тебя устрою учеником в часовую мастерскую. Только ты уж не подводи меня...

На другой день отец разбудил меня спозаранок. Мы пошли в мастерскую. Так началась моя трехлетняя рабочая жизнь...

Наступил 44-й год. Я продолжал работать часовщиком. Мне дали разряд и перевели в другую мастерскую. Но дружки меня не забыли. Как-то, возвращаясь с работы, я встретил одного из них, Рому.

— Давай, провожу, — сказал он, — расскажу кое-что. Ты и в самом деле "завязал"?

— Да, — ответил я, надеясь, что говорю правду.

— Завидую тебе. Молодец! А я вот хочу, да не получается. Полтора года в колонии отсидел.

— Давно вернулся?

— Всего две недели. Успел кое-кого встретить, возобновить, так сказать, знакомства...

В день полочки я снова столкнулся с Ромой, лицом к лицу. С ним были еще два парня.

— Привет, Ази! — отозвались они на мое приветствие. — Хочешь с нами?

— Куда?

— Да так, в одно место. Посидим, в карты перекинемся... Пошли, не хочешь сам играть, — поспотришь, неволишь не будем.

Шли мы недолго, вскоре оказались перед закрытыми воротами. На стук открыла молоденькая девушка. Двор, куда мы вошли, был велик и прибран. Под деревом стоял вкопанный в землю стол.

— Ну, Зейнаб, — обратился к девушке один из парней, — приготовь нам чего-нибудь и чай завари покрепче.

— А где вы сидеть будете — во дворе или в доме? — спросила она.

Решили, пока светло, посидеть во дворе, сыграть.

Рома выиграл. Протянул руку, взял деньги с коня — и положил передо мной.

— Ази, — обратился он ко мне. — Ты ведь хочешь сыграть, я вижу. Вот тебе для начала, а там видно будет...

Мне и в самом деле нестерпимо хотелось попытать счастья. У меня были и свои деньги — семьсот пятьдесят с копейками, моя получка. Не стану утомлять подробностями — я выиграл.

Стало темнеть, и мы перешли в дом. Удача сопутствовала мне по-прежнему.

В комнату вошла другая девушка, назвавшаяся Эльмирой.

Она была в ночном халате. Тело ее облегал полупрозрачный шелк. Я затаил дыхание. Свободное место и прибор были только рядом со мной. Она подошла, улыбаясь, присела возле меня — я отодвинулся, чтобы дать ей пройти.

— Ты чего испугался? — сказала она. — Присядь поближе. Налей мне вина покрепче — я хочу выпить с тобой.

От выпитого Эльмира покраснелась. Да и я сам был вполне "готов".

— Давай лучше поднимемся наверх, — предложила она...

Можно сказать, что именно этот вечер и возвратил меня на воровскую дорожку. Я понял, что только вор может иметь достаточно денег, чтобы дверь этого дома была открыта для него и постель Эльмиры была расстелена в ожидании. После того, что я увидел и узнал здесь, никогда не смогу я спокойно вернуться в мастерскую и торчать там ежедневно за гроши...

Все больше затягивало меня воровское жите, ибо я отлично понимал: не будет у меня денег — никогда не смогу я встречаться с Эльмирой, да и вообще посещать этот дом. Придется вернуться в ту скуку, в которой я жил до встречи с Ромой — и с Эльмирой.

Теперь-то я знаю, что это они — и, разумеется, хозяин "ямы" —

наполнили мою душу тем непроницаемо-черным мраком, что привел меня в тюрьмы и лагеря. Но именно эти годы скитаний дали мне понять, что есть зло, а что — добро, научили разбираться в людях. Скитаясь из тюрьмы в тюрьму, из зоны в зону, из ссылки — в ссылку, я часто вспоминал Рому и его друзей. И никогда не забывал Эльмиру. Нет, она была не проституткой, а жертвой. Жертвой голода и нужды, тоски и безысходности.

Халид, хозяин "ямы", взял ее насильно. И не было на него никакой управы, потому что он был властью — пусть маленькой, но властью. Таких людей всегда хватало во времена войн и голода. Они тоже вели войну, но свою личную — обогащались, толкали сирот на путь воровства и разврата. Именно Халид организовал мою первую кражу. Мы тогда ограбили дом его друга, которого Халид специально пригласил на вечеринку, чтобы дом остался пустым. Деньги он отдал нам все, но золото и драгоценности достались только ему.

Халид был мелкой сошкой. Были и значительно крупнее. Они не организовывали налетов, нет! Они "всего лишь" грабили людей, давая им куски черствого хлеба в обмен за драгоценности — ведь золото есть не станешь! А откуда брался этот хлеб? От обвешивания других бедняков, которые долгими часами стояли перед магазином, надеясь получить по своим карточкам жалкий паек.

Остановить время невозможно. Иногда, оглядываясь на прошлое, сожалешь, что все проскочило так быстро, так незаметно, так безвозвратно. Горько думать о долгих годах, проведенных в тюрьмах, в лагерях... А за что? Мальчишкой законы Страны Советов в компании с Халидом превратили тебя в преступника, изуродовали. Закон и власть учили: превращайте людей в воров и убийц, проституток и злодеев, тогда они и станут "настоящими советскими людьми", с которыми можно делать что угодно, ибо голод, страх и ложь растлили их души. Так оно и было...

Жизнь проходила однообразно: воровство, карты, проститутки. Но не было на земле такой силы, которая могла бы отвлечь меня от всего этого.

В 1945 году от тяжелой болезни скончалась моя мать. Долгое время я постоянно думал о ней. Приходили на ум невеселые мысли о нашей семье, об отце: как же он справится со всем? Ведь кроме меня в доме находились пятеро малолетних... Работу в

мастерской после смерти матери я бросил и начал промышлять по-крупному.

Однажды на пути в Ростов я свел знакомство с настоящими, профессиональными ворами. С ними я стал ездить по городам Кавказа и Закавказья. Часто неделями не бывал дома. Несмотря на мою молодость, воры уважали меня как смелого и ловкого парня. У них я научился многому, в частности — окончательно понял: нечем расплатиться — не играй. Иногда страшновато было глядеть на иные способы "расплаты": ничего не стоило заставить проигравшего раздеться догола и пробежаться по улицам в любое время дня и ночи, в любую погоду. Но это были еще "шутки": ведь выигравший мог — и делал это! — приказать своему должнику убить первого попавшегося прохожего, раздеть догола женщину посреди улицы. Словом, было много всяческих мерзостей.

Насмотревшись на все эти ужасы, я в очередной раз решил порвать с воровской компанией, осесть дома, заняться каким-нибудь тихим делом.

Родственники настаивали на том, чтобы я женился: отцу, мол, трудно, за младшими нужен уход. Им удалось сломить мое упрямство. 2 мая 1946 года, когда мне исполнилось 18 лет, была сыграна свадьба. Меня женили на моей дальней родственнице.

После женитьбы отец и родные принялись подыскивать для меня настоящую работу. Удалось выхлопотать у городских властей разрешение на будку для мелкого ремонта часов. Я начал работать самостоятельно.

Но так продолжалось весьма недолго. Быть может, во мне что-то надломилось, сам не знаю. Но только все это семейное счастье мне наскучило. И в один прекрасный день за работой я решил в ближайшую субботу снова сходить в "яму". Было это летом 1947 года...

Взяв с собой крупную сумму, я отправился по знакомому адресу. Открыла мне хозяйка, Фарида.

— Как поживаешь, Ази, сыночек, — обрадованно забормотала она. — Все же пришел нас проводить, не забыл...

Меня пригласили в дом. Мы закусили, выпили немного, сыграли, потом Рома с Атой решили отправиться по домам, а Ага предложил продолжить игру вдвоем. Я согласился. К полуночи я проиграл все принесенные с собой деньги.

По дороге меня мучили угрызения совести. Я поклялся, что отыграю все обратно. Обычная история...

Раз за разом приходил я в "яму", оставляя там вещи, золото, драгоценности. Ага доил меня, как фраера.

Но однажды счастье улыбнулось мне. После двухмесячной отлучки я разыскал Агу. Играли вдвоем. Я выиграл у него около восьмидесяти тысяч. Ага пришел в ярость:

— Ты, я вижу, научился играть! Это хорошо. Приходи в субботу, продолжим...

— Отлично, — холодно ответил я. — Приду.

— Только денег с собой побольше захвати, — издевался Ага.

Настала суббота. Мы собрались в "яме" с самого утра. Игра шла как во сне: мне невероятно, необыкновенно везло. Рома и Ата проигрались дочиста. Оставался один Ага. Но и у него деньги явно подходили к концу; я чувствовал это по его поведению. Выиграв у него последние, я неторопливо поднялся из-за стола:

— На сегодня хватит. Плати, а завтра продолжим.

— Что?!! — заревел он.

— То, что слышишь. Плати. А там посмотрим.

Ага набросился на меня. Сзади его ухватил Рома, придержал. Он все же вырвался, но до столкновения дело не дошло. Он лишь осыпал меня грязной бранью.

Наступил праздник Первого мая. Мы решили отметить его в ресторане. Внезапно к нашему столику подошел Ата.

— Ази, — сказал он, — с тобой хочет поговорить Ага.

— Где он?

— Недалеко...

Я решил, что следует выйти.

— Нет, — вскочил Рома. — Без меня ты никуда не двинешься!

Стараясь не привлекать внимания, я отвязал нож и поместил его в более удобное место — под ремень. Я словно предчувствовал неладное... Ага стоял на углу, возле ресторана. Он предложил пройти к берегу. Вскоре мы оказались под железнодорожным мостом. Тут Ага внезапно остановился.

— Ты почему всюду треплешься, что я не отдаю тебе долг?!

— А разве я лгу? — ответил я вопросом на вопрос.

Он не дал мне договорить — изо всех сил ударил меня по лицу и крикнул: "Я тебя сейчас заколбасю (убью)!" Рука его нырнула за борт пиджака. Показалась рукоятка кинжала. Но извлечь его я ему не дал. Мгновенно ухватив за кисть правой руки, я резко развернул его — и мой нож оказался у него под левой лопаткой.

Ударив, я отпрыгнул в сторону. Ага сделал несколько качающихся шагов по направлению ко мне — и упал замертво.

Рома и Ата, увидев, что произошло, убежали. Затем опомнился я.

Вопрос стоял просто: кому жить, кому умереть? Я выбрал жизнь. Виновным я себя не считал: он затеял все это, он первый пытался пустить в ход кинжал. Я защищался, а не убивал. И у меня не было иного выхода, чтобы спасти свою жизнь...

Так говорил я себе, убегая из дома, из города, садясь на первый проходящий поезд.

... Баку мне не годился — он был расположен в опасной близости от Махач-Калы, там меня могли обнаружить. Я решил отправиться на другой берег Каспия. В порту я взял билет на пароход, идущий в Красноводск.

Мне не пришлось долго разыскивать себе подобных. В короткое время я обзавелся новыми знакомствами в местном воровском мире. Вместе с новыми приятелями я стал разъезжать из города в город, занимаясь обычным промыслом. Вскоре у меня завелись деньжонки, я накупил барахла — и стал жить припеваючи. В Ташкенте умели, так сказать, даже камни превращать в звонкую монету. Здесь и во время войны жили роскошно, на широкую ногу.

Меня поймали 15 августа 1948 года. На суде я назвался не Абрамовым, а Якубовым — по украденным у кого-то документам.

Теперь, в лагере, пытаюсь спастись от бессмысленной и неминуемой смерти, я рассказал одному заключенному, что настоящая моя фамилия — Абрамов, что в Махач-Кале я убил человека, а потом скрылся. Тот рассказал другим, те — сукам, а уж суки понесли известие к начальству. Через несколько дней меня вызвали к оперуполномоченному. Меня отделили в изолятор. А еще через несколько недель вызвали и сообщили:

— С вещами! На пересуд!

Будущее меня страшило. Я не слишком ясно представлял его себе, зная лишь одно: надо в ы д е р ж а т ь...

(окончание следует)

Георгий Бен

ГРОЗНОЕ ОРУЖИЕ – ИСТИНА

На экранах Израиля с успехом прошел венгерский фильм "Мефисто", идет другой венгерский фильм – "Свидетель". Г. Бен анализирует причины венгерского "кинематографического взрыва".

В наше время судьба человека выражается в политических терминах.

Томас Манн

Дело происходит в Венгерской Народной Республике. По берегу Дуная бежит собачонка. Она останавливается, чтобы поднять лапу и справить малую нужду прямо на красиво выложенный из разноцветных камешков лозунг: "Да здравствует Великий Вождь нашего народа!" – а хозяин собачонки, пугливо озираясь, отчаянно взывает: "Не здесь! Не здесь!"

В будапештском Луна-парке аттракцион под названием "Пещера призраков" переименован в "Пещеру социалистических призраков", и в этой пещере в виде призраков предстают тот же Великий Вождь Матиас Ракоши (а также Великий Учитель Карл Маркс) и члены венгерского ЦК; и кандаляная команда скелетов гордо провозглашает: "Нам нечего терять, кроме своих цепей!"

В будапештском сельскохозяйственном институте идет торжественное собрание в связи с тем, что впервые в истории выращен "венгерский социалистический апельсин" – в одном-единственном экземпляре. А когда, по недосмотру организаторов собрания, этот апельсин съедает ребенок, на поднос вместо апельсина кладут лимон – и все участники собрания в дружном порыве именуют этот лимон "триумфальным достижением передовой венгерской агрономической науки" – "социалистическим апельсином".

Нет, не подумайте, что все это – отрывки из антисоциалистического пасквиля, написанного или поставленного в кино каким-нибудь империалистическим злопыхателем или клеветником-эмигрантом. Как сказал Талейран, "есть более грозное оружие, чем клевета: это – истина". Эпизоды, которые мы пересказали, – это истина, запечатленная в кадрах венгерского фильма "Свидетель", поставленного на венгерской государственной киностудии венгерским же кинорежиссером Петером Бачо.

Судьба фильма была далеко не безоблачной. Петер Бачо снял "Свидетеля" в 1969 году, однако фильм был отложен в долгий ящик – и пролежал в этом ящике девять лет; лишь пять лет назад "Свидетеля" увидел венгерский зритель, и лишь в прошлом году этот фильм был показан на Западе. Сначала он появился на Каннском кинофестивале, а потом начал три-

умфальное шествие по западным экранам. И хотя после 1969 года Бачо сделал одиннадцать фильмов — в том числе такие замечательные работы, как едкая сатира "Рояль в воздухе" (1976) и социальная драма "Время остановилось" (1980), — тем не менее, режиссер сейчас признается: "Свидетель" остается и останется моим любимым детищем".

"Свидетель" — это фарсовая комедия на такую, казалось бы, неподходящую для фарса и комедии тему, как политический террор и сфабрикованные процессы эпохи Ракоши. Однако комическое у Бачо становится оружием борьбы против трагического; как сказал Ницше, "убивают не гневом, а смехом": может быть, именно смеху дано вытравить из человека вчерашний страх, ибо тот, кто смеется над страшным, не боится того, что смешно. И Бачо делает страшное смешным, даже абсурдным; однако это — тот кошмарный кафкианский абсурд, который почти буквально перенесен из реальной жизни, ибо до столь абсурдных ситуаций не додумалось бы никакое, даже самое буйное "клеветническое" воображение. Действительно, нормальному западному человеку многие эпизоды фильма, наверно, кажутся смелой гиперболой: например, когда деревенского жителя сажают в тюрьму за то, что он забил на мясо свою собственную свинью, или когда свидетель на процессе должен зачитать заранее подготовленный текст своих показаний, — а ему по ошибке вручают текст — также заранее составленного — приговора (сразу вспоминается Галич: "Этот сукин сын, пижон-порученец перепутал в суматохе бумажки"). Но мы-то знаем, что все это — никакая не гипербола, это самый, что ни есть "приземленный" реализм, сплошное "бытописание". И поэтому для нас смех фильма "Свидетель" — это тот смех, в котором ощущаются, как сказал Гоголь, невидимые миру слезы.

Герой фильма Пеликан — так называемый "простой человек", сторож на плотине (его с блеском играет артист Ференц Каллаи, внешне и своей поразительной мимикой напоминающий Фернанделя). Пеликан — бывший коммунистический подпольщик, потерявший зубы в фашистском застенке; этим он заслужил "барскую любовь" — покровительственную дружбу министра товарища Даниэля, тоже бывшего подпольщика (его играет видный кинорежиссер Золтан Фабри), и заступничество кагебиста товарища Вирага (виртуозный артист Лайош Озе). Действие фильма происходит в ту недобрую эпоху, когда, как выразилась Н. Я. Мандельштам, "идиотизм и полное непонимание вещей у нас ценилось и служило отличной ширмой". То же и с Пеликаном: с одной стороны, он почти до идиотизма предан "народной власти", а с другой — проявляет полное непонимание того факта, что эта власть — никакая не народная. Оба эти свойства дважды приводят его в тюремную камеру: от избытка преданности он, став директором Луна-парка, пытается превратить безобидные аттракционы в средства идеологического воспитания (что неизбежно начинает выглядеть как пародия на это воспитание); а от непонимания характера "народной власти", став директором плавательного бассейна, он принимает за чистую монету лозунги о необходимости служить народу — и самочинно пускает в бассейн толпу простых "обилеченных" купальщиков, когда в бассейне единолично плавает окруженный телохранителями член ЦК. Однако кто не падает, тот не поднимается, и очередное падение Пеликана становится ступенькой к его дальнейшему возвышению. Каждый раз его вызволяет из тюрьмы и наз-

начает на новый ответственный пост всевластный товарищ Вираг — человек, который так занят служением родине, что утратил всяческий интерес к сексу и нажил язву желудка, так что ничего теперь не может есть (не хочет ли Бачо намекнуть нам, что ревностно защищать родину могут лишь те люди, у которых нет никаких других радостей в жизни?). И наконец Пеликан узнает, почему его все время вызволяли из тюрьмы и повышали в чинах: он удостоивается такой "барской любви", которая действительно оказывается "пуще всех печалей": оказывается, он должен выступить свидетелем на политическом процессе по делу товарища Даниэля, бывшего министра, а ныне врага народа. Когда-то Пеликан спас Даниэля на рыбалке; теперь Пеликан призван засвидетельствовать на процессе, что на самом деле Даниэль тогда нарочно прыгнул в реку, чтобы обсудить свои коварные замыслы с водолазами — шпионами ЦРУ. Такого не может переварить даже бесхитростный Пеликан, раньше без колебаний глотавший все кафкианские выдумки товарища Вирага. Пеликан добросовестно зубрит наизусть текст своих показаний, сочиненных для него маститым венгерским писателем, однако, как выясняется на суде, едва лишь встретившись взглядом с подсудимым Даниэлем, он не только мгновенно забывает свою вызубренную роль, но даже громогласно заявляет, что Даниэль, разумеется, невиновен. И не успевают еще Пеликана вывести из зала суда и снова водворить в тюрьму, как около сидящего в зале товарища Вирага вырастают двое верзил в штатском, и тот покорно склоняет голову: ведь он, в отличие от Пеликана, знает правила игры. А потом, пока Пеликан и Вираг несколько лет рассматривают небо в клеточку, свое место под социалистическим солнцем завоевывает бывший фашист, который когда-то пытал коммунистических подпольщиков, а теперь зарабатывает (и, как мы узнаем, заработает) свою награду от народной власти, выступая на процессах свидетелем против этих бывших подпольщиков (и он, конечно, — более надежный свидетель, чем незадачливый Пеликан). Воистину, червяк, пресмыкаясь, может забраться на высокое дерево; как гласит арабская пословица, тот, кто умеет оказать услугу дьяволу, будет и в адском огне есть мороженое.

Когда-то Петер Бачо и сам служил дьяволу, и он не пытается уверить нас, что всегда был таким умным: в интервью английскому журналисту Дэвиду Робинсону он признал, что был "таким же преданным и наивным приверженцем и участником тогдашних событий, как и герой фильма". В одном из эпизодов фильма "Свидетель" звучит бравурная ура-патриотическая песня: "Товарищи! С именем Сталина — к новым победам вперед!" Текст этой песни написал тридцать с лишним лет тому назад — кто? — сам Петер Бачо. Но это — прошлое. А теперь Бачо сражается с дьяволом, который хотя и присмирел, но не утратил надежды снова показать когти. Фильм заканчивается оптимистической цитатой из Маркса: "Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым". Но, видимо, сам Бачо не вполне уверен, что Венгрия навсегда рассталась с прошлым — и он объяснил Дэвиду Робинсону: "Я отлично понимаю, что в основе каждого смешного эпизода моего фильма лежит трагедия, и мне не хотелось бы, чтобы эта трагичность никак не ощущалась. Моя задача заключалась не в том, чтобы просто показать в фильме нелепости того времени, а в том, чтобы с по-

мощью кривого зеркала комедии высветить трагические противоречия. Только тогда, когда гнусности и нелепости подвергнуты осмеянию, мы можем сказать, что их повторение стало несколько менее вероятным”.

Стоит обратить внимание на слова: “несколько менее вероятным”. Да, сейчас Венгрия — самая либеральная страна коммунистического лагеря, и венгерский художник пользуется такой свободой, о которой его советский, чехословацкий или — с декабря прошлого года — польский коллега может только грезить в сладких снах. Но Бачо не говорит, как сказал когда-то Хрущев: “Разоблачив преступления эпохи культа личности, мы **гарантировали**, что это никогда не повторится!” Увы, как убедились бывшие подданные Хрущева, эти нарушения спокойно повторяются; и, возможно, где-то в будапештских коридорах власти ждет смерти Кадара и своего часа венгерский Брежнев. И чтобы хотя бы **несколько** затруднить ему повторение прошлых преступлений, Петер Бачо и другие венгерские кинорежиссеры считают необходимым напоминать о прошлом, которое для них, увы, еще не совсем ушло в прошлое.

Бачо не одинок: тема ракошиевского прошлого — а шире говоря, тема гнета, деспотизма, нетерпимости, служения злу — очень громко звучит во многих современных венгерских фильмах. Таков, например, фильм того же Бачо “Позавчера” (1980), заглавие которого, по-моему, нарочито перекликается с названием фильма “Вчера” (1959), прославлявшего подавление венгерского восстания 1956 года. Если восстание было подавлено “вчера”, то что было “позавчера”? А вот что: героиню фильма угрозами и иезуитским лицемерием вынуждают подписать свидетельские показания, “разоблачающие” ее мужа — “врага народа”, и она, не вынеся мук совести, бросается в расплавленную сталь в Сталинвароше. И тогда же, “позавчера”, было то, о чем рассказано в фильме Кароя Макка “Любовь” (1970): жена и мать человека, сидящего в ракошиевской тюрьме, лгут друг другу, что он не в тюрьме, а в длительной зарубежной командировке. И тогда же, “позавчера”, сделал блестящую карьеру беспринципный партийный функционер — герой фильма Пала Габора “Анги Вера” (1978). И, если вдуматься, то та же тема судьбы человека при диктатуре звучит в одном из лучших венгерских фильмов — “Мефисто” (1981), поставленном Иштваном Сабо по одноименному роману Клауса Манна. И хотя действие этого фильма происходит не в Венгрии, а в нацистской Германии, история великого артиста Хендрика Хофгена, пошедшего на службу к кровавому деспотизму, звучит современно и злободневно для любого художника и — шире — для любого человека, живущего в условиях несвободы. Да взять хотя ту же Венгрию и ее кинематографию: разве не приходилось подлинно талантливым кинорежиссерам ставить лживые идеологические агитки? И тем хуже, если некоторые из этих агиток были сделаны даже талантливо; например, тот же фильм Мартона Келети “Вчера”, или фильм Золтана Фабри “Двадцать часов” (1964); как показывает Сабо в фильме “Мефисто”, беда не в том, что хофгены, пойдя на службу к фашистам, утрачивают свой талант, — беда как раз в том, что они не **утрачивают** таланта. Это страшнее всего.

Но, судя по тем фильмам, которые **сейчас** ставятся в Венгрии, венгерским режиссерам — по крайней мере, честным режиссерам — сегодня, кажется, уже нет необходимости лгать, чтобы угодить власть предержащим. Конечно,

это не значит, что в Венгрии не ставится лживых фильмов (а в какой стране они не ставятся?); но, по крайней мере, режиссер или писатель, желающий "жить не по лжи", если и не имеет возможности говорить всю правду, то по крайней мере, избавлен от необходимости лгать. Смелость стала отличительной чертой многих современных венгерских фильмов. Однако смелостью западного зрителя не удивишь, и нынешний успех венгерских фильмов на Западе объясняется прежде всего их очень высоким художественным уровнем. Недаром за последние 10 лет по крайней мере 15 венгерских картин получили призы на международных кинофестивалях (полтора призовых фильма в год — совсем неплохо для страны, выпускающей ежегодно всего по 15–20 фильмов), а из них по крайней мере 8 — главные призы фестивалей: "Конец пути" (Мангейм, 1974), "Приемыш" (Западный Берлин, 1975), "Отпуск в Англии" (Мангейм, 1975), "Ничья дочь" (Карловы Вары, 1976), "Американский торс" (Мангейм, 1976), "Пятая печать" (Москва, 1977), "Дождь и солнце" (Москва, 1978), "Мефисто" ("Оскар" за лучший иностранный фильм в США, 1981).

Все это, конечно, не значит, что в Венгрии нет плохих и лживых фильмов; но о киноискусстве — и вообще об искусстве — той или иной страны мы судим не по провалам, а по вершинам, а вершины венгерского кино сейчас таковы, что некоторые кинокритики уже всерьез начинают называть венгерскую кинематографию лучшей кинематографией мира.

Чем объяснить такой "венгерский взрыв"? Мне кажется, двумя обстоятельствами. Во-первых, это эффект новообретенной свободы — именно новообретенной, ибо давняя свобода воспринимается художниками как нечто должное и не вдохновляет на дерзания. А во-вторых, немалую роль, видимо, играют давние культурные традиции и врожденный вкус народа. Даже в худшие сталинско-ракошиевские времена ждановские стандарты всегда вызывали у венгерского читателя и зрителя презрительную ухмылку. Даже в те времена венгерский фильм, роман, пьеса могли быть пошлостью, мещанством, поверхностным зубоскальством, фальшивкой, подражательностью, наконец подлой ложью, но все же — почти никогда — не ждановской схемой. У венгров, видимо, есть тот элементарный уровень вкуса, который не пропустил бы произведений типа "Кавалера Золотой Звезды" или "Кубанских казаков". Потому-то даже в конце 40-х годов и начале 50-х годов венгерские режиссеры (там, где им удавалось оторваться от сугубо идеологических тем) умели создавать отличные фильмы — такие, как драма Гезы Радваньи "Где-то в Европе" (1947), или кинооперетта Мартона Келети "Мишка-аристократ" (1948), или исторический фильм Фридеша Бана "Земельвейс" (1951). И не случайно, что, например, нам в России даже такие слабые и, в сущности, конформистские фильмы, как "Кружка пива" Феликса Мариашши или "Преступление Юдит Бендич" Виктора Гертлера (оба 1955), уже казались чуть ли не бесшабашно дерзновенными. А после того, как кончилась власть Ракоши, великолепные венгерские фильмы стали появляться один за другим: среди них были и политически острые фильмы из современной жизни, такие, как драма Дьердя Ревеса "В полночь" (1957), рассказывающая о судьбах людей творчества в период до и после восстания 1956 года, или искрометная комедия Дьердя Хинча "И воробей — птица" (1969) — злая сатира на косность и тупую неповоротливость вен-

герского "народного хозяйства"; а были и хорошие исторические фильмы и экранизации, на первый взгляд нейтральные по теме: например, "Железный цветок" Яноша Хершко (1957), "Воскресный роман" Имре Фехера (1957), "Анна Эйдеш" Золтана Фабри (1958), "Облава" Ласло Надаши (1958), "Холодные дни" Андраша Ковача (1966) и многие другие. Однако и нейтральность темы многих из этих фильмов — кажущаяся. Вот, например, история безропотной служанки Анны Эйдеш, которая после долгих издевательств неожиданно отказывается дальше терпеть и убивает своих мучителей: с трагической силой рассказанная в блестящем фильме Золтана Фабри, эта история приобретает символическое звучание и поднимает гораздо более широкие проблемы — насилия, бунта и возмездия; и потому фильм воспринимается и как аллегория того, что произошло в Венгрии в 1956 году, и как предупреждение о том, что может произойти в будущем.

А в последнее десятилетие венгерские кинорежиссеры все чаще говорят и о прошлом и о настоящем открытым текстом, без аллегорий. К сожалению, многие из заслуживающих внимания современных венгерских фильмов еще не дошли до западных экранов: так, судя по отзывам, в последние месяцы в Венгрии появились по крайней мере два интересных фильма: "Реквием" Золтана Фабри и "Сердце тирана" Миклоша Янчо. И надо отдать должное нынешнему венгерскому правительству: подобно тому, как оно все время либерализует внутреннюю экономическую и политическую жизнь страны (проводит невиданную в коммунистическом мире экономическую децентрализацию и политику поощрения частного сектора, снимает запреты на поездки за границу, предоставляет в общее пользование фотокопировальные машины, разрешает писателям издавать книги за свой счет, облегчает доступ к западной прессе, и т. д.), оно также проявляет достаточно здравого смысла, чтобы не сажать диссидентов, вроде писателя-оппозиционера Дьердя Конрада, и не преследовать и даже поощрять проявление смелости в литературе и искусстве — смелости, которая становится все более дерзкой. Наверно, дело тут вовсе не в том, что Кадар возлюбил западную демократию и взял курс на плюрализм англо-американского образца; может быть, Кадар просто-напросто умнее своих коллег по Организации Варшавского Договора и сумел понять урок фильма "Анна Эйдеш" и оценить совет, который в девятнадцатом веке дал русскому царю выдающийся дипломат князь Горчаков: "Реформы сверху могут предотвратить революцию снизу".

Н. Рубинштейн

"ТАМ" И "ЗДЕСЬ"

("Синтаксис", № 10, Париж, 1982)

Есть два обстоятельства, осложняющие жизнь эмигрантскому изданию, — нехватка денег и нехватка рабочих рук. Там, в России, где десятки сотру-

и представить этой простоты и бедности. Здесь журнал может начаться по желанию малого круга лиц, без конторы и телефона, без зарплаты редактора, с одним-много двумя сотрудниками, без всякой материальной поддержки со стороны... Но зато и без цензора, без Главлита — зато свобода, зато свобода... И судьба эмигрантского издания подобна судьбе крестьянского ребенка из поэмы Некрасова: "но вырастет он, если Богу угодно, а сгинуть ничто не мешает ему..." Конечно, есть столпы, титаны, испытанные временем литературные учреждения — "Грани", "Новый журнал", "Континент", толстосумы и долгожители, дай им Бог здоровья. Не они вызывают тревогу, а вот эта несоюзная литературная молодежь, появляющаяся и вдруг пропадающая на год-полтора из виду: "Ами", "Эхо", "Ковчег", "АЯ"... Эй, как дела? Где вы?

Вдруг почти на год пропал "Синтаксис" и лишь теперь вынырнул — впервые с двузначным номером на переплете. В полтора раза толще, чем прежде. Одет в элегантную обложку бронзового цвета, шит, а не клеен — читатель русских зарубежных книг, рассыпающихся при первом чтении, особенно оценит эту подробность, — продуман в композиции и монтаже, в картинках, виньетках, полосках. Обдуманность и подтянутость внешнего облика — не мелочь: это забота о читателе, о достоинстве русской книги, это вызов, который профессионализм бросает небрежности дилетантов, особенно часто посвящающих себя книжному делу в эмиграции.

Осмотрев журнал снаружи, заглянем внутрь. Определим тот стержень, что скрепляет набор разных по характеру, темам и стилю текстов. На первой же странице курсивом: "Уехавшие и оставшиеся... Мы поддерживаем связь, но насколько мы друг друга понимаем? Чтобы не аукаться в темном лесу, мы десятый номер "Синтаксиса" отчасти и посвящаем этим столкновениям мыслей, идущих отсюда и туда. На подобной перекличке и на этом споре идей и может осуществиться, нам кажется, единство, пока весьма еще зыбкое, русской культуры..."

Лет семь-восемь назад утверждалось в эмигрантской печати, что Россию покинули добровольно только совсем уж пропащие, лишние для ее культуры люди. Исключение делалось для тех немногих, кого выдворили силой. Теперь, напротив, все чаще можно услышать мнение, что хороши лишь те, кто уехал: они, дескать, действительно выбрали свободу; те же, что остались, говорят невнятно и подцензурно, мыслят и пишут несвободно, когда же приезжают на Запад с выступлениями, то являются как бы эмиссарами советской власти. В этой концепции исключение делается только для тех из оставшихся, кого удерживают насильно.

Две эти точки зрения выражают, по сути дела, одно и то же убеждение, что возможно назначить для всех и предписать всем единственный правильный путь. Меж тем оба варианта мучительны для художника, как впрочем всякий вариант жизни. Из преодоления этой муки — в случае таланта — должно родиться искусство. Оно и рождается. Как по ту сторону границы, так и по эту. От перемены места качество творчества мало зависит. Аксенов на Западе — не другой Аксенов, а тот же самый. И Войнович тот же. Юрий Трифонов был замечательным писателем, хотя и оставался в пределах советской литературы. Незамечательных же русских писателей вне пределов России так много, что и называть не стоит.

В болезненном разделении современного русского литературного процесса на два потока есть свой выигрыш, не для того или иного писателя, а для литературы в целом. Существование зарубежной русской печати (при сегодняшней изношенности железного занавеса) создает в русской словесности положение, близкое к нормальному: когда любая мысль может быть выражена, любое произведение напечатано и обсуждено. Русские издания за границей имеют двух предшественников: традицию эмигрантской, герценовской и послегерценовской журналистики и нынешний российский самиздат. "Синтаксис" особенно видит свою задачу в следовании обеим этим традициям сразу. Недаром самиздатским авторам отдана треть объема номера. Недаром большая часть номера посвящена обсуждению жгучей проблемы "там" и "здесь".

* * *

"В России нет новых вопросов, все вопросы старые, вечные и неразрешимые", — цитирует И. Серман столетней давности радикального публициста Шелгунова на 202 странице "Синтаксиса". Литературная действительность, отразившаяся в "Синтаксисе", подтверждает его слова. И не только литературная. Даже художественное исследование Фридриха Горенштейна "С кошелочкой...", посвященное проблемам, Шелгунову, конечно, неведомым, затрагивает явления, которые новыми не назовешь. Предмет и сюжет этой прекрасной прозы — смысл и социальное значение очереди, практика ее индивидуального преодоления. Сквозь сомкнутый строй очереди проглядывают другие разные проблемы и вопросы, тоже — увы! — уже не новые: озверение и одичание человека в процессе очередистояния, международные отношения и своеобразие статей государственного бюджета. Новость здесь — компактная, язвительная фраза автора, горький яд его жалящей мысли.

Горенштейн со своей "кошелочкой" открывает раздел "Современные проблемы". За ним следует Михаил Рейман, чешский политический эмигрант, рассказывающий о своем посещении Китая. "Китайская опасность" рисуется в России грозной проблемой еще со времен Владимира Одоевского. Тут новость тоже не в теме, а в требовании, идущем к нам со стороны автора, отказать от привычного стереотипа, от попытки склонять китайскую современность по образцу советской истории. Рейман посетил Китай в составе делегации чешских эмигрантов по приглашению китайских властей — чему нельзя не удивиться! "Китайская опасность" кажется ему неумным штампом заскорузлого мышления. Иногда, правда, думается, что пафос национальной обиды на русских, справедливой и основательной, заставляет чешского автора смотреть на китайские дела вполглаза. Но мы-то в Китае не были. А Рейман утверждает, что Китай беден, не оснащен технически, имеет массу внутренних задач, отвлекающих от империалистических мечтаний, и что разрыв с маоцзедуновским прошлым произведен в Китае гораздо решительнее, нежели в СССР разрыв с прошлым сталинским, даже имея в виду либеральную хрущевскую пору: "Китайцы — пусть в крайне уродливой и неприемлемой форме — сделали то, на что не хватило сил обессиленным сталинщиной русским: они отдали под суд и осудили своих Молотовых, Маленковых и Кагановичей и открыли себе тем самым возможность говорить об ответ-

ственности за прошлое местных Брежневых, Косыгиных, Сусловых и даже Хрущевых". По словам Реймана, процесс преодоления прошлого зашел в Китае так далеко, что ныне дозволено вернуться в культурную и политическую жизнь кое-чему из давно прошедшего: готовится — по-китайски, естественно, — издание сочинений Бухарина и, того и гляди, дело дойдет до Троцкого. В современной китайской жизни чешский путешественник видит черты НЭПа, осознанное противостояние советскому империализму, готовность развиваться, оглядываясь на Запад, и делает вывод: ближайшие 50 лет Китай в военном отношении не опасен, а там — посмотрим!.. Самым интересным, современным и своевременным в этой статье является стремление понять своеобразие китайской модели, отказ от суждения и осуждения по сходству, заставляющий вспомнить старое правило античной логики: аналогия — не доказательство.

Далее в современный раздел входят две работы о наследии Достоевского и восприятии Пушкина. Достоевский и Пушкин — это и есть русская современность: "вопросы старые, вечные и неразрешимые". Обе статьи пришли из Самиздата, который, по-прежнему, остается самым независимым издательством в мире. Самиздатский автор плюет на цензуру и не думает о читательском спросе. Он может в сотый раз предложить вам рассуждения о "сбывшемся пророчестве" Достоевского, и мы, не без пользы для себя, увидим в старом романе "Бесы" зеркало, загодя подставленное нашему времени: "То, что современники Достоевского третировали как карикатуру, до неузнаваемости искажившую подлинные черты революционеров, то нам, потомкам, представляется рентгеновским снимком".

И эта статья, и статья Кленова "Пушкин без конца" отнесены в раздел современных проблем по праву. Сказано же: "Пушкин наше все". И мы — во все времена, без конца, туда и обратно — готовы переживать и переживать нашего Пушкина. Но только самиздатский автор, самый свободный, настаиваем, в мире, может позволить себе предложить неспециализированному изданию сорок страниц неодобрительного текста о Пушкине. И только журнал "Синтаксис", рассчитывающий на особые свойства своего доверенного читателя, закаленного в литературных боях, может такую статью напечатать... Давным-давно и в Союзе и в эмиграции Пушкин идет по разряду начальства (еще в 1913 году Маяковскому было предложено в своих выступлениях не касаться ни того, ни другого. А уж мы, по сравнению с 1913 годом!.. — так что автор статьи Кленов несомненно прав в своем раздраженном названии "Пушкин без конца". Этим он указывает на назревшую опасность рвотной оскотины от мелочной советской пушкинистики, от постельного сыска, учиненного учеными, и легализованного подглядывания сквозь замочную скважину домов-музеев, по числу которых Пушкин может поспорить с Лениным. Конечно, гнусная растянутасть пушкинистской сплетни сквозь десятилетия и века должна была, рано или поздно, вызвать реакцию, подобную статье Кленова. По Кленову, раздутый культ Пушкина есть способ отвлечения умов и мозгов от реальных интересов и больших проблем. Получается, что Пушкин — опиум для народа. Но ведь и хоккей — опиум. И собиранье марок охмуряет. И даже интеллигентская блажь — составление гороскопов. В ответ на звание "лучшего талантливейшего", присвоенное Сталиным Маяковскому, Пастернак, вступившись, заметил, что в этой

второй своей смерти Маяковский неповинен. Так и Пушкин не отвечает за пушкинистов и должен быть освобожден от ответственности.

Все, известное о Пушкине, напоминает как бы песочные часы: когда весь песок из верхней чашки пересыпан в нижнюю, часы переворачивают — и мусор информации начинает течь в обратном направлении: от хора славословий к старым обвинениям в женолюбии, аморализме, предательстве и царедворстве. Все это было, было, было... Новы здесь только слова из обихода психоаналитика: комплексы, компенсирующий брак..., да и те уж не новы. Но в трезвом взгляде на "русский ренессанс" первой четверти прошлого века (выражение Бердяева) есть много полезного для нас самих. Не ради объективной истины, ради субъективного знания о себе, стоит увидеть детские слабости первых русских диссидентов. Но опять, по воле Кленова, разрабатывающего применительно к Пушкину и декабристам именно этот сюжет, мы готовы забыть о Пушкине ради злобы дня. Автор призывает нас глубже войти в положение Пушкина. Для этого, по его словам, "надо только отделаться от пиетета перед его гением, мешающим разглядеть человека". Я однако хочу спросить — хоть вопрос так же не нов, как и вся эта жгучая проблема — где, когда, в каком положении этому человеку, Пушкину, удавалось отделаться от своего гения? В какой точке его биографии нам удастся застать гения и человека порознь?

Пушкинистика — колыбель русской классической филологии. Мусор посмертного дознания о поэте мешает автору сердитой статьи остаться во всеоружии современных методов текстологии, слитного проникающего изучения биографии и творчества писателя. И вот, через полвека после Вересаева, перед нами опять "Пушкин в жизни", начисто освобожденный от творческих хлопот. Но, может быть, этот провокативный заход, вынуждающий, покрутив головой, протрезветь от воскурений в храме, воздвигнутом начальством для Пушкина, есть начало перемены, весть о том, что написанная в России, но вышедшая в эмиграции книга Абрама Терца "Прогулки с Пушкиным" наконец-то рождает ответный отклик на родине.

Итак, в разделе "современных проблем" — Пушкин и Достоевский. Зато раздел "Литература и искусство" образован, главным образом, материалами международной конференции "Русская литература в эмиграции: Третья волна", проходившей в мае 1981 года в Лос-Анджелесе. Среди этих материалов выделим самое значительное — краткую речь Андрея Синявского "О критике". Его главная и постоянная тревога заключается в том, что опять делаются попытки навязать литературе правила поведения и нормы выработки, ограничить свободу искусства слова. Синявский считает порочным противопоставление писателей-эмигрантов оставшимся в России — тенденция, которую он с огорчением увидел в опубликованной "Континентом" статье Ю. Мальцева "Промежуточная литература". Такое противопоставление отдаёт грубостью, забвением сложности литературного процесса в пользу однозначной политической определенности, ценность которой в искусстве сомнительна. Синявский отмечает, что существование Тамиздата и Самиздата влияет и на положение дел в подцензурной русской словесности, вырывая у власти те или иные уступки; стало быть, и речи нет, что всякая "разрешенная литература" закуплена властью и полезна ей.

Другим объектом критики в статье о критике стала тенденция возвели-

чивать одну группу писателей, приверженных деревенской теме, в назидание всем остальным авторам там и здесь. Эта тенденция определила характер интервью, данного Александром Солженицыным радиостанции Би-би-си, и заставила его утверждать, что нынешние писатели-деревенщики в своем творчестве оставили далеко позади Некрасова, Тургенева и даже Толстого. Синявский резко отвергает попытку крупнейшего русского писателя признать один круг литературы, одну тематику более значащими, чем другие. Но особенно опасно, с позиций Синявского, открыто выявленное Солженицыным неодобрение и недоверие к писательскому "са-мо-вы-ра-жению". "А не са-мо-вы-ра-жайтесь!" — иронизирует Синявский, отбрасывая авторитарную потребность ограничить другого и утверждая безграничную свободу для всякого творца.

"Нет критики", — скорбит Синявский по поводу того, что такое значащее выступление современного классика осталось в свободной прессе без отклика. Рядом цитат из старых эмигрантских изданий Синявский показывает, что критики в русском Зарубежье собственно никогда и не было, как никогда, впрочем, не было там и доверия к пророкам в своем отечестве, чему подтверждением литературная судьба Набокова, Цветаевой, Ремизова, Ходасевича, "не получивших по достоинству у современников серьезного и разностороннего освещения". Отстаивая единство литературы, ее достоинство и свободу, Синявский заканчивает речь "О критике" знаменательными словами: "У нашей третьей волны много недостатков по сравнению с первой эмиграцией. Но есть одно преимущество, которым было бы грешно не воспользоваться. Сегодняшняя Россия с тем лучшим, что там появляется в литературе, для нас не чужая и не закрытая страна. И наши читатели не только здесь, но и в современной России".

Этот тезис находит подтверждение в том разделе, где помещена статья М. Болховского "Утопии в космический век". Самиздатская рецензия, пришедшая самотеком, органически вливается в разговор о литературе там и здесь, в частности она невольно для себя включается в полемику с журналом "Континент" по поводу поэмы Давида Самойлова "Струфиан" ("Континент", № 20). И безымянный рецензент "Континента" и известный самиздатский автор Болховской усматривают в поэме Самойлова пародию на известное "Письмо вождям" Солженицына. Но как по-разному они к этому относятся! В "Континенте" поэта упрекают в недобросовестности и называют его поэму "верноподанным зубоскальством" уже за самую попытку поэтической полемики с Солженицыным. Хотя заявлено, что вообще-то говоря, стихи Самойлова во всех других случаях по душе критику. Странно выглядит в "Континенте" эта попытка ограничить свободу литературного спора не оттуда, а отсюда. Само имя Самойлова, десятилетиями знакомый лирический облик поэта, должны были бы защитить его от постыдных упреков в продажности. Здесь и отсюда, сберегая имена оставшихся там не от литературной, а от полицейской критики, мы не всегда вольны договаривать о них все до конца — правило, которым слишком часто пренебрегают. Но те, в России, желающие возразить живущим здесь, право, не имеют причин сдерживаться. Самиздатский автор, выступающий в "Синтаксисе", куда либеральнее. Ему полемика Самойлова с Солженицыным не кажется нарушением литературной субординации, он точно видит ее

смысл и одобряет содержание: "Но меня интересует в данном случае не проблема неопознанных объектов, а цитаты из трактата Кузьмича, предназначенного для вождей, и, конечно, не прочитанного вождями. И даже тот, кто восстает против нынешней политической и идеологической формы государства, сохраняет привязанность к его историческому существу".

Так в два адреса, названных в речи Синявского, тянется журнал "Синтаксис" и из двух адресов вербует себе авторов. Связывая воедино две литературные географии, журнал испытывает потребность закреплять порванную во многих местах нить времени. Для чего в журнале есть раздел "Память". Здесь перед нами очерк И. Сермана "Григорий Гуковский". Очерк содержит не только творческий портрет крупного ленинградского филолога, но и портрет времени, но и справедливую попытку оценить с сожалением, но без осуждения зависимость ученого от пониманий, навязанных временем. Погубивший Гуковского его собственный аспирант Бердников, на костях учителя утвердивший свою карьеру; поддавшийся страху философ Днепров-Резник; тогдашний глава кафедры Федор Абрамов (будущий писатель-деревенщик); декан филфака Александр Дементьев (будущий заместитель Твардовского в либеральную пору "Нового мира") — эти имена в связи с "делом Гуковского" изустно и смутно были известны всему гуманитарному Ленинграду. Хорошо, что теперь они названы печатно, и что Память настигает некоторых, надеявшихся увернуться, еще при жизни.

Справедливость и восстановление исторической правды волнуют людей и там, и здесь. Так образуется драматический сюжет полемики по поводу открытого письма Виктории Швейцер к Анастасии Цветаевой, и этот сюжет, движущийся по тем же параллельным рельсам "там" и "здесь", замыкает журнал.

Суть письма Швейцер, известной исследовательницы творчества Марины Цветаевой, в том, что она обращается к Анастасии Цветаевой с тяжелыми упреками за те искажения, в угоду официальной версии, которые мемуаристка допустила во второй книге своих воспоминаний, рассказывая о гибели Марины, ее сына Георгия и судьбе других членов Цветаевской семьи: "Ради страшной жизни и гибели всей этой цветаевско-эфроновской семьи не должны ли мы все думать только о правде? Разве "пепел Клааса" не стучался в Ваше сердце, когда Вы писали Ваши воспоминания?"

Письмо Швейцер отправлено из Амхерста (США), а ответы на него пришли из России и совсем не от Анастасии Цветаевой. Четверо московских корреспондентов упрекают живущую за рубежом исследовательницу в намеренном использовании неравенства позиций. Вновь всплывает вопрос о соотношении "там" и "здесь", о живой жизни культуры, разделенной на два русла. Доводы у оппонентов разные. Бытовой (автор — студент): "Я считаю, что возраст действительно снимает ответственность за поступки. Хочется ей уже на старости лет еще раз в Коктебель съездить... "Общественно-литературный: "Открытое письмо Швейцер в очень грубой форме затрагивает еще один... вопрос: право на существование подцензурной литературы. Ответом на этот вопрос является то, что при всех нередко трагических трудностях подцензурная литература существует. И бывает, что она гораздо лучше иной неподцензурной".

Десятая книга "Синтаксиса" не исчерпана, но перелистана нами. Напомним: синтаксис есть связь. Журнал связывает разделенных границей участников одного литературного процесса, вкладчиков одной культуры, владельцев одной памяти. Противоречия и разногласия не помеха культурному единству, если мы сохраним уважение к чужой мысли и свободному самовыражению.

КО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

Наш журнал существует исключительно на ваши деньги. Инфляция ставит его существование под угрозу. Мы просим всех, заинтересованных в сохранении журнала, присылать пожертвования в "Фонд друзей журнала "22" в Израиле и на Западе". Любые пожертвования будут приняты с благодарностью.

Редколлегия выражает глубокую благодарность госпоже Шошанне Фишер (Хайфа), оказавшей журналу поистине неоценимые услуги. В ноябре-декабре журнал поддерживали пожертвованиями следующие лица: Х. Иоспин (Таль-Эль, 150 шекелей), С. Горенштейн (Нетания, 100 шекелей), Тесаль (Элькана, 300 шекелей), П. Хнох (Рашафим, 300 шекелей), Бар-Нави (Хайфа, 300 шекелей), И. Зусман (Гило, 300 шекелей), Л. Наткович (Нацерет, 300 шекелей), Ш. Мизеруха (Кирыат-Ям, 100 шекелей), доктор В. Киршенблат (Хадера, 100 шекелей), Л. Утевский (Безр-Шева, 100 шекелей), М. Черкес (Кармизль, 50 шекелей), Х. Шенкарь (Бней-Брак, 100 шекелей), Краковский-Хейфец (Тель-Кабир, 200 шекелей), адвокат Я. Шапиро (Тель-Авив, 100 шекелей), Л. Шамкович (США, 10 долларов), В. Матлин (США, 20 долларов). Редколлегия благодарит этих искренних друзей журнала.

В предыдущем номере на стр. 75, строка 13 сверху должна читаться: "Без Лайденталя и Якоби без!" На стр. 87 стихотворение "Дева моей мечты" было опубликовано по ошибке в черновом варианте; исправленный перевод звучит так: "Приложи ко лбу моему ладонь, чтобы узнать, не в жару ли я. А потом взгляни в мой разинутый рот — не красно ли горло мое. Будь заботливой. Долгих лет пожелай, чтобы был я с тобой всегда, о, дева моей мечты, моих утраченных грез! Призови ко мне среди ночи врача, если в обморок упаду, будь последней на свете, кому суждено встретить мой угасающий взгляд. Вечно помни меня, взывай ко мне, на могиле почаще плачь, о, дева моей мечты, моих утраченных грез!"

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ "ДВАДЦАТЬ ДВА" НА 1983 ГОД

в ближайших номерах: Н. Воронель "Ночь на Волге" (подслушанные разговоры); Ю. Милославский "Кукловод — это звучит гордо!" (российские похождения); Б. Шоу "Проделки Моны Лизы" (юмористическая фантастика); Б. Шульц "Горчичные лавки" (главы из гротескной повести); С. Курилов "Один в океане" (уникальный побег из России); И. Абрамов "Проклятой воровской дорогой" (воспоминания "вора в законе"); И. Натаньягу (командир "Операции Энтеббе") "Письма домой"; А. Оз "Социализм для элиты" (итоги социалистического сионизма); Н. Гутина "Блеск и нищета израильской левой" (палестинская проблема); Н. Подгорец "Нарушая строй" (парадоксы американской интеллигенции); А. Вайсман "Экономика — это так просто!" (загадки инфляции); Е. Наклеушев "Вперед к матриархату!" (историческая гипотеза) — и другие материалы.

Условия годичной подписки: в Израиле 1000 шекелей (можно в два чека с разрывом в месяц), за рубежом 35 долларов (с доставкой авиапочтой в Европу — 45, в США — 51 доллар). Заказы и чеки направлять по адресу: "22", POB 7045, Рамат-Ган, Израиль.

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с №

Прилагаю чек (чеки) № на сумму

Журнал прошу выслать по адресу

(пишите разборчиво)

Жертвую в фонд журнала

(фамилия)



Израильская солдатка